

Н  
е  
в  
а

# Нева

---

*В номере:*

**М. Шолохов**  
**ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА**  
книга вторая  
**ОБОИЧАНИЕ**

1

1  
1960



Рисунок для «Невы»



А. П. ЧЕХОВ.

Художник Б. Федоров.

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. П. ЧЕХОВА

# Нева

---

Сезонный  
литературно-художественный  
и общественно-политический  
иллюстрированный журнал

Орган  
Союза писателей РСФСР  
и Ленинградского отделения  
Союза писателей



1

---

1960

Государственное Издательство  
Художественной Литературы  
Москва • Ленинград

**Адрес редакции: Ленинград, Д-65. Невский, 3.  
Телефоны: А-5-07-03, А-0-71-42, А-4-92-17.**

*Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются*



Миллеров  
**ПОДНЯТАЯ  
ЦЕЛИНА**



РОМАН  
**КНИГА ВТОРАЯ**

**Глава XXII**

**З**а два дня до собрания гремяченской партячейки к Нагульнову на квартиру пришли шесть колхозниц. Было раннее утро, и женщины постеснялись толпой идти в хату. Они чинно расселись на ступеньках крыльца, на завалинке, и тогда жена Кондрата Майданникова, поправив на голове чистый, густо подсиненный платок, спросила:

— Мне, что ль, идти к нему, бабоньки?

— Иди ты, коль сама назвалась, — за всех ответила сидевшая на нижней ступеньке жена Агафона Дубцова.

Макар брился в своей комнатке, изогнувшись дугой, неловко сидя перед крохотным осколком зеркала, кое-как прилаженным к цветочному горшку. Старая, тупая бритва с треском, похожим на электрические разряды, счищала со смуглых щек Макара черную жесткую щетину, а сам он страдальчески морщился, кряхтел, иногда глухо рычал, изредка вытирая рукавом исподней рубахи выступавшие на глазах слезы. Он умудрился несколько раз порезаться, и жидкая мыльная пена на его щеках и шее была уже не белой, а неровно розовой. Отраженное в тусклом зеркальце лицо Макара выражало попеременно разные чувства: то тую покорность судьбе, то сдержанную муку, то свирепое ожесточение; иногда отчаянной решимостью оно напоминало лицо самоубийцы, надумавшего во что бы то ни стало покончить жизнь при помощи бритвы.

Жена Майданникова, войдя в горницу, тихо поздоровалась. Макар живо повернул к ней нахмуренное, перекосившееся от боли и окровав-

*Окончание. См. „Нева“ № 7 за 1959 год.*

ленное лицо, и бедная женщина испуганно охнула, попятилась к порогу:

— Ой, родимец тебя заведи! Да что уж ты это так окровенился? Ты бы хоть пошел умылся, а то льет из тебя, как из резаного кабана!

— Не пужайся, чертова дура, садись, — ласково улыбаясь, приветствовал ее Макар. — Бритва тупая, потому и порезался. Давно бы выкинуть ее надо, да жалко, привык мучиться с проклятой. Она со мной две войны прошла, пятнадцать лет красоту мне наводила. Как же я могу с ней расстаться? Да ты садись, я зараз управлюсь.

— Тупая, говоришь, бритва? — не зная, что сказать, переспросила Майданникова, несмело садясь на лавку и стараясь не смотреть на Макара.

— До ужаста! Хотя конец... — Макар поперхнулся словом, два раза кашлянул, скороговоркой закончил: — Хотя глаза завязывай и скоблись наизусть! Да ты, собственно, чего явилась ни свет ни заря? Что у тебя там стряслось? Уж не паралик ли Кондрата разбил?

— Нет, он здоровый. Да я не одна пришла, нас шестеро баб к твоей милости.

— С какой нуждой?

— Послезавтра ты будешь наших мужей в свою партию принимать, так вот мы хотели к этому дню школу в порядок произвести.

— Сами додумались или мужья подсказали?

— Да у нас, что же, своего ума нехватка? Мелко ты нас крошишь, товарищ Нагульнов!

— Ну что ж, ежели сами догадались — доброе дело!

— Помазать и побелить снутри и снаружи хотим.

— Вовсе хорошее дело! Одобрять целиком и полностью, только помните в виду, что трудодни за эту работу начислять не будем. Это — дело общественное.

— Какие же трудодни, ежели мы своей охотой беремся? Только ты скажи бригадиру, чтобы он нас на другую работу не выгонял. нас шестеро душ, запиши нас на бумажку.

— Бригадиру скажу, а писать тут нечего, и без вас бюрократизму и разной писанины хватает.

Майданникова встала, помолчав немного, взглянула сбоку на Макара, тихо улыбнулась:

— А мой-то не хуже тебя чудак, ажник почуднее будет... Люди говорят, что он на полях зараз каждый божий день броеется, а домой придет — рубахи примеряет... У него их всего на счет три штуки, и вот он мудрует, то одну наденет, то другую, не знает, в какой ему в воскресенье в партию вступать лучше... Я уж смешком говорю ему: «Ты — как девка перед свадьбой». А он злится страшно! Злится, а виду не подает, только иной раз, когда я над ним зачну подсмеиваться, он сразу глаза сделает узкими, и я уже знаю, что зараз он ругнется черными словами, и я скоренько ухожу, не хочу его вовсе расстраивать...

Макар усмехнулся, подобрел глазами.

— Твоему мужу, милушка, это дело важнее, чем девке замуж выйти. Свадьба — плевое дело! Перевенчали и домой помчали, как говорится, и дело с концом, а партия — это, девка, такая музыка... Одним словом, такая музыка... Хотя ты ни черта ничего не поймешь! Ты в партийных рассуждениях и понятиях будешь плавать, как таракан во щах, чего же я с тобой буду без толку гутарить, воду в ступе толочь? Одним словом, партия — это великое дело, и это мое последнее слово. Ясно тебе?

— Ясно, Макарушка, только ты скажи, чтобы нам глины привезли вон десять.

— Скажу.

— И мелу на побелку стен.

— Скажу.

— И пару лошадеенок с ребятишками, глину месить.

— Может, тебе еще десяток штукатуров из Ростова представить? — с ехидцей спросил Макар, далеко отводя бритву, поворачиваясь к Майданни овой, как волк, всем корпусом.

— Штукатурить сами будем, а лошадей дашь, иначе не управимся к восьмью.

Макар вздохнул:

— Умеете вы, бабы, на шею добрым людям верхи садиться... Ну да ладно, дадим и лошадей, все представим в ваше распоряжение, только уходи ты, ради бога! Я через тебя дополнительно два раза порезался! Мне с тобой еще две минуты поговорить, и на мне живого места не останется. Ясно?

В мужественном голосе Макара было столько жалобной просительности, что Майданникова быстро повернулась, сказала: «Ну прощай!» и вышла. А через секунду снова приоткрыла дверь:

— Ты извини меня, Макар...

— Чего еще надо? — В голосе Макара звучала уже неприкрытая досада.

— Забыла сказать тебе спасибочко.

Дверь звучно захлопнулась. Макар вздрогнул и еще раз глубоко запустил бритву под кожу.

— Тебе, то есть вам, спасибо, чертова дуреха, а мне не за что! — крикнул он вдогонку и долго беззвучно смеялся.

И вот этот пустяк так развеселил всегда сурового Макара, что он до вечера улыбался про себя, как только вспоминал о визите Кондратовой жены, о ее не вовремя сказанном «спасибочко».

Дни стояли на редкость погожие, солнечные и безветренные. В субботу к вечеру школа сияла снаружи безукоризненной побелкой стен, а внутри чисто вымытые и натертые битьем кирпичом полы были так девственно чисты, что всем, кто входил в школу, поневоле хотелось передвигаться на цыпочках.

Открытое партийное собрание было назначено на шесть часов вечера, но уже с четырех в школе собралось более полутора десятка человек, и сразу же во всех классах, несмотря на то, что окна и двери были открыты настежь, горько и крепко запахло самосадом, мужским, спиртовой крепости потом и запахом дешевой помады и такого же мыла — от сбившихся в кучу разнаряженных девок и баб.

Впервые в Гремячем Логу проводилось открытое партсобрание по приему в партию новых членов, да еще своих хуторян, а потому к шести часам весь Гремячий Лог, за исключением детей и лежачих больных, был либо в школе, либо возле нее. В степи, на полевых станах не осталось ни одной души, все явились в хутор, и даже хуторской пастух дед Агей бросил стадо на попечение подпаса, пришел в школу приодетый, с тщательно расчесанной бородой и в старинных, сильно поношенных сапогах с дутыми голенищами. Так необычен был вид его, обутого, старательно наряженного, без кнута и холщовой сумки на боку, что многие пожилые казаки не узнавали его с первого взгляда и здоровались, как с незнакомым пришельцем.

Ровно в шесть часов Макар Нагульнов встал из-за стола, покрытого красной сатиновой скатертью, оглядел густые ряды колхозников, тесно сидевших за партами и стоявших в проходах. Глухой шум голосов и чей-то визгливый женский смех в самом последнем ряду не стихали. Тогда Макар высоко поднял руку:

— А ну, уймитесь трошки, которые самые горластые, и особенно бабы! Прошу соблюдать всевозможную тишину и считаю открытое партийное

собрание гремяченской ячейки ВКП(б) открытым. Слово имеет товарищ Нагульнов, то есть я самый. На повестке дня у нас один вопрос: о приеме в партию новых наших членов. Поступило к нам несколько штук заявлений, и в их числе — заявление от нашего хуторца Кондрата Майданникова, какого вы все знаете как облупленного. Но порядок и условия партии требуют его обсуждения. Прошу всех, как партийных, так и беспартийных товарищей и граждан, высказываться по существу Кондрата, кто и как вздумает, кто — «за», а кто, может быть, и «против». Противное высказывание называется отводом. «Даю, мол, отвод товарищу Майданникову», — а тогда уже выкладывай факты, почему Майданников недостоин быть в партии. Нам нужны порочные факты, только такие мы можем принимать в рассуждение, а рассусоливать вокруг да около и трепаться насчет человека без фактов — дело дохлое. Такой трепотни мы и в расчет не будем брать. Но спервоначалу я зачитаю маленькое заявление Кондрата Майданникова, потом он расскажет про свою автобиографию, то есть про описание своей прошедшей, текущей и будущей жизни, а потом уже валяйте вы, кто и во что горазд, в смысле товарища нашего Майданникова. Задача ясная? Ясная. Стало быть, действую, то есть зачитываю заявление.

Нагульнов прочитал заявление, разгладил листок бумаги на столе и положил на него свою длинную, тяжелую ладонь. Многих бессонных ночей и мучительных раздумий стоил Кондрату этот листок, вырванный из ученической тетради... И теперь Кондрат, изредка взглядывая то на сидевших за столом коммунистов, то на своих соседей по парте необычным для него, робким взглядом, волновался так, что на лбу у него выступили крупные капли пота и лицо казалось словно бы обрызганным дождем.

В нескольких словах он рассказал о своей жизни, мучительно подыскивая слова, надолго умолкая, хмурясь и одновременно улыбаясь вымученной, жалкой улыбкой. Любишкин не выдержал, громко сказал:

— И чего ты своей житухи стесняешься? Чего мнешься, как конь на привязи? Житуха у тебя хорошая, шпарь смелее, Кондрат!

— Я все сказал, — тихо ответил Майданников, садясь и зябко поводя плечами.

У него было такое ощущение, будто вышел он раздетый из парно-теплой хаты на мороз...

После недолгого молчания поднялся Давыдов. Он коротко, но горячо говорил о Майданникове, увлекающем своим трудом остальных колхозников, привел его в пример другим, под конец убежденно заявил:

— Вполне достоин быть в рядах нашей партии, факт!

Еще несколько выступавших говорили о Майданникове тепло и доброжелательно. Их не раз прерывали одобрительными криками:

— Правильно!

— Хорош хозяин!

— Оберегает колхозный интерес.

— Этот общественную копейку не уронит, а ежели уронит одну — подымет две.

— Про него плохого не сбрешешь, не поверят!

Много лестных слов выслушал о себе бледный от волнения Кондрат, и казалось бы, что мнение о нем собравшихся единодушно. Но тут неожиданно встал, а взвился дед Щукарь и начал:

— Дорогие граждане и старухи! Даю полный отлуп Кондрату! Я не такой, как другие, по мне дружба — дружбой, а табачок — врозь. Вот какой я есть человек! Так уж тут разрисовали Кондрата, что не человек он, а святой угодник! А спрошу я вас, граждане: какой из него может образоваться святой, ежели он такой же грешный, как и мы, остальные прочие?

— Ты путаешь, дед, как и всегда! Мы же не в рай его принимаем,

а в партию, — пока еще подобра поправил старика Нагульнов.

Но не таков был дед Щукарь, чтобы одной репликой можно было смирить его или привести в смущение. Он повернулся к Нагульнову, зло сверкая одним глазом, — другой был завязан красным, давно не стиранным платком.

— Ох, и силен ты, Макарушка, на добрых людей жать! Тебе бы только на маслобойке работать вместо прессы, из подсолнушка масло выдавливать... Ну что ты мне рот зажимаешь и слова не даешь сказать? Я же не про тебя говорю, не тебе отлуп делаю? Ну и помолчи, потому что партия указывает — изо всех сил разводить критику и самокритику. А что есть самокритика? По-русски сказать — это самочинная критика. А что это обозначает? А это обозначает то, что должен ты щипать человека, как и за какое место вздумаеть, но чтобы непременно до болячки! Щипай его, сукиного сына, так, чтобы он соленым потом взмок от головы до пяток! Вот что обозначает слово самокритика, я так понимаю.

— Стой, дед! — решительно прервал его Нагульнов. — Ты не искажай слова, как тебе вздумается! Самокритика — это означает самого себя критиковать, вот что это такое. На колхозном собрании будешь ты выступать, вот тогда ты и щипай самого себя, как тебе вздумается и за какое угодно место, а пока уймись и сиди смирно.

— Нет, это ты уймись и критику мою мне обратно в рот не запикивай! — разгорячась, закричал фальцетом дед Щукарь. — Больно уж ты умен, Макарушка! С какого же это пятерика я сам на себя буду всякую всячину переть? И чего ради я сам на себя буду наговаривать? Дураки при советской власти перевелись!.. Старые перевелись, а сколько новых народилось — не счесть! Их и при советской власти не сеют, а они сами, как жито-падалица, родятся во всю ивановскую, никакого удержу на этот урожай нету! Взять хотя бы тебя, Макарушка...

— Ты меня не касайся, тут не обо мне речь, — строго сказал Нагульнов. — Ты говори по существу, про Кондрата Майданникова, а ежели тебе сказать нечего, заткнись и сиди тихо, как все порядочные люди.

— Значит, ты порядочный, а я нет? — грустно спросил дед Щукарь. Тут кто-то из сидевших в задних рядах пробасил:

— Ты бы, порядочный дед, рассказал про себя, с кем ты на старости годов дитя прижил и почему у тебя один глаз видит, а другой синяком заплыл? А то ты на других кукарекаешь, как кочет с плетня, а про себя молчишь, хитрый черт!

По школе прокатился гулкой смех и сразу, как только встал Давыдов, стих. Лицо Давыдова было хмуро, голос звучал негодующе, когда он заговорил:

— Здесь, товарищи, не веселый спектакль, а партийное собрание, факт! Кому угодно веселиться, пусть идут на посиделки. Вы будете говорить по существу вопроса, дедушка, или вам желательно балагурить и дальше?

Давыдов впервые обращался к Щукарю с такой убийственной вежливостью, и, наверное, от этого дед Щукарь взбеленился окончательно. Он подпрыгнул, стоя за партой, как молодой петух перед боем, даже бороденка его затряслась от ярости:

— Это кто же балагурит? Я или этот полоумный, какой сзади сидит и задает мне дурацкие вопросы? И что это за такое открытое собрание, когда человеку слово открыто нельзя сказать? Да я что вам? Лишенный права голоса или как? Я говорю по существу Кондрата, что даю ему отлуп. Таких нам в партию не нужно, вот и весь мой разговор!

— Почему, дедушка? — давясь от смеха, спросил Размётнов.

— Потому как он неудостоенный быть в партии. И чего ты смеешься, белоглазый? Пуговицу, что ли, на полу нашел и смеешься, рад до смерти, в хозяйстве, мол, и пуговица пригодится? А ежели тебе непонятно, почему Кондрат неудостоенный для партии, я тебе категорически поясню, и

тогда ты перестанешь ухмыляться, как мерин, на овес гляючи... Другим вы мастера указывать, а сами какие? Ты, председатель сельсовета, важная личность, с тебя и старые и малые должны пример брать, а ты как ведешь себя? Дуешься на собраниях от дурацкого смеха и синеешь, как индюк! Какой ты председатель и какой может быть смех, ежели тут Кондратова судьба на весах качается? Вот и возьми себе в голову: кто из нас сурезнее, ты или я? Жалко, парень, что Макарушка мне запрет сделал вставлять в разговор разные иностранные слова, какие я у него в словаре наизусть выучил, а то бы я так покрыл тебя этими словами, что ты и вовек не разобрался бы, что и к чему я говорю! А против Кондрата в партии я потому, что он мелкий собственник и больше вы из него ничего не выжмете, хоть под прессу его кладите! Макуха, какая жмыхом называется по-ученому, из него выйдет, а коммунист — ни за что на свете!

— Почему же, отец, из меня коммуниста не выйдет? — спросил Кондрат дрожащим от обиды голосом.

Дед Щукарь ехидно сощурил глаз:

— Будто ты сам не знаешь?

— Не знаю, и ты объясни толком и мне и другим гражданам — через чего я недостойный? Только говори одну гольную правду, безо всяких твоих сочинений.

— А я когда-нибудь брехал? Или, к примеру, всякие разные сочинения сочинял? — Щукарь вздохнул на всю школу, горестно покачал головой. — Напролет, как есть, всю свою жизнь я одну правду-матку в глаза добрым людям режу, через это самое, Кондратушка, я кое-кому и есть на этом свете неугодный алимент. Твой покойный родитель бывало говорил: «Уж ежели Щукарь брешет, кто тогда и правду говорит?». Вот он как высоко меня подымал, покойничек! Жалко, что помер, а то он и зараз бы свои слова подтвердил, царство ему небесное!

Щукарь перекрестился, хотел было уронить слезу, но почему-то раздумал.

— Ты поясняй всчет меня, родитель тут ни при чем. В чем ты меня именно урекаешь? — настойчиво потребовал Майданников.

Сдержанный шумок неодобрения, судя по отдельным возгласам, явно относившийся к Щукарю, нимало не смутил его. Как опытный пчеловод, привычно внимающий гулу потревоженной большой пчелиной семьи, Щукарь и тут сохранил выдержку и полное спокойствие. Плавню, умиротворяюще поводя руками, он сказал:

— Сей минут все как есть проясню. И вы, граждане и дорогие старухи, свой шум оставьте при себе, меня вы все равно не собьете с моего протекания мысли. Тут насчет меня зараз был сзади такой змеинный шип: дескать, «коту делать нечего, так он...» — и так далее и тому подобная пакость была сзади меня сказанная шепотом. Только я знаю, чей это ужачинный шепот. Это, дорогие граждане и старушки, Агафон Дубцов шипит на меня, как лютый змей из трисподней! Это он хочет мне памороки забить, чтобы я сбился с мысли и про него ничего не сказал. Но такой милости он от меня не дождется, не на таковского напал! Агафон тоже норовит в партию пролезть, как ужака в погреб, чтобы молока напиться, но я ему отлуп нынче дам похлеще, чем Кондрату, я и про него знаю кое-что такое, что все вы ахнете, когда узнаете, а может, кое-кого и оморком шибнет.

Нагульнов постучал карандашом по пустому стакану, сердито сказал:

— Старик, ты уже сбился со своей путаной мысли, кончай! Ты один все время на собраниях занимаешь, надо же и совесть знать!

— Опять ты, Макарушка, глотку мне затыкаешь? — плачущим голосом возопил дед Щукарь. — Ежели ты секлетарь ячейки, значит, ты можешь меня зажимать? Ну уж это дудки! В партийном уставе нету такой графы, чтобы старикам запретно было говорить, это я точно знаю! И как

У тебя язык поворачивается говорить про меня, будто я бессовестный? Ты бы свою Лушку совестил, пока она подолом от тебя не замахала в неизвестные края, а мне даже старуха моя сроду не говорила, что я бесстыжий. Обидел ты меня, Макарушка, до смерти!

Щукарь все же уронил заветную слезу, вытер глаз рукавом рубахи, однако продолжал с прежним накалом:

— Но я такой человек, что кому хошь не смолчу, и на закрытом партийном собрании я доберусь и до тебя, Макарушка, да так, что ты из-под меня не вывернешься, не на таковского ты напал! Я отчаянный, когда разойдусь, уж кому-кому, а тебе бы это надо знать и разуметь, ведь мы же с тобой темные друзья, весь хутор про это знает. И давние мы друзья, так что ты окончательно берегись меня и моей критики и самокритики! Я никому спуска не даю, поймите это в виду все, кто хочет партию загрязнить!

Перекусив левую бровь, Нагульнов повернулся к Давыдову, шепнул:

— Вывести его? Сорвет собрание! И как ты не догадался командировать его куда-нибудь на нынешний день! Попала деду шлея под хвост, зараз ему удержу не будет...

Но Давыдов левой рукой заслонял лицо газетой, а правой вытирал слезы. Он не мог от смеха слова сказать и только отрицательно качал головой. Нагульнов, обуреваемый великой досадой, пожал плечами, снова вперил гневный взор в деда Щукаря. А тот, как ни в чем не бывало, продолжал, торопясь и захлебываясь:

— Раз у нас открытое собрание, то должен ты, Кондратушка, то же самое открыто сказать: когда ты вступил в колхоз и вел сдавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ним слезьми или нет?

— Вопрос к делу не относящий! — крикнул Демка Ушаков.

— Пустой вопрос! Чего ты тут яишную скорлупу перебираешь? — поддержал его Устин Рыкалин.

— Нет, не пустой, не яишный вопрос, а я дело спрашиваю! И вы, доброхоты, заткните глотки! — стараясь перекричать их, багровея от натуги, заорал дед Щукарь.

Выждав тишины, уже тихо и вкрадчиво он заговорил:

— Может, ты не помнишь, Кондратушка, а я помню, что гнал ты утром быков на общественный баз, а у самого глаза были по кулаку и красные, как у крола или, скажем, как у старого кобеля спросонок. Вот ты и ответствуй, как попу на духу: было такое дело?

Майданников встал, смущенно одернул рубаху, коротко посмотрел на деда Щукаря затуманенными глазами, но ответил со сдержанной твердостью:

— Было такое дело. Не потеаюсь, всплакнул. Жалко было расставаться. Мне эти быки не от родителя в наследство достались, а нажил их сам, своим горбом. Они мне не легко достались, эти быки! Это дело прошлое, отец. А что тут для партии вредного от моих прошедших слез?

— Как это — что вредного? — возмутился Щукарь. — Да ты куда со своими быками шел? Ты, милоч, в социализм шел, вот куда ты с ними направлялся! А после социализма что у нас будет? А будет у нас полный коммунизм, вот что будет, это я тебе прямо скажу! Я у Макарушки Нагульнова, можно сказать, вывелся на дому, все вы председатели тут знаете, что мы с ним громадные друзья, и я у него разных знаний зачерпываю, сколько в пригоршни влезет: по ночам то разные толстые книжки, сурьезные, без картинок, прочитываю, то словарь читаю, ученые слова норовлю запомнить, но тут старость моя, язви ее в душу, подводит! Память стала — как штаны с порватыми карманами, что ни положи — наскрозь проскакивает, да и шабаш! А уж ежели какая-нибудь тонкая брошюрка мне попадется, эта из рук не вырвется! Все как есть упомяну! Вот я какой бываю, когда разойдусь на разное и тому подобное чтение! Много я разных брошюр прочитал и до точности знаю и могу спорить

с кем угодно, хоть до третьих кочетов, что после социализма припожалует к нам коммунизм, категорически вам заявляю! Тут-то меня и одолевает сомнительность, Кондратушка... В социализм ты входил, слезьми умываешься, а в коммунизм как же ты заявисься? Не иначе как по колену в слезах прибредешь, уж это как бог свят! Так оно и будет с тобой, я как в воду гляжу! А спрошу я вас, граждане и дорогие старушки, на кой ляд он нужен в партии, такой слезокап?

Дед весело хихикнул и прикрыл ладонью беззубый рот.

— Терпеть ненавижу я разных сурьезных людей, а в партии и вовсе! Ну на кой хрен они там нужны, такие мрачности? Тоску наводить на добрых людей, партийный устав своим видом исказить и портить? В таком разе спрошу я вас: почему вы Демида Молчуна в партию не берете? Вот уж кто бы смертной скуки в ваши ряды нагнал! Сурьезнее его человека я в жизни не видывал! А по-моему, в партию надо принимать людей веселых, живительных, таких, как я, а то набирают туда одних сурьезных, толмачей каких-то, а что от них толку? Вот взять хоть бы Макарушку. Он с восемнадцатого года как выпрямился, будто железный аршин проглотил, так и донныче ходит сурьезный, прямой, важный, как журавль на болоте. Ни шутки от него не послышишь, ни веселого словца, одна гольная скука в штанах, а не человек!

— Дед, не касайся ты меня и не переходи на мою личность, а то я приму меры, — строго предупредил Нагульнов.

Но старик, блаженно улыбаясь и будучи не в силах побороть ораторский зуд, горячо продолжал:

— А я тебя вовсе и не касаюсь, и даже ни вот столечко! И тот же Кондрат, возьмите его за рупь двадцать, так на карандаше верхи и ездит: все-то он записывает да подсчитывает, как будто без него некому записывать. В Москве, небось, умными людьми давным-давно все начисто записано и переписано, и нечего ему самому себе голову морочить! Его дело быкам хвосты крутить, а он дуриком прется туда же, куда и шибко грамотные люди в Москве... А по-моему, граждане и дорогие мои старушки, делает он все это от великой несознательности ума. Нету пока еще у нашего Кондрата политической развитости, а раз нету развитости, не достиг ее, то и сиди дома, развивайся помаленьку, не спеша, и в партию пока не лезь. Пушай он хоть лопнет от обиды, этот Кондрат, но я категорически против него и даю ему полный отлуп!

И тут вдруг Давыдов услышал из соседнего класса высокий, дрожащий голосок Вари Харламовой. Давно не видел он девушку, давненько не слышал ее милого грудного голоса...

— Разрешите мне сказать?

— Выходи сюда, чтобы все тебя видали, — предложил Нагульнов.

Смело пробиваясь сквозь плотно сбитую толпу, к столу подошла Варюха-Горюха, легким касанием загорелых рук поправила волосы на затылке.

Давыдов смотрел на нее с тихим изумлением, улыбался и не верил своим глазам. За несколько месяцев Варюха неузнаваемо изменилась: нет, уже не угловатый подросток, а статная девушка, с горделивым посадом головы, с тяжелым узлом волос, прихваченных голубой косынкой, стояла, повернувшись к столу президиума вполоборота, выжидала тишины и смотрела куда-то вверх голов тесно сидевших людей, шуря молодые красивые глаза, будто вглядываясь куда-то в дальнюю степную даль. «Как же здорово она похорошела с весны!» — думал Давыдов.

Глаза Варюхи возбужденно блестели, блестело и мокрое от пота, розовое, не знавшее ни пудры, ни помады лицо. Но тут под многими устремленными на нее взглядами мужество изменило ей; крупные руки судорожно скомкали кружевной платочек, лицо запылало густым румянцем, и грудной голосок задрожал от волнения, когда она, обращаясь к Шу-

карю, заговорила:

— Неправда ваша, дедуня! Плохо вы говорите про товарища Майданникова Кондрата Христофорыча, и никто вам тут не поверит, что он недостойный быть в партии! Я с весны работала с ним на пахоте, и он пахал лучше всех и больше всех! Он всю силу покладает на колхозной работе, а вы против него идете... Вы старый человек, а рассуждаете, как несмысленное дите!

— Всыпь ему перцу, Варька! А то он гремит, как балабон на шее у телка, и доброго слова от других за ним не услышишь, — сочным басом, не напрягая голоса, сказал Павел Любишкин.

— Варька правильно гутарит. У Кондрата трудодней больше всех в колхозе. Рабстайший он казак! — вставил старик Бесхлебнов.

А кто-то из сеней крикнул простуженным тенорком:

— Ежели таких, как Кондрат, не принимать в партию, тогда пишите в нее дедушку Щукаря! При нем колхоз сразу в гору прынет...

Но дед Щукарь только снисходительно посмеивался в свалывшуюся, давным-давно не чесанную бороденку и стоял за партией, как врытый, даже не поворачиваясь на голоса выступавших. А когда снова наступила тишина, он спокойно сказал:

— Варьке и быть-то тут вовсе не полагается, как она несовершеннолетних лет. Ей где-нибудь под сараем в куклы играть надо, а она, сорока, явилась сюда таких мудрых стариков, как я, уму-разуму учить. Потеха, а не жизнь пошла! Яйца курицу начали учить... И другие хороши: один про трудодни рассуждает — мол, у Кондрата их на арбу не покладешь... А спрошу я вас: при чем тут трудодни? Это тоже от жадности, мелкие собственники всегда жадные, ежели хотите знать, про это даже Макарушка мне не один раз толковал. И еще один глупой выискался — дескать, возьмите Щукаря в партию, и колхоз сразу воспрянет... И смеяться тут вовсе не к чему, одни тронутые умом могут смеяться и разные подобные хаханьки устраивать. Грамотный я? Вполне! Читаю, что хошь, и свободно расписываюсь. Разделяю устав партии? Очень даже разделяю! С программой согласный? Согласный и ничего супротив нее не имею. От социализма до коммунизма могу не токмо шагом, но даже наметом мчаться, конечно, по моим стариковским возможностям, не дюже спешно, чтобы не задвохнуться. И я бы давно уже в партии процветал и, гляди, уже ходил бы с потрфелью под мышкой, но, дорогие граждане и дорогие старушки, скажу, как перед господом богом, пока еще неудостоенный и я нашей партии... А почему, спрошу я вас? Да потому, что леригия меня заела, будь она трижды проклята! Чуть чего где-нибудь над головой, в высьте, резко гром вдарит, а я уже шепотком говорю: «Господи, помилуй меня, грешного!» — и тут же сотворю крестное знамение, молюсь и Иисусу Христу, и деве Марии, и богородице-дева радуйся, и всем, как есть, святителям, какие под горячую руку попадутся, подряд молюсь, и даже на прищипочки приседаю от такого неприятного грома...

Под впечатлением собственного рассказа дед Щукарь хотел было и тут перекреститься, даже донес руку до лба, но вовремя одумался и, почесав лоб, смущенно захихикал:

— Да ведь оно как сказать... Страх в глазах, вот и соображаешь про себя: «А черт его знает, что он, этот Илья-пророк, надумает! Возьмет и, потехи ради, саданет тебя молоньей в лысину, вот и ложись, Щукарь, откидывай копыта на сторону». А мне это вовсе ни к чему! Я еще до коммунизма хочу дотопать, до сладкой жизни добраться, потому-то иной раз, когда нужда припрет, и молюсь, и попу мелочишку, не больше двугривенного серебреника, суну, чтобы бога лишней раз не гневить. Ты думаешь, что так надежнее дело будет, а там черт его знает, как эта овчинка вывернется, мездрой или шерстью... Ты мечтаешь, что поп за тебя, дурака, молиться будет о здравии, а попу, ежели разобратся, ты нужен, как мертвому гулящая баба, или, по-ученому сказать, бордюр, это

одно и то же. Он, проклятый поп, норовит за твои деньги водки напиться, а не богу молиться... Вот я вам и проясняю: куда же я со своей анафемской леригией в партию полезу? И ее, милушку, искажать, и самого себя, и программу? Нет уж, ослобоните меня от такого греха! Мне это вовсе ни к чему, категорически заявляю!

— Дед, опять ты вильнул в сторону! — крикнул Размётнов. — Сворачивай на дорогу, не путляйся по обочинам!

В ответ Щукарь предостерегающе поднял руку:

— Я зараз кончаю, Андрюшенька. Ты только не сбивай меня своими глупыми возгласами, а то я вовсе ни к какому краю не прибьюсь. Ты сиди и спокойнотчко слушай умные речи, запоминай их, они тебе в жизни сгодятся. Я сроду мимо не скажу, у меня этого не бывает, а вы с Макарушкой по очереди возглашаете на меня, как дьякона с клироса, и, само собой, я нехотяючи сбиваюсь с протекания моих мыслей. Так вот я и говорю: до коммунизма я все едино хоть и беспартийный, а дойду — и не так, как этот мокрый от слез Кондрат, а с приплюсом, с веселинкой, потому что я — чистый пролетарий, а не мелкий собственник, это я вам прямо скажу! А пролетарьяту, я в одном месте прочитывал, нечего терять, окромя цепей. Никаких цепей у меня, конечно, нету, окромя старой цепки, какой когда-то кобелия привязывал, это когда я еще в богатстве проживал, но есть старуха, а это, братцы мои, похуже всяких цепей и каторжанских колодок... Но я и старуху вовсе не собираюсь терять, пушай живет при мне, бог с ней, но ежели она будет препятствовать мне и становиться поперек моего прямого пути к коммунизму, то я мимо нее так мигну, что она и ахнуть не успеет! Уж в этом вы будьте спокойные! Я страсть какой отчаянный, когда разойдусь, и тут мне на дороге не становись никто! Либо насмерть стопчу, либо так шарахну мимо, что и моргнуть никто не успеет!

— Дед, кончай, лишаю тебя слова! — решительно заявил Нагульнов, пристукивая ладонью по столу.

— Зараз кончаю, Макарушка! Не стучи дюже, а то ладошку отобьешь. Так вот я и говорю: раз уж вы все за Кондрата, то и я не супротивничаю, бог с вами, принимайте его в нашу партию. Парень он уважительный и работающий, я всегда говорил это самое. Да ежели правильно рассудить, разобрать все по косточкам, то Кондрату бесприменно надо быть в нашей партии, это я вам категорически заявляю. Одним словом, Кондратушка вполне удостоенный быть партийным. Вот и весь мой сказ!

— Начал за упокой, а кончил за здравие? — спросил Размётнов.

Но за общим хохотом слов его почти никто не расслышал.

Донельзя довольный своим выступлением, дед Щукарь устало опустился на скамью, вытер рукавом потную лысину, спросил у сидевшего рядом с ним Антипа Грача:

— Здорово я... это самое... критикнул?

— Ты, дед, поступай в артисты, — вместо ответа шепотом посоветовал Антип.

Щукарь недоверчиво покосился на соседа, но, не заметив запрятанной в его смоляной бороде улыбки, спросил:

— Это с какой же стати я туда полезу?

— Деньгу будешь греть лопатой — да не простой лопатой, а грабаркой! Делов-то там — на кнут да махнуть! Забавляй людей веселыми рассказами, бреша побольше, чуди подюжей, вот она и вся твоя работенка, она и не пыльная, а денежная.

Дед Щукарь заметно оживился, заерзал на скамье, заулыбался:

— Да милый ты мой Антипушка! Ты поймей в виду, что Щукарь нигде не пропадет! Уж он слово мимо не пустит, а непременно влестит в точку, не таковский он, чтобы мимо пулять! А что ты думаешь? На худой конец, когда старость меня окончательно прищучит, могу и в артисты податься. Я на эти разные-подобные прохождения и смолоду был

ужасно лихой, а зараз и вовсе! Мне это пара пустяков.

Старик задумчиво пожевал беззубым ртом, помолчал, что-то прикидывая в уме, потом спросил:

— А не слыхал ты случаев, сколько там все-таки платят, в артистах? Сдельно или как? Словом, какое там жалованье идет на личность? Лопатой и копейки гресть можно, но мне они вовсе ни к чему, хотя и копейка деньгой считается у скупого человека.

— От выходки и от развязки платят: как будешь себя на народе держать, — заговорщицки прошептал Антип. — Чем ты развязней и суетней будешь, тем больше тебе жалованья припадает. Они, брат, только и знают, что жрут да пьют да по разным городам разъезжают. Легкая у них жизнь, птичья, можно сказать.

— Пойдем, Антипушка, на баз, покурим, — предложил Щукарь, сразу утративший из собрания всякий интерес.

Они вышли из класса, с трудом пробираясь сквозь густую толпу народа. Присели возле плетня на согретую солнцем землю, закурили.

— А что, Антипушка, доводилось тебе когда-нибудь видать этих самых артистов?

— Сколько хошь. Когда на действительной служил в городе Гродно, нагляделся на них вдоволь.

— Ну и как они?

— Обыкновенно.

— Сытые из себя?

— Как кормленные борова!

Щукарь вздохнул:

— Значит, харч у них зиму и лето не переводится?

— По завязку!

— А куда же надо ехать, чтобы к ним прибиться?

— Не иначе в Ростов, ближе их не водится.

— Не так-то и далеко... Что же ты мне раньше про этот легкий заработок не подсказал? Я, может, уже давным-давно там на должность устроился бы? Ты же знаешь, что я на легкий труд, хотя бы на артиста, ужасный способный, а тяжело работать в хлеборобстве не могу из-за моей грызной болезни. Лишил ты меня скоромного куска! Тушная мотыга ты, а не человек! — в великой досаде проговорил Щукарь.

— Да ведь как-то разговора об этом не заходило, — оправдывался Антип.

— Надо бы тебе давно наставить меня на ум, и, гляди, я давно бы уже в артистах прохлаждался. А как только к старухе на побывку приезжал бы, так тебе — бац на стол — пол-литра водки за добрый совет! И я сытый, и ты пьяный, вот он и был бы порядочек. Эх, Антип, Антип!.. Програчевали мы с тобой выгодное дело! Нынче же мне надо посоветоваться со старухой, а там, может, в зиму я и тронусь на заработки. Давыдов меня отпустит, а лишние деньжонки мне в хозяйстве сгодятся: коровку приобрету, овечек подкуплю с десятков, поросеночка, вот оно дело-то и завеселеет... — без удержу размечтался вслух дед Щукарь и, поощряемый сочувственным молчанием Антипа, продолжал: — А жеребцы, признаться, мне надоскучили, да и зимняя езда не по мне. Трухлявый я стал, зябкий на мороз, словом — обнищал здоровьишком. Час посидишь в саях, и от холоду в нутре кишка к кишке примерзает. А ведь так недолго и заворот кишок получить, ежели там от мороза все слипнется, или воспаление нервного седалища, как у покойного Харитона было. А мне это вовсе ни к чему! Мне еще много делов предстоит, и до коммунизма я хоть пополам разорвусь, а дотянусь!

Антипу надоело забавляться с доверчивым по-детски стариком, и он решил положить конец шутке:

— Ты, дед, дюже подумай, допрежь чем записываться в артисты...

— Тут и думать нечего, — самонадеянно заявил дед Щукарь. — Раз

там даровая денга идет, к зиме и я там буду. Эка трудность — добрых людей веселить и рассказывать им разные разности!

— Иной раз не захочешь любимых денег...

— Это почему же такое? — насторожился Щукарь.

— Бьют их, этих артистов...

— Бью-у-ут? Кто же их бьет?

— Народ бьет, какой за билеты деньги платит.

— А за что бьют?

— Ну, не угодит артист каким-нибудь словом, не придется народу на вкус или побаска его покажется скучной, вот и бьют.

— И... это самое... здорово бьют или так, просто шутейно, страшат?

— Какой там черт шутейно! Бьют иной раз так, что с представления сразу везут его, беднягу, в больницу, а иной раз и на кладбище. На моих глазах в старое время одному артисту в цирке ухо откусили и заднюю ногу пятаком наперед вывернули. Так и пошел домой, разнесчастный человек...

— Пстой, погоди! Как это — заднюю ногу? Да он, что же, об четырех ногах был, что ли?

— Там всякие бывают... Там всяких для потехи держат. Но я тут ошибку понес, я хотел сказать: левую, переднюю, словом, левую ногу вывернули напроц, так и пошел он задом наперед, и не поймешь, в какую сторону он шагает. То-то и орал, горемыка! На весь город слышно было! Гудел, как паровоз, у меня ажник волос на голове в дыбки подымался!

Щукарь долго, испытующе глядел в серьезное и даже помрачневшее, очевидно от неприятных воспоминаний, лицо Антипа, под конец уверовал в подлинность сказанного и негодуя спросил:

— А где же полиция была, язви ее в душу?! Чего же она глядела на такое пришествие?

— Полиция сама участвовала в битве. Я сам видал, как полицейский в левой руке свисток держит, свистит в него, а правой артиста по шее ссланивает.

— Это, Антипушка, при царе так могло быть, а при советской власти милиции драться не положено.

— Обыкновенных граждан милиция, конечно, не трогает, а артистов все равно бьет, ей это разрешается. Так заведено спокон веков, тут уж ничего не поделаешь.

Дед Щукарь подозрительно сощурил глаз:

— Брешешь ты, чертов Грач! Что-то я тебе веры никак не даю... Ну откуда ты можешь знать, что и зараз артистам выволочку делают? В городах ты тридцать лет не был, дальше хутора и носа не кажешь, откуда ты все можешь знать?

— У меня же родной племянник в Новочеркасском живет, он и сообщает в письмах про городскую жизнь, — заверил Антип.

— Разве что племянник... — снова заколебался дед Щукарь и тяжело завздохал, посумрачнел лицом. — Вот какая заковычка, Антипушка... Оказывается, рисковая это штука, артистом быть... И на самом деле — ежели там до смертоубийства доходит народ, то это мне вовсе ни к чему. К едрене-Фене с такой веселой жизнью!

— Вот я тебя на всякий случай и упреждаю. Ты сначала посоветуйся со старухой, а тогда уже и устраивайся.

— Старуха тут ни при чем, — сухо ответил дед Щукарь. — Не ей же, в случае чего, будут бока мять. Чего же я с ней буду советоваться?

— Тогда решай сам. — Антип поднялся с земли, затоптал сигарку.

— Мне спешить некуда, до зимы еще далеко, да, признаться, и жеребцов бросать жалко, и старуха одна заскучает... Нет, Антипушка, пущай, видно, артисты эти без меня обходятся. Будь они прокляты, эти легкие заработки! Да и не такие уж они легкие, ежели всурьез подумать. Ежели тебя каждый день будут молотить чем попадая, а милиция, вместо

того чтобы заступиться, сама будет кулаки на тебе пробовать, — покорнейше благодарю! Кушайте эти вареники сами! Меня сызмальства кто только не забивал! И гуси, и бугаи, и кобели, и чего только со мной не случилось. Даже до того дошло, что дитя подкинули. Это как, по-твоему, приятность? Да чтобы меня на старости лет в артистах убили или какой-нибудь телесный член мне вывернули наоборот, — покорнейше благодарю! Не желаю, и все тут! Пойдем, Антипушка, лучше на собрание, там дело надежное, веселое, а артисты пушай сами про себя думают. Они, видать, все молодые, черти, здоровые. Их почему зря лупят, а они, небось, от этого только толстеют. А мое дело стариковское. Даром что там харч богатый, а ежели меня как следует отдубасить разика два, то я и душу богу отдам. На черта же мне этот скромный кусок нужен в таком разе? Эти дураки, какие бедных артистов бьют, у меня его из глотки живьем вынут. Не желаю быть в артистах, и больше ты меня не сманивай туда, черный дьявол, и не расстраивай окончательно и бесповоротно! Ты вот только что рассказал походя, как артисту ухо откусил какой-то безумный дурак, и как ему ногу вывернули, и как его били, а у меня уже и уши болят, и ноги ломит, и все кости ноют, будто меня самого били, кусали за уши и волочили, как хотели... Я на эти зверские рассказы ужасный нервный, все одно как контуженный. Так что ты иди, заради бога, пока один на собрание, а я грошки отдохну тут, успокою себя, настрою свои нервы, а тогда и пойду Дубцову отлуп давать. А зараз я не могу, Антипушка, выступать, у меня мелкая зыбь по спине идет и в коленях какое-то дрожание, какая-то трясучка, чума ее заberi, встать твердо на ноги не позволяет...

Щукарь начал свертывать новую папироску. И на самом деле руки его дрожали, со свернутого желобком клочка газетной бумаги сыпался крупно покрошенный табак-самосад, лицо слезливо морщилось. Антип с приторной жалостью поглядел на старика:

— Не знал я, дедушка, что ты такой чувствительной души, а то бы я тебе не рассказывал про горькую жизнь артистов... Нет, дедок, не гожи ты в артисты! Сиди на печке и не гоняйся за длинным рублем. Да и старуху тебе оставлять надолго негоже, пожалеть ее старость надо...

— То-то она возликует, когда скажу ей, что из-за нее я отказался ехать в артисты! Благодарностей мне от нее будет — несть конца!

Дед Щукарь умильно улыбался, покачивая головой, предвкушая то удовольствие, которое получит сам и доставит своей старухе, сообщив ей столь приятную новость. Но над ним уже нависала гроза...

Не знал старик о том, что верный его друг, Макар Нагульнов, полчаса назад снарядил одного из парней к щукаревой старухе со строгим наказом — немедленно явиться в школу и под любым предлогом увести старика домой.

— А легка на поминке твоя старая! — улыбаясь уже в открытую, сказал Антип Грач и довольно крикнул.

Дед Щукарь поднял голову.словно мокрой губкой кто-то стер с его лица блаженную улыбку! Прямо на него шла старуха, нахмуренная, решительная, исполненная начальственной строгости.

— Язвы ее... — растерянно прошептал дед Щукарь. — Откуда же она, окаянная, взялась? То лежала хвора, головы не подымала, а то вот тебе, сама собой жалует. И за какой чумой ее несет нелегкая?

— Пошли домой, дед, — голосом, не терпящим возражений, приказала старуха своему благоверному.

Дед Щукарь, сидя на земле, словно околдованный смотрел на нее снизу вверх, смотрел, как кролик на удава.

— Собрание еще не кончилось, милушка, и мне выступать надо. Наше хуторское начальство усердно просило меня выступить, — нако-

нец-то тихо проговорил он и тут же икнул.

— Обойдутся без тебя. Пошли! Дома дела есть.

Старуха была почти на голову выше мужа и вдвое тяжелее его. Она властно взяла старика за руку, одним движением легко поставила его на ноги. Дед Щукарь пришел в себя, гневно топнул ногой:

— А вот и не пойду! Не имеешь никакого права лишать меня голоса! Это тебе не старый режим!

Не говоря больше ни слова, старуха повернулась, крупно запагала к дому, и, влекомый ею, изредка упираясь, семенил рядом дед Щукарь. Весь вид его безмолвно говорил о слепой покорности судьбе.

Вслед ему смотрел и беззвучно смеялся Антип Грач. Но, уже поднимаясь по ступенькам крыльца, он подумал: «А ведь, не дай бог, подомрет старик, скучно без него в хуторе станет!».

## Глава XXIII

Как только в школе не стало деда Щукаря, собрание приняло совсем иной характер: по-деловому, не прерываемые внезапными взрывами смеха, зазвучали выступления колхозников, обсуждавших кандидатуру Дубцова, а после того как неожиданно для всех выступил кузнец Ипполит Шалый, на собрании на несколько минут впервые установилась словно бы предгрозовая тишина...

Уже все кандидатуры подавших заявления о вступлении в партию были всесторонне обсуждены; уже все трое открытым голосованием были единогласно приняты кандидатами в члены партии с шестимесячным испытательным сроком, когда слова попросил старик Шалый. Он поднялся с парты, стоявшей вплотную к окну, прислонился широкой спиной к оконной притолоке, спросил:

— Можно мне задать один вопросик нашему завхозу Якову Лукичу?

— Задавай хоть два, — разрешил сразу весело насторожившийся Макарыч Нагульнов.

Яков Лукич нехотя повернулся к Шалому. На лице у него застыло напряженное, ожидающее выражение.

— Вот люди вступают в партию, хотя не возле нее жить, а в ней самой, вместе с ней делить и горе и радость, — приглушенным басом заговорил Шалый, не сводя выпуклых черных глаз с Якова Лукича. — А почему ты, Лукич, не подаешь в партию? Хочу я у тебя крепко спросить: почему ты отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, что партия, как рыба об лед, бьется, тянет нас к лучшей жизни? А ты — что? А ты от жарких делов норовишь в холодке отсидеться, ждешь, когда тебе кусок добудут, разжуют и в рот положат, так, что ли? Как это так у тебя получается? Интересно у тебя получается и очень даже наглядно для народа... Для всего хутора наглядно, ежели хочешь знать!

— Я себе сам кусок зарабатываю и у тебя еще не просил, — живо отозвался Островнов.

Но Шалый властно повел рукой, будто отстраняя этот никчемный довод, сказал:

— Хлеб себе на пропитание можно добывать по-разному: надень сумку через плечо, иди христарадничать, и то с голоду не помрешь. Но не об этом я держу речь, и ты, Лукич, не вертись, как уж под вилами, ты понимаешь, об чем я говорю! Раньше, в единоличной жизни, ты на работу был злой, по-волчьему, без упуска, хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь сшибить, а зараз ты работаешь спустя рукава, как все одно для отвода глаз... Ну, не об этом речь, еще не пришла пора отчитываться тебе перед миром за свою легкую работу и

кривую жизнь, подойдет время — отчитаешься! А зараз скажи: почему ты в партию не подаешь?

— Не такой уж я грамотный, чтобы в партии состоять, — тихо ответил Островнов, так тихо, что, кроме сидевших рядом с ним, никто в школе не расслышал, что он сказал.

Сзади кто-то требовательно крикнул:

— Громче гутарь! Не слышать, что ты там под нос себе бормочешь! Повтори, что сказал!

Яков Лукич долго молчал, будто и не слышал обращенной к нему просьбы. В наступившей выжидательной тишине слышно было, как разноголосно, но дружно квакают лягушки на темной и сонной речке, как где-то далеко, наверное на старой ветряной мельнице, стоявшей за хутором, тоскует сыч да трещат за окнами, в зеленых зарослях акации, ночные свиристелки.

Молчать и дольше было неудобно, и Островнов значительно громче повторил:

— Не дюже грамотный я для партии.

— Завхозом быть — грамотный, а в партии — нет? — снова спросил Шалый.

— Там хозяйство, а тут политика. Ежели ты в этой разнице не разбираешься, то я разбираюсь, — уже отчетливо и звучно сказал оправившийся от неожиданности Яков Лукич.

Но Шалый не унимался, с усмешкой проговорил:

— А наши коммунисты и хозяйством и политической занимаются, и — понимаешь ты, какое диковинное дело, — ведь выходит у них! Одно другому вроде бы и не помеха. Что-то крутишь ты, Лукич, не то гутаришь... Правду хочешь околесить, вот и крутишь!

— Нечего мне крутить и не к чему, — глухо отозвался Островнов.

— Нет, крутишь! Из-за каких-то своих потаенных думок не желаешь ты подавать в партию... А может, я ошибку несую, так ты меня поправь, поправь меня!

Собрание длилось уже больше четырех часов. В школе, несмотря на вечернюю прохладу, было нестерпимо душно. Тускло светили в коридоре и классах несколько настольных ламп, но от них, казалось, было еще душнее. Однако мокрые от пота люди сидели не шевелясь, молча и напряженно следя за неожиданно вспыхнувшим словесным поединком между старым кузнецом и Островновым, чувствуя, что за всем этим кроется что-то недосказанное, тяжелое, темное...

— А какие у меня могут быть скрытые думки? Раз ты все на свете наскрозь видишь, так ты и скажи, — предложил Островнов, снова обретая утраченное было спокойствие и уже переходя от обороны к наступлению.

— Ты сам, Лукич, возьми и скажи про себя. С какой стати и чего ради я буду за тебя гутарить?

— Нечего мне с тобой говорить!

— А ты не со мной, ты с народом... с народом поговори!

— Окромя тебя, никто с меня ничего не спрашивает.

— Хватит с тебя и меня одного. Стало быть, не хочешь говорить? Ну ничего, подождем, не нынче, так завтра все одно заговоришь!

— Да чего ты ко мне привязался, Ипполит? Ты сам-то почему не вступаешь в партию? Ты за себя скажи, а меня нечего исповедовать, ты не поп!

— А кто тебе сказал, что я не вступаю в партию? — не меня положения, медленно, подчеркнуто растягивая слова, спросил Шалый.

— Не состоишь в партии — значит, не вступаешь.

И тут Шалый, крикнув, оттолкнулся плечом от оконной притолоки, перед ним дружно расступились хуторяне, и он развалисто, не спеша, запягал к столу президиума, на ходу говоря:

— Раньше не вступал — это да, а зараз вступлю. Ежели ты, Яков Лукич, не вступаешь, стало быть, мне надо вступать. А вот ежели бы ты нынче подал заявление, то я бы воздержался. Нам с тобой в одной партии не жить! Разных партий мы с тобой люди...

Островнов промолчал, как-то неопределенно улыбаясь, а Шалый подошел к столу, встретил сияющий, признательный взгляд Давыдова и, протягивая заявление, кое-как нацарапанное на восьмушке листа старой, пожелтевшей бумаги, сказал:

— А вот поручателей-то у меня и нету. Как-то надо вылезать из такого положения... Кто из вас, ребята, за меня поручится? А ну-ка, пишите!

Но Давыдов уже писал рекомендацию — размашисто и торопливо. Потом ручку взял у него Нагульнов.

Единоголосно был принят кандидатом в члены партии и Ипполит Шалый. После голосования ему, встав с мест, начали аплодировать коммунисты гремаченской ячейки, а за ними поднялись и все присутствовавшие на собрании, редко, неумело, гулко хлопая мозолистыми, натруженными ладонями.

Шалый стоял, растроганно моргая. Он как бы заново оглядывал повлажневшими глазами издавна знакомые лица хуторян. Но когда Разметнов шепнул ему на ухо: «Ты бы, дядя Ипполит, сказал народу что-нибудь этакое, чувствительное...», — старик мотнул головой:

— Нечего на ветер слова кидать! Да и нету у меня в заглазнике таких слов... Видишь, как хлопают? Стало быть, им и так все понятно, без моих лишних слов.

Но разительная перемена во внешнем облике произошла за эти минуты не с кем-либо из вновь принятых в партию, а с самим секретарем партячейки Нагульновым. Таким Давыдов еще никогда не видел его: Макар широко и открыто улыбался. Поднявшись за столом во весь рост, он немножко нервически оправлял гимнастерку, бесцельно касался пальцами пряжки солдатского ремня, переступал с ноги на ногу, а самое главное — улыбался, показывая густые, мелкие зубы. Всегда плотно сжатые губы его, дрогнув в уголках, вдруг расплзлись в какой-то подетски трогательной улыбке, и так необычна была она на аскетически суровом лице Макара, что первый не выдержал Устин Рыкалин. Это он в величайшем изумлении воскликнул:

— Гляньте, люди добрые, Макар-то наш, похоже, что улыбается! Первый раз в жизни вижу такую диковину!..

И Нагульнов, не пряча улыбки, отозвался:

— Нашелся один! Приметил! А чего бы мне и не улыбаться? Приятно на душе, вот и улыбаюсь. Не куплено. А и кто мне воспретит? Дорогие граждане, хуторцы, считаю открытое партийное собрание закрытым. Повестка собрания вся вычерпана.

Еще как-то более подобравшись, распрямив и без того крутые плечи, он шагнул из-за стола, сказал повзвучевшим голосом:

— Прошу — как секретарь ячейки — подойти ко мне дорогих товарищей, принятых в нашу великую Коммунистическую партию. Хочу вас поздравить с великой честью! — И, уже сжав губы и став обычным Макаром, негромко, но по-командирски повелительно бросил: — Ко мне!

Первым подошел Кондрат Майданников. Сидевшим сзади было видно, что мокрая от пота рубаха его сплошь прилипла к спине от лопаток до поясницы. «Жалкий мой, как, скажи, он десятину выкосил!» — сочувственно прошамкала одна из старух, а кто-то тихо засмеялся: «Погрели Кондрата неплохо!».

Клоня голову, Нагульнов взял прямо протянутую руку Кондрата в свои увлажнившиеся от волнения длинные ладони, сжал ее в полную силу, торжественно сказал слегка дрогнувшим голосом:

— Товарищ! Браток! Поздравляю! Надеемся, все мы, коммунисты, надеемся, что будешь примерным большевиком. Да иначе с тобой и быть не может!

А когда последним, медвежковато шагая, подошел Ипполит Шалый и, сдержанно посмеиваясь, смущенный всеобщим вниманием, издала протянул черную, раздавленную работой огромную руку, — Нагульнов шагнул ему навстречу, крепко обнял широкие сутулые плечи старого кузнеца:

— Ну вот, дядя Ипполит, как здорово оно вышло! Поздравляю всем сердцем! И остальные наши ребята коммунисты поздравляют. Живи, не хворай и стучи молотом еще лет сто на пользу советской власти и нашего колхоза! Живи долго, старик, вот что я тебе скажу! От твоего долгожительства кроме приятности для людей ничего не будет, это я тебе верно говорю!

Неловко теснясь и толкаясь, четверо принятых в партию обменялись рукопожатиями со всеми остальными коммунистами, и народ уже столпился у выходной двери, оживленно переговариваясь, но Давыдов крикнул:

— Граждане, одну минутку! Разрешите сказать несколько слов.

— Давай, председатель, только покороче, а то мы начисто подушимся! Жарища-то и духота тут, как в доброй бане! — со смешком предупредил кто-то из толпы.

Колхозники снова стали рассаживаться, занимая прежние места. Несколько минут в школе стоял сдержанный гомон, затем все стихло.

— Граждане колхозники и особенно колхозницы! Сегодня, как никогда, собрались все до одного члены нашего колхоза... — начал было Давыдов, но тут его прервал Демка Ушаков, крикнув из коридора:

— Ты, Давыдов, начинаешь, как дед Щукарь! Энтот говорил: «Дорогие граждане и старушки!», и ты вроде него: от этой же печки зачинаешь пляс.

— Они со Щукарем один у одного обучаются: Щукарь нет-нет да и вернет давыдовское слово «факт», а Давыдов скоро будет говорить «Дорогие граждане и миленькие старушки!» — добавил старик Обнيزов.

И тут в школе грянул такой добродушнейший, но громовой хохот, что в лампах заметались язычки пламени, а одна из них даже потухла. Смеялся и Давыдов, по привычке прикрывая щербатый рот широкой ладонью. Один Нагульнов возмущенно крикнул:

— Да что ж это такое?! Никакой сурьезности нету на этом собрании! Куда вы ее подевали? Или она у вас вместе с потом вся вышла?!

Но этим выкриком он словно масла в огонь подлил, и хохот всныхнул и покатился по всем классам, по коридору с новой силой. Макар безнадужно махнул рукой, со скучающим видом повернулся лицом к окну.

Все же нелегко ему давалось это показное безразличие, судя по тому, как перекатывались под скулами его крутые желваки и подергивалась левая бровь!

Но через минуту, когда все стихло, он вскочил со стула, будто осоужаленный, — потому что из задних рядов снова зазвучал громкий, дребезжащий голосок деда Щукаря:

— А спрошу я вас, дорогие граждане и старушки, почему я так возглашал?

Старик не успел окончить фразу, а хохот громыхнул, как орудийный выстрел, погасив еще две лампы. В полутьме кто-то печально разбил ламповое стекло, крепко выругался; какая-то женщина осуждающе сказала:

— А ну, зануздайся! Рад, что темно и тебя не видать, так ты и ругаешься, дурак?

Смех понемногу стих, и в сумеречном свете снова послышался дребезжащий и негодующий голосок деда Щукаря:

— Один дурак в потемках ругается почему зря, а другие неизвестно для чего смеются... Потеха, а не жизнь пошла! Хоть не ходи на собрания! Я проясню вам, по какой-такой причине я возглашал: «Дорогие граждане и старушки!». А по такой причине, что старушки — дело верное и надежное. Любая старушка все едино, как Госбанк, живет без мошенства и без подвоха. От них никакой пакости я не жду в моей престарелой жизни, а вот молодых бабенок и девок я даже вовсе зреть не могу! А почему, спрошу я вас? Да потому, что дитя мне подкинула не какая-нибудь уважительная старушка, не старушкино это дело, и кишка тонка у любой, самой резвой старухи дитя на божий свет произвести! А какая-нибудь молодая подлючина раздобрилась под мою голову и самовольно причислила меня к лику отцов. Вот потому я разных и тому подобных молодых юбошниц и терпеть ненавижу и ни на одну из них даже глазом повесть нисколько не желаю после такого пришествия! Меня дурнит, как с перепоя, ежли я нечаянно загляжусь на какую-нибудь красивую бабенку. Вот до чего они, треклятые, меня довели!.. Как же я им после такого пришествия с дитем буду возглашать — дескать, «дорогие мои бабочки и девицы непорочные», и всякую тому подобную нежность преподносить им, как на блюде? Да ни за что на свете!

Не выдержав, Нагульнов высоко взметнул брови, изумленно спросил:

— Откуда ты взялся, дед? Тебя же твоя старуха увела домой, и как ты мог опять тут очутиться?

— Ну и что, как увела? — заносчиво ответил Щукарь. — Тебе-то какое до этого дело? Это наше дело, семейное, а не партийное. Ясно тебе?

— Ничего не ясно. Раз увела, значит по делу увела, и ты должен быть дома.

— Был, да весь сплыл, Макарушка! И никому я ничего не должен, ни тебе, ни собственной старухе, ну вас к анчихристу, отвяжитесь вы от меня заради бога!

— Как же это ты, дедушка, ухитрился из дому удрать? — всеми силами сдерживая смех, спросил Давыдов.

Последнее время он положительно не мог сохранять подобающую ему серьезность в присутствии Щукаря, даже взглянуть на него не мог без улыбки, и теперь ждал ответа, щура глаза и заранее прикрывая рот ладонью. Недаром Нагульнов, оставаясь с ним с глазу на глаз, с нескрываемой досадой говорил: «И что это с тобой, Семен, делается? Смешливый ты стал, как девка, какую щекочут, и на мужчину вовсе стал не похожий!».

Воодушевленный вопросом Давыдова, Щукарь рванулся вперед, яростно работая локтями, расталкивая столпившихся в проходе хуторян, изо всех сил пробиваясь к столу президиума.

Нагульнов крикнул ему:

— Дед! Ну что ты по головам ходишь? Говори с места, разрешаем, только покороче!

Остановившись на полпути, дед Щукарь запальчиво прокричал в ответ:

— Ты свою бабушку поучи, откуда ей говорить, а я свое место знаю! Ты, Макарушка, завсегда на трибун лезешь, либо из президиума рассуждаешь и несешь оттуда всякую околесицу, а почему же я должен с людьми разговаривать откуда-то из темного заду? Ни одного личика я оттуда не вижу, одни затылки, спины и все прочее, чем добрые люди на лавки садятся. С кем же я, по-твоему, должен разговаривать и кому возглашать? Затылкам, спинам и разному тому подобному? Иди ты сам сюда, взад, отсюда и держи свои речи, а я хочу людям в глаза глядеть, когда разговариваю! Задача ясная? Ну и молчи помаленьку, не сбивай меня с мысли. А то ты повадился загодя сбивать меня. Я и рот не успею открыть, а ты уже, как из пращи, запускаешь в меня разные возгласы. Нет, братец ты мой, так дело у нас с тобой не пойдет!

Уже стоя против стола и одним глазом глядя на Макара в упор, Щукарь спросил:

— Ты когда-нибудь в жизни видал, Макарушка, чтобы баба отрывала мужчину от дела по вострой нужде? Ответствуй по совести!

— Редко, но случалось: скажем, в случае пожара или еще какой беды. Ты только собрание не затягивай, старик, дай высказаться Давыдову, а после собрания пойдем ко мне и будем с тобой гутарить хоть до рассвета.

Нагульнов, непреклонный Нагульнов, явно шел на уступки, лишь бы как-то умаслить деда Щукаря и не дать ему возможности по-пустому задерживать собравшихся, но достиг неожиданного эффекта — дед Щукарь всхлипнул, вытер рукавом заслезившийся глаз, сквозь непритворные слезы заговорил:

— По мне, все едино, у тебя ночевать или возле жеребцов, но только домой мне нынче объявляться никак нельзя, потому что предстоит мне от моей старухи такая турецкая баталия, что я могу у себя на пороге и копыта к чертовой матери откинуть, и очень даже просто!

Дед Щукарь повернулся сморщенным, как печеное яблоко, личиком к Давыдову, продолжал внезапно окрепшим голосом:

— Вот ты, жаль моя, Сёмушка, вопрошаешь, как, то есть, я дома был и из дома слыл. А ты думаешь — это простое дело? Должен я собранию в один секунд, не затягивая дела, прояснить насчет моей зловредной старухи, потому что должен я от народа восчувствие себе иметь, а не сышу я того восчувствия — тогда ложись, Щукарь, на сырую землю и помирай с господом-богом к едреной матушке! Вот какой петрушкой складывается моя гробовая жизнь!.. Стало быть, с час назад приходит сюда моя занюба, а я сижу с Антигушкой Грачом на дворе, табачок с ним покуриваем и рассуждаем про артистов и насчет нашей протекающей жизни. Приходит она, треклятая, берет меня за руку и волокет за собой, как сытый конь перевернутую вверх зубьями борону. Легочко волокет, не крикнет даже и не охнет от натуги, хотя я и упирался обеими ногами изо всех сил.

Да ежели хотите знать, то на моей старухе пахать можно и груженые воза возить, а меня ей утянуть куда хошь — раз плюнуть, до того она сильная, проклятая! Сильная до ужаста, как ломовая лошадука, истинный бог, не брешу! Уж кому-кому, а мне про ее силищу известно до тонкостей, на своем горбу пробовал...

И вот она меня и тянет и волокет следом за собой, а что поделаешь? Сила солому ломит. Поспешаю за ней, а сам спрашиваю: «За какой нуждой ты меня от собрания отрываешь, как новорожденного дитя от материнских грудей? Ведь мне же там дело предстоит!» А она говорит: «Пойдем, старый, у нас ставня на одном окошке сорвалась с петли, навесь ее как следует, а то, не дай бог, подует ночью ветер и расколотит нам окошко». Это как вам, номер? Вот тебе, думаю, и раз! «Да что же, — говорю ей, — завтра дня не будет, чтобы ставню навесить? Не иначе ты ополумела, старая кочерыжка!». А она говорит: «Я хвораю, и мне одной лежать в хворости скучно, не слиняешь, ежели посидишь возле меня». Вот тебе и два! Я отвечаю ей на это: «Позови какую-нибудь старуху, она и посидит с тобой, пока я на собрание вернусь и Агафосе Дубцову отлуп дам». А она говорит: «Желаю только с тобой скуку делить, и никакая старуха мне не нужна». Вот тебе и три, то есть три пакости в ответ!

Это как, можно добровольно переносить такое смывание над человеком или надо было сразу экипироваться от такой непролазной дурости? Я так и сделал, то есть самовольно экипировался. Вошли в хату, а я, недолго думая, шмыг — в сенцы, оттуда — на крыльцо и поспешно накинул цепку на дверной пробой, а сам на рысях сюда, в школу! Окошечки у нас в хате маленькие, узенькие, а старуха моя, вы же знаете, тушистая, огромядная. Ей ни за что в окно не пролезть, застрянет, как кормлёная

свинья в дырчатом плетне. это дело уже пробованное, застревала она там, и не раз. Вот она и сидит теперича дома, сидит, миленькая, как черт в старое время, еще до революции, в рукомыльнике сидел, а из хаты выйти не может! Кому охота — пушай идет, высвобождает ее из плену, а мне являться ей на глаза никак нельзя, я дня на два подамся к кому-нибудь во временные жильцы, пока старуха моя не остынет трошки, пока ее гнев на меня не потухнет. Я не глупой, чтобы рысковать своей судьбой, и мне вовсе ни к чему ее разные и тому подобные баталии. Решит она меня жизни вгорячах, а потом что? А потом прокурор напишет, что, мол, на Шипке все спокойно, и дело с концом! Нет, покорнейше благодарю, кушайте эти олады сами! Умный человек все это дело и без прояснений поймет, а дураку проясняй, не проясняй — все едино он так дураком и проживет до гробовой доски!

— Ты кончил, дед? — спокойно спросил Размётнов.

— С вами нехотя кончишь. Агафону отлуп дать я опоздал, все одно вы его приняли в нашу партию, да, может, этак оно и к лучшему, может, я даже с вами и согласный. Про старуху все как есть прояснил и по глазам вашим вижу, что все вы тут сидящие ко мне дюже восчувствие имеете. А больше мне ничего и не надо! Поговорил я с вами в свое удовольствие, не все же мне с одними жеребцами разговаривать, верно говорю? У вас понятия хоть на самую малость, но все-таки больше, чем у моих жеребцов...

— Садись, старик, а то ты опять заговариваться начинаешь, — приказал Нагульнов.

Вопреки ожиданиям присутствовавших, Щукарь молча пошел на свое место, не вступая в обычные пререкания, но зато улыбался с таким необычайным самодовольством и так победоносно сверкал одним глазом, что всякому с непреложной ясностью должно было видеть: идет он не побежденным, а победителем. Его провожали дружественными улыбками. Все же гремаченцы относились к нему очень тепло.

И только один Агафон Дубцов не преминул испортить деду счастлирое настроение. Когда Щукарь, исполненный важности, проходил мимо него, Агафон, искривив рябое лицо, зловеще шепнул:

— Ну, достукался ты, старик... Давай попрощаемся!

Щукарь встал как вкопанный, некоторое время молча жевал губами, а потом набрался сил, спросил дрогнувшим голосом:

— Это... это с какой же стати, то есть, я должен с тобой прощаться?

— А с такой, что жить тебе осталось на белом свете самую малость... Жизни тебе осталось на два огляда и на четыре вздоха. Не успеет стриженная девка косу заплести, а ты уже доской накроешься...

— Это... как же это так, Агафоса?

— А так, очень даже просто! Тебя убить собираются.

— Кто? — еле выдавил из себя дед Щукарь.

— Известно кто: Кондрат Майданников с женой. Он уже ее домой послал за топором.

Ноги Щукаря мелко задрожали, и он обессиленно присел рядом с услужливо подвинувшимся Дубцовым, потерянно спросил:

— За что же это он меня задумал жизни решить?

— А ты не догадываешься?

— За отлуп, какой ему дал?

— Точно! За критику всегда убивают, иной раз топором, иной раз из обреза. А тебе как больше нравится: от пули умереть или под топором?

— Нравится! Скажешь тоже! Да кому же может нравиться такое пришествие?! — возмутился дед Щукарь. — Ты скажи лучше: что мне теперича делать надо? Как я могу себя оборонить от такого глупого дурака?

— Заявлять надо начальству, пока жив, вот и все.

— Не иначе, — немного поразмыслив, согласился дед Щукарь. — Зараз пойду Макарушке жалиться. А что же ему, проклятому Кондрашке, не страшно за меня на каторгу идти?

— Он говорил — мол, за Щукаря мне больше года не дадут или, на худой конец, больше двух лет, а год или два я смело отсижу, легко отдежурю... За таких старичишек, говорит, много не дают. Самые пустяки дают за подобное барахло.

— Облизнется он, сукин сын! Получит всю десятку, уж это я до тонкостей знаю! — в ярости возопил дед Щукарь.

И тут же получил от Нагульнова строжайшее предупреждение:

— Ежели ты, старик, еще раз заорешь недорезанным козлом — немедленно выведем с собрания!

— Сиди тихо, дедушка, я провожу тебя отсюда, я тебя в трату не дам! — шепотом пообещал Дубцов.

Но Щукарь в ответ и словом не обмолвился. Он сидел, опершись локтями о колени, низко склонив голову. Он думал о чем-то сосредоточенно, упорно, страдальчески морщил лоб, а потом вдруг вскочил, расталкивая людей, рысдой затрусил к столу президиума. Дубцов, следивший за стариком, видел, как тот склонился над Нагульновым, что-то зашептал ему на ухо, указывая на него, Дубцова, а потом на Кондрата Майданникова.

Трудно, почти невозможно было рассмешить Нагульнова, но тут и он не выдержал, улыбнулся краешками губ и, глядя на Дубцова, укоризненно покачав головой, усадил Щукаря рядом с собой, шепнул: «Сиди тут и не рыпайся, а то ты домотаешься до какого-нибудь греха».

Спустя немного торжествующий и успокоенный дед Щукарь поймал взгляд Майданникова и злорадно показал ему из-под локтя левой руки дулю. Изумленный Кондрат поднял брови, а Щукарь, чувствуя себя возле Макара в полной безопасности, уже показывал ему сразу две дули.

— Что это старик тебе шиши кажет? — спросил у Майданникова сидевший по соседству Антип Грач.

— А черт его знает, что ему на ум взбрело, — с досадою ответил Кондрат. — Примечаю я, что он умом начинает трогаться. Да оно и пора: года-то его не малые, а пережить ему пришлось тоже не мало, бедняку. Всегда мы жили с ним по-хорошему, а зараз, видать, он что-то на меня зlobствует. Надо у него спросить, за что он обижается.

Случайно Кондрат глянул на место, где недавно сидел дед Щукарь, и тихонько рассмеялся, толкнул локтем Антипа:

— Он же рядом с Агафоном сидел, теперь все понятно! Это чертов Агафон ему что-нибудь в уши надул про меня, какую-нибудь хреновину выдумал, вот дед и бесится, а я и сном-духом не знаю, чем ему не угодил. Он уже как малое дите стал, всякому слову верит.

Стоя возле стола, Давыдов терпеливо ждал, когда извечно медлительные хutorяне снова рассядутся по местам и стихнет шум.

— Давай, Давыдов! Давай, не тяни! — крикнул нетерпеливый на ожидание Демка Ушаков.

Давыдов, о чем-то пошептавшись с Размётновым, торопливо начал:

— Я вас надолго не задержу, факт! Я потому обращаюсь особенно к колхозницам, что вопрос, который сейчас поставлю перед вами, больше касается женщин. Сегодня на нашем партийном собрании весь колхоз присутствует, и мы, коммунисты, посоветовавшись между собою, хотим предложить вам такую штуку: на заводах у нас давным-давно созданы детские сады и ясли, где каждый день, с утра до вечера, под присмотром опытных нянек и воспитательниц находятся, кормятся и отдыхают малые детишки, это, товарищи, факт! А мамы их тем временем работают и о своей детворе не болеют душой. Руки у них развязаны, от забот о детях они освобождены. Почему бы и нам при колхозе не устроить такой детский сад? Два кулацких дома у нас пустуют; молоко, хлеб, мясо, пшено и кое-что другое в колхозе есть, факт! Харчами мелких граждан

наших мы полностью обеспечим, уходом — тоже, так в чем же дело, черт возьми? А то ведь на носу уборка хлебов, а с выходами женщин на работу дело не ахти как важно обстоит у нас, прямо скажу — плохо обстоит, вы сами это знаете. Как, дорогие колхозницы, согласны вы с нашим предложением? Давайте голоснем, и если большинство будет согласны, то и примем сейчас же такое решение, чтобы из-за этого вопроса не созывать нам лишний раз еще одно собрание. Кто «за» — прошу поднять руки.

— Кто же супротив такого добра будет? — крикнула многодетная жена Турилина. Оглядывая соседок, она первая подняла узкую в запястье руку.

Густейший частокол рук вырос над головами сидевших и толпившихся в проходах колхозников и колхозниц. Против никто не голосовал. Давыдов потер руки, довольно заулыбался:

— Предложение об устройстве детского сада принято единогласно! Очень приятно, дорогие товарищи-граждане, такое единодушие, факт, что попали мы в точку! Завтра приступим к делу. Детишек приходите, мамы, записывать в правление колхоза с утра, часов с шести, как только со стряпней управитесь. Посоветуйтесь, товарищи женщины, между собой и выберите стряпуху, чтобы была опрятная и умела хорошо готовить, и еще двух-трех колхозниц выберите, аккуратных, чисторядных собою, ласковых к детишкам — на должность нянек. Заведующую будем просить себе в районе, чтобы была грамотная и могла вести отчетность, факт. Мы тут прикидывали и решили, что каждой из колхозниц-нянек и стряпухе мы будем в день начислять по трудовню, а заведующей придется платить жалованье по государственной ставке. Не разоримся, факт! А дело такое, что тут ничего жалеть не надо, расходы окупятся выходами на работу, это я вам впоследствии фактически докажу! Детишек будем принимать от двух лет и до семи. Вопросов нет?

— А не многовато ли в день по трудовню? Невелика тяжесть с детвой возиться, это не вилами в поле ворочать, — вслух усомнился недавно вступивший в колхоз один из последних в хуторе одиночников Ефим Кривошеев.

Но тут вокруг него закипела такая буря негодующих женских возгласов, что оглушенный Ефим вначале только морщился, отмахивался, будто от пчел, от наседавших на него женщин, а потом, чуя недоброе, вскочил на парту, весело и зычно заорал:

— Уймись, мой лапушки! Уймись, заради Христа! Это я по нечаянке сказал! Это я по оплошке сдуру сбрыхнул! Пропустите меня к выходу и не тянитесь, пожалуйста, к моей морде с вашими кулаками! Товарищ Давыдов, выручай нового колхозника! Не дай пропасть героической смертью! Ты же наших баб знаешь!

Женщины кричали вразнобой:

— Да ты, такой-сякой, когда-нибудь возился с детишками?!

— В стряпухи его определить, толстого борова!

— В няньки!

— И двух грудодней не захочешь, как побудешь с ними день-деньской, а он скряжничает, волчий зуб!

— Проучите его, бабоньки, чтобы брехал, да меру знал!..

Может быть, все и обошлось бы чинно-мирно, но шутивный выкрик Ефима послужил как бы сигналом к разрядке напряженности, и дело приняло совсем неожиданный для Ефима оборот: с хохотом и визгом женщины стащили его с парты, чья-то смуглая рука зажала в кулаке каштановую бороду Ефима, и звучно затрещала на нем по всем швам и помимо швов новая сатиновая рубаша. Тщетно, надрываясь, Нагульнов призывал женщин к порядку. Свалка продолжалась, и через минуту багрового от смеха и смущения Ефима дружно вытолкали в коридор, но оба рукава, оторванные от его рубахи, лежали на полу в классе, а сама ру-

баха, оставшаяся без единой пуговицы, была распущена во многих местах от ворота до подола.

Задыхаясь от смеха, под общий хохот окруживших его казаков Ефим говорил:

— Какую силу забрали наши анафемские бабы! Ведь это беда! Первый раз выступил супротив них и, скажи, как неудачно... — Он стыдливо запахивал на смуглом животе располосованную рубаху, сетовал: — Ну, как я в таком кружеве своей бабе на глаза покажусь? Ведь она меня за такой убыток со двора сгонит! Придется вместе с дедом Щукарем пристраиваться к какой-нибудь вдове во временные жильцы, нету у нас с ним другого выхода!

## Глава XXIV

С собрания расходились далеко за полночь. По всем улицам и переулкам медленно шли люди, оживленно переговаривались; в каждом дворе скрипели калитки, резко в ночной тишине звякали дверные щеколды; изредка то здесь, то там звучал смех, и — непривычные к такому многолюдству и гомону в ночное время — по всему Гремячему Логу подняли неистовый брех проснувшиеся хуторские собаки.

Одним из последних вышел из школы Давыдов. После ядовитой, густой духоты, заполнившей все помещение школы, воздух на улице показался ему холодным, пьянящим свежестью. Даже как будто запах браги уловил в легком ветерке жадно дышавший Давыдов.

Впереди него шли двое. Услышав их голоса, он невольно улыбнулся.

Дед Щукарь горячо говорил:

— ...А я сдурю и поверил ему, чертову треплу, что Кондрат всерьез собирается казнить меня за мою критику и самокритику, и испужался страшно, подумал про себя: «Да ведь это шутка делов — топор в руках у Кондрата! Парень он вроде и смиренный, а там черт его знает... Раз махнет топором вгорячах и расколлет голову напополам, как арбуз!». И как я мог дать веры этому чертову Агафшке?! Ведь он шагу не сделает, чтобы мне в чем-нибудь не напакостить! Ведь у него же всею жизнью язык трепется, как худая варежка на колу. Это он, проклятый сын, и козла Трофима выучил на меня кидаться и поддевать рогами куда попало, не считаясь, что я грызной человек. Уж это я до тонкостей знаю! Сам видал, как он его этой зверской науке выучивал, только я тогда вовсе не думал, что он его супротив меня наставляет и научает жизнь мне украчивать.

— А ты не верь ему! Ни в чем, как есть, не верь и всегда бери его под всевозможное сомнение! Агафон до смерти любит всякие штучки выкидывать, он надо всеми подшучивает, такой уж у него характер, — хрипловатым баском успокаивающе отзывался Нагульнов.

Они вместе вошли в калитку нагульновского двора, продолжая разговор, начатый, очевидно, еще в школе. Давыдов хотел было последовать за ними, но раздумал.

Свернул в ближайший переулок и, пройдя немного, увидел прислонившуюся к плетню Варю Харламову. Она шагнула ему навстречу.

Поздний ущербный месяц светил скупой, но Давыдов отчетливо разглядел на губах девушки смущенную и невеселую улыбку.

— А я вас дождаюсь... Я знаю, что вы этим переулком всегда домой ходите. Давно я вас не видала, товарищ Давыдов...

— Давно не встречались мы с тобой, Варюха-Горюха! — обрадованно проговорил Давыдов. — Ты за это время стала совсем взрослой и красивой, факт! Где же это ты пропадала?

— То на прополке, то на покосе, и по домашности тоже дела... А вы ни разу и не проведали меня, небось, и не вспомнили ни разу...

— Моя такая обидчивая! Не упрекай, все — некогда, все — дела. По неделе не бреемся, едим раз в сутки, вот как нас прикрутило перед уборкой. Ну чего ты меня ждала? Дело какое есть? Не пойму: какая-то ты грустная, что ли? Или я ошибаюсь?

Давыдов легонько сжал тугую и полную руку девушки повыше локтя, сочувственно заглянул ей в глаза:

— Уж не горе ли какое у тебя? Рассказывай!

— Вы домой идете?

— А куда же мне еще в такой поздний час?

— Мало ли куда, вам двери везде открытые... Ежели домой, то нам по дороге. Может, проводите меня до нашей калитки?

— О чем речь! Чудачка ты, право! Ну когда это матросы, даже бывшие, отказывались провожать хорошеньких девушек? — с шутливым наигрышем воскликнул Давыдов, взяв девушку под руку. — Пошли в ногу! Ать, два! Ать, два! Ну так что у тебя за горе-беда? Выкладывай все начистоту! Председатель должен все знать, факт! Все до подноготной!

И вдруг Давыдов ощутил, как под его пальцами задрожала рука Вари, шаг ее стал неуверенным, как бы спотыкающимся, и сейчас же послышался короткий всхлип.

— Да ты на самом деле раскисла, Варюха! Что с тобой? — отбросив шутливый тон, обеспокоенно и тихо спросил Давыдов. Он остановился снова, пытаясь заглянуть ей в глаза.

Мокрым от слез лицом Варя ткнулась в его широкую грудь. Давыдов стоял не певелясь, то хмурясь, то удивленно подымая выгоревшие брови. Сквозь сдавленные рыдания еле расслышал:

— Меня сватают... За Ваньку Обнизова... Мамаия день и ночь меня пилит: «Выходи за него! Они живут справно!». — И вдруг все горькое горе, что копилось на сердце у девушки, как видно, не один день, вырвалось в страдальческом вскрике: — Да господи, что же мне делать?!

На короткий миг рука ее легла на плечо Давыдова и тотчас же соскользнула, обессиленно повисла.

Вот уж чего никак не ожидал Давыдов и никогда не думал о том, что такая новость может повергнуть его в полное смятение! Растерянный, онемевший от неожиданности, чувствуя острую боль на сердце, он молча сжал Варины руки и, слегка отшатнувшись, смотрел на ее склоненное заплаканное лицо, не зная, что сказать. И только в этот момент до него наконец дошло, что он, таясь от самого себя, пожалуй, давно любит эту девушку — какой-то новой для него, бывалого человека, чистой и непопятной любовью и что сейчас вот уже в упор подошли к нему две печальные подруги и спутницы почти каждой настоящей любви — разлука и утрата...

Овладев собой, он спросил чуточку охрипшим голосом:

— А ты? Что же ты, моя ланюшка?

— Не хочу я идти за него! Пойми, не хочу!

Варя подняла на Давыдова всклень налитые слезами глаза. Распухшие губы ее трогательно и жалко задрожали. И словно бы в ответ отозвалось, дрогнуло сердце Давыдова. Во рту у него пересохло. Он с трудом проглотил колючую слюну, сказал:

— Ну и не выходи за него, факт! Силой никто тебя замуж не выдаст.

— Да пойми же ты, что у матери нас шестеро, остальные все меньше меня, мать хвора, а одна я такую ораву не прокормлю, хоть задушусь на работе! Как же ты этого не поймешь, родненький мой?

— А замуж выйдешь — тогда как? Муж-то будет помогать?

— Он с себя последнее съмет, лишь бы нашим помочь! Он рук не будет покладать на работе! Знаешь, как он меня любит? Он дюже меня любит! Только не нужны мне ни помочь его, ни любовь! Не люблю я его ни капельки! Противный он мне до смерти! Он меня за руки возьмет потными руками, а мне тошно становится. Я скорее... Эх, да что там го-

ворить! Был бы отец живой, я и не задумывалась бы ни о чем, я бы теперь, может, уже школу второй ступени кончала...

Давыдов все еще пристально глядел на заплаканное, бледное в лунном свете лицо девушки. Горестные складки лежали по углам ее припухших губ, глаза были опущены, и сине темнели веки. Она тоже молчала, комкая в руках платочек.

— А что если помогать вашей семье? — после короткого раздумья неуверенно спросил Давыдов.

Но не успел он закончить фразы, как уже не слезами, а гневом блеснули будто сразу высохшие глаза Варюхи. Раздувая ноздри, она по-мужски грубо воскликнула низким, рвущимся голосом:

— Иди ты к черту со своей помощью! Понял?!

И опять наступило короткое молчание. Потом Давыдов, немного ошавший от неожиданности, спросил:

— Это почему же так?

— Потому!

— Но все же?

— Не нуждаюсь я в твоей помощи!

— Да не о моей помощи разговор идет, а колхоз будет помогать твоей матери, как многодетной вдове. Понятно? Поговорю на правлении колхоза, и примем такое решение. Уразумела, Горюха?

— Не нужна мне колхозная помощь!

Давыдов с досадой пожал плечами:

— Странная ты фигура, факт! То она нуждается в помощи и за первого подвернувшегося парня собирается замуж выскакивать, то она не нуждается ни в чьей помощи... Что-то не пойму я тебя! У кого-то из нас мозги сегодня набекрень, факт! Чего же ты хочешь, в конце концов?

Спокойный, рассудительный голос Давыдова — а может быть, он показался Варе таким — привел девушку в совершенное отчаяние. Она заплакала навзрыд, прижала к лицу ладони и, круто повернувшись спиной к Давыдову, вначале пошла, а затем побежала по переулку, клонясь вперед, не отнимая мокрых ладоней от лица.

Давыдов догнал ее на повороте в улицу, схватил за плечи, зло проговорил:

— Эй, Горюха, не мудри! Я у тебя толком спрашиваю: в чем дело?

Вот тут-то бедная Варя и дала полную волю своему неистовому девичьему отчаянию, злему горю:

— Дурак слепой! Слепец проклятый! Ничего ты не видишь! Люблю я тебя, с самой весны люблю, а ты... а ты ходишь, как с завязанными глазами! Надо мною уже все подруги смеются, может, уже все люди смеются! Ну не слепец ли ты? А сколько слез я по тебе, врагу, источила... сколько ночей не спала, а ты ничего не видишь! Как же я приму от тебя помощь или от колхоза милостыню. ежели я тебя люблю?! И у тебя, у проклятого, язык повернулся сказать такое?! Да я лучше с голоду подохну, но ничего от вас не возьму! Ну вот и все тебе сказала. Добился своего? дождался? А теперь и ступай от меня к своим Лушкам, а мне ты не нужен, ни о чем не нужен такой каменюка холодный, незрячий, такой слепец прижмуренный!

Она с силой рванулась из рук Давыдова, но тот держал ее крепко. Держал надежно, крепко, но молча. Так они постояли несколько минут, потом Варя вытерла глаза кончиком косынки, сказала потухшим, каким-то будничным и усталым голосом:

— Пусти меня, я пойду.

— Говори тише, а то кто-нибудь услышит, — попросил Давыдов.

— Я и так тихо говорю.

— Неосторожная ты...

— Хватит! Полгода осторожничала, а больше не могу. Ну пусти же

меня! Скоро рассветать будет, мне надо идти корову доить. Слышишь?

Давыдов молчал, опустив голову. Правой рукой он все еще крепко обнимал мягкие плечи девушки, вплотную ощущая тепло ее молодого тела, вдыхая пряный запах волос. Но странное чувство испытывал он в эти минуты: ни волнения, ни жара в крови, ни желания не ощущал он, только легкая грусть, словно дымкой, обволакивала его сердце, и почему-то трудно было дышать...

Страхнув с себя оцепенение, Давыдов левой рукой коснулся круглого подбородка девушки, слегка приподнял ее голову и улыбнулся:

— Спасибо тебе, милая! Моя милая Варюха-Горюха!

— За что же? — чуть слышно прошептала она.

— За счастье, каким даришь, за то, что отругала, слепым обозвала... Но не думай, что я окончательно слепой! А ты знаешь, я уже иногда подумывал, приходило на ум частенько, что счастье мое, личное счастье, осталось за кормой, в прошлом то есть... Хотя и в прошлом мне его было отмерено — кот заплакал...

— Ну а мне и того меньше! — тихо проговорила Варя. И уже немного внятнее попросила: — Поцелуй меня, мой председатель, в первый и в последний раз, и давай расходиться, а то уже заря занимается. Нехорошо будет, ежели увидят нас вместе, стыдно.

Она потянулась губами, по-детски привстав на носки и запрокинув голову. Но Давыдов с холодком, как ребенка, поцеловал ее в лоб, твердо сказал:

— Не горюй, Варюха, все утрясется! Провожать тебя дальше не пойду, не надо, факт, а завтра увидимся. Загадала ты мне загадку... Но к утру я ее одолею, факт, что отгадаю! А ты утром матери скажи: пусть вечером она из дома не отлучается, я зайду к вам на закате солнца, будет разговор, и ты будь дома. До свиданья, моя ланюшка! Не обижайся, что ухожу вот так... Надо же мне как-то подумать и о твоей судьбе и о моей тоже? Правильно я говорю?

Ответа он не стал дожидаться. Молча повернулся и молча пошел домой обычным своим размеренным и неспешным шагом.

Так они и расстались бы — не свои и не чужие. Но Варя чуть слышно окликнула его. Давыдов нехотя остановился, спросил вполголоса:

— Что тебе?

Он смотрел на быстро приближавшуюся девушку не без некоторой внутренней тревоги: «Какое еще новое решение сумела она принять за эти считанные минуты расставанья? Горе ее на все может толкнуть, факт».

Варя стремительно подошла и с ходу прижалась к Давыдову, дыша ему в лицо, горячечно зашептала:

— Миленький ты мой, не приходи ты к нам, не говори ни о чем с матерью! Хочешь, я буду жить с тобой, ну... ну, как Лущка? Поживем год, а потом бросай меня! Я выйду замуж за Ваньку. Он меня всякую возьмет, и после тебя возьмет! Он позавчера так и сказал: «Ты мне любая будешь мила!». Хочешь?!

Уже не рассуждая, Давыдов грубо оттолкнул Варю, презрительно сказал:

— Дура! Девчонка! Шалава! Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты взбесилась, факт! Одумайся и ступай домой, проспись. Слышишь? А вечером я приду, и ты не вздумай от меня прятаться! Я тебя везде найду!

Если бы Варя оскорбленно, молча ушла — на том бы они и расстались, но она потерянном голосом тихо спросила:

— А что же мне делать, Семен, миленький мой?

И у Давыдова еще раз за встречу дрогнуло сердце — уже не от жалости. Он обнял Варю, несколько раз провел ладонью по ее склоненной голове, попросил:

— Ты меня прости, я погорячился... Но и ты хороша! Тоже мне, жерт-

ву придумала... Пойди, на самом деле, милая Варюха, поспи малость, а вечером увидимся, ладно?

— Ладно, — покорно ответила Варя. И испуганно отстранилась от Давыдова: — Господи! Да ведь уж вовсе рассвело! Пропала я...

Рассвет подкрался незаметно, и теперь уже и Давыдов, будто проснувшись, увидел отчетливо обрисованные контуры домов, сараев, крыш, слитые воедино темно-синие купы деревьев в примолкших садах, а на востоке — еле намечавшуюся мутно-багряную полосу зари.

А ведь неспроста Давыдов в разговоре с Варей случайно обмолвился, что счастье его «осталось за кормой». Да и было ли оно, это счастье, в его суматошной жизни? Вернее всего, что нет.

До позднего утра он сидел дома возле открытого окошка, курил одну папиросу за другой, перебирал в памяти свои былые любовные увлечения, и вот на поверку оказалось, что ничего-то и не было в его жизни такого, о чем можно было бы вспомнить теперь с благодарностью или грустью или даже, на худой конец, с угрызениями совести... Были короткие связи со случайными женщинами, никого и ни к чему не обязывающие, только и всего. Легко сходились и без труда, без переживаний и жалких слов расходились, а через неделю встречались уже как чужие и лишь для приличия обменивались холодными улыбками и несколькими незначащими словами. Кроличья любовь! И вспоминать-то было стыдно бедному Давыдову, и он, мысленно путешествуя по своему любовному прошлому и наткнувшись на такой эпизод, брезгливо морщился, старался поскорее проскользнуть мимо того, что красило прошлое, допустим, так же, как жирное пятно мазута красит чистую матросскую форменку. Чтобы поскорей забыть неприятное, он в смятении поспешно закуривал новую папиросу, думал: «Вот так и возмись подбивать итоги... И получается одна чепуха и гнусь, факт! Словом, ноль без палочки получается у матроса. Ничего себе, достойно прожил с женщинами, не хуже любого пса!».

И уже часам к восьми утра Давыдов решил: «Что ж, женюсь на Варюхе. Пора кончать матросу с холостяцкой жизнью! Должно быть, так дело будет лучше. Устрою ее в сельскохозяйственный техникум, через два года будет свой агроном в колхозе, вот и станем тянуть рядом. А там видно будет».

Приняв решение, он не привык медлить, откладывая дело в долгий ящик, — умылся и пошел к дому Харламовых.

Мать Вари он встретил во дворе, почтительно поздоровался:

— Ну здравствуй, мать! Как живешь?

— Здорово, председатель! Живем помаленьку. Ты что хотел? Какая нужда тебя принесла поутру?

— Варвара дома?

— Спит. Вы же на собраниях засиживаетесь до белого света.

— Пойдем в хату. И разбуди ее. Разговор есть.

— Проходи, гостем будешь.

Они вошли в кухню. Хозяйка, настороженно глядя на Давыдова, сказала:

— Садись, зараз я Варьку разбужу.

Вскоре из горницы вышла Варя. Она, наверное, тоже не спала это утро. Глаза ее были припухлы от слез, но лицо по-молодому свежо и как бы осиянно внутренней ласковой теплотой. Немного исподлобья, испытующе и выжидательно взглянув на Давыдова, она проговорила:

— Здравствуйте, товарищ Давыдов! Вот и вы к нам с утра пожаловали в гости.

Давыдов присел на лавку, мельком оглядел спавших вповалку на убогой кровати детей, сказал:

— Не в гости я пришел, а по делу. Вот что, мать... — И на минуту

умолк, подыскивая слова, глядя на пожилую женщину усталыми глазами.

Та стояла возле печи, беспокойно перебирая пальцами на впалой груди складки старенького платья.

— Вот что, мать, — повторил Давыдов. — Варвара любит меня, я тоже ее люблю. Решение такое: отвезу ее в округ учиться на агронома, есть там такой техникум, через два года будет она агроном, приедет работать сюда, в Гремячий, а нынче осенью, когда справимся с делами, сыграем свадьбу. Тут без меня за ней сваты были от Обнизовых, но ты девушку не воль, она сама себе свою судьбу сыщет, факт.

Построжавшим лицом женщина повернулась к дочери:

— Варька?!

А та только и могла прошептать:

— Маманя! — И, кинувшись к матери, низко склонившись, плача счастливыми слезами, стала целовать ее сморщенные, натруженные долголетней безуданной работой руки.

Отвернувшись к окну, Давыдов слышал, как сквозь всхлипы она шептала:

— Маманюшка, роденькая! Я за ним хоть на край света пойду! Что он скажет, то я и сделаю. Хоть учиться, хоть работать — все сделаю!.. Только не приневоливай ты меня выходить за Ваньку Обнизова! Пропаду я с ним...

Давыдов — после недолгого молчания — услышал дрогнувший голос Вариной матери:

— Видать, без материнского согласия договорились? Ну что ж, бог вам судья, я Варьке зла не желаю, но ты, матрос, мою девушку не позорь! На нее у меня вся надежда! Ты видишь, что она старшая в доме, она за хозяйина, а я от горя, от детишек, от великой нужды... Ты видишь, какая я стала? Я раньше времени старухой стала! А вас, матросов, я видала в войну, какие вы есть... Но ты нашу семью не разорь!

Давыдов круто повернулся от окна, в упор глянул на женщину:

— Ты, мамаша, матросов не трогай! Как мы воевали и били ваших казачишек — про то еще когда-нибудь напишут, факт! А что касается нашей чести и любви, то мы умели и умеем быть и честными, и верными похлестче, чем какая-нибудь штатская сволочь! И за Варьку ты не беспокойся, ее я никак не обижу. А касательно того, как нам быть, хочу просить об одном: если ты согласная на наш с ней союз, то завтра я ее отвезу в Миллерово, устрою в техникум, а сам пока, до свадьбы, перейду к вам на жительство. Мне у тебя будет легче, чем у чужих людей, и потому другое: как-то я должен теперь вашу семью содержать, помогать вам? Ты же с детишками без Варвары из сил выбьешься! Вот я уж и возьму заботу о вас на свои плечи. Они у меня широкие, не беспокойся, выдержат, факт! Вот так у нас и будет порядок. Ну что, договорились?

Давыдов широко шагнул к ней и обнял ее сухонькие плечи, и когда почувствовал на щеке поцелуй мокрых от слез губ своей будущей тещи, досадливо сказал:

— Больно у вас, у женщин, слез много! Этак вы можете и самого твердого разжалобить. Ну-ну, старая, как-нибудь проживем? Фактически тебе говорю, что проживем!

Давыдов поспешно достал из кармана небрежно скомканную пачку денег, смущенно сунул их под беденькую скатерть на столе, неловко улыбаясь, пробормотал:

— Это у меня из старых рабочих накоплений. Мне ведь только на табак... Я ведь редко пьющий, а вам деньжонки потребуются — Варваре справить чтой-то на дорогу, детишкам что-нибудь купишь... Ну вот и все, я пошел, мне сегодня еще надо в район съездить. Вечером я вернусь, принесу свой чемоданишко, а ты, Варвара, собирайся. Завтра утром, на рассвете, поедем в округ. Ну, бывайте здоровы, мои дорогие. — Давыдов

обеими руками обнял сунувшуюся к нему Варю и ее мать, решительно повернулся и пошел к двери.

Шаг его был тверд, уверен, все тот же, прежний, с легкой матросской развальцей, но если бы кто-нибудь из знающих его посмотрел на его походку — он увидел бы в ней нечто новое...

На другой день Давыдов обыденкой съездил в райком и получил от Нестеренко разрешение на поездку в окружной комитет партии.

— Ты только недолго задерживайся там, — предупредил Нестеренко.

— Я не задержусь и лишнего часа, лишь бы ты позвонил секретарю окружкома, чтобы он принял меня и помог в отношении устройства в техникум Харламовой.

Нестеренко шельмовато сощурился:

— Ты, матрос, не морочишь мне голову? Смотри, пеняй на себя, если подведешь меня и не женишься на этой девушке! Второй раз мы тебе не спустим этого дожуанства! С Лукерьей Нагульновой было проще — как-никак, разведенная жена, а ведь тут совсем другое дело!..

Давыдов зло взглянул на Нестеренко, не дослушав его, прервал:

— Черт знает, секретарь, как нехорошо ты обо мне думаешь, факт! Ведь я же говорил с ее мамашей и посватался по всем правилам этого порядка! Чего же тебе еще надо и почему ты мне не веришь?

Нестеренко тихо спросил:

— Последний вопрос к тебе, Семен: ты с этой девицей не жил? И если — да, то почему ты перед ее отъездом на учебу не хочешь оформить с ней брак? Ты из Ленинграда никого не ждешь к себе, вроде прежней жены? Пойми же, чертов чурбан, что я беспокоюсь о тебе, ну, как брат, что ли, и для меня было бы страшно огорчительно разувериться в твоих качествах мужской порядочности... Я влезаю в твою душеньку вовсе не из праздного любопытства... Не обижайся, слышишь? Ну, и совсем напоследок: ты Харламову не затем ли хочешь устроить на учебу, чтобы развязать себе руки? Чтобы избавиться от ее присутствия... Гляди, братец, я тебе этого не спущу!

Давыдов, устало сгибая затекшие от быстрой верховой езды ноги, тяжело опустился на старенький стул, стоявший как раз против кресла, на котором сидел Нестеренко, тупо посмотрел на потерханное, плетенное из прутьев лозняка подлокотники этого дешевенького кресла, а потом прислушался к неумолчному чириканью воробьев в кустах акации и, взглянув на желтое лицо Нестеренко, на его старую гимнастерку с аккуратно обшитыми рукавами, проговорил:

— Напрасно я калял тебе в своей дружбе, когда познакомился с тобой весной на пахоте... Напрасно, потому что ты, видно, никому не привык верить... Ну и черт с тобой, секретарь! Ты, должно быть, только самому себе веришь, да и то по выходным дням, а всех остальных, даже кому ты в дружбе объясняешься, ты всегда под какое-то дурацкое подозрение берешь... Как же ты при таком характере можешь руководить районной партийной организацией? Ты себе сначала поверь, как надо, а потом уже всех других бери под подозрение!

Нестеренко болезненно усмехнулся:

— Все-таки обиделся, хотя я тебя и просил не обижаться?

— Обиделся!

— Ну и грош тебе цена!

Еще более усталый, Давыдов поднялся:

— Я пойду, а не то мы с тобой поругаемся...

— Мне бы этого не хотелось, — ответил Нестеренко.

— Мне тоже.

— Ну и побудь еще минут пять — десять, утрясем, в чем не сошлись.

— Побуду. — Давыдов снова опустился на стул, сказал: — Худого де-

вухке я не причинил, факт! Ей надо учиться. У нее большая семья, сама она — старшая, тянет весь дом... Понятно тебе?

— Понятно, — отозвался Нестеренко, но по-прежнему смотрел на Давыдова строгими и отчужденными глазами.

— Жениться на ней думаю, когда она с учением устроится окончательно, а я управлюсь с осенними работами. Словом, крестьянская свадьба после уборки, — невесело усмехнулся Давыдов. И, видя, что Нестеренко словно бы помягчел лицом и стал слушать его с бóльшим вниманием, уже охотнее, без недавней принужденности и какой-то внутренней стеснительности продолжал: — Женат ни в Ленинграде, нигде не был раньше, с Варюхой первый раз иду на такой риск. Да и пора: скоро уже и под сорок подтянет.

— С тридцати ты каждый год за десять считаешь? — улыбнулся Нестеренко.

— А гражданская война? Каждый год, протопанный в ней, я бы за десять лет считал.

— Многовато...

— А ты на себя погляди и скажешь, что как раз.

Нестеренко встал из-за стола, прошелся по комнате, зябко потирая руки, неуверенно ответил:

— Это как сказать... Впрочем, не об этом разговор, Семен. Я рад, когда выяснил, что на этот раз ты не споткнешься, как с Лукерьей Нагульновой, на этот раз у тебя похоже на что-то надежное. Что ж, поддерживаю доброе начинание и желаю счастья!

— Осенью на свадьбу приедешь? — потеплев сердцем, спросил Давыдов.

— Первый гость! — сказал Нестеренко, и опять его улыбка, как и прежде, засветилась непритворной веселинкой, и в мутных глазах блеснули прежние озорноватые искорки. — Первый не в смысле значимости, а потому, что первый явлюсь, как только услышу о свадьбе.

— Ну, будь здоров! Звякни секретарю окружкома.

— Сегодня же. Поезжай и не задерживайся там.

— Живой ногой!

Они обменялись крепким рукопожатием.

Выйдя на пыльную, нагретую солнцем улицу, Давыдов подумал: «А ведь неспроста он такой не похожий на себя, на прежнего! Ведь он же очень болеет! И эта желтизна, и щеки ввалились, как у покойника, и мутные глаза... Может быть, он потому так и разговаривал со мной?..»

Давыдов уже подходил к коню, когда Нестеренко, высунувшись из окна, негромко окликнул его:

— Вернись на минутку, Семен!

Давыдов неохотно поднялся по ступенькам райкомовского крыльца.

Нестеренко, еще более сгорбившись и как-то поникнув всем телом, посмотрел на Давыдова, проговорил:

— Может быть, я с тобой говорил излишне грубовато, но ты меня извини, брат, у меня большое горе: к малярии, черт его знает где, подцепил еще туберкулез, и сейчас он во мне бушует вовсю, в самой что ни на есть открытой форме. Каверны на обоих легких. Завтра еду в санаторий, окружком посылает. И не хотелось бы перед уборкой отлучаться из района, но ничего не поделаешь, не от сладкой жизни приходится ехать. Но к твоей свадьбе постараюсь вернуться. Поплакал я тебе в жилетку?.. Да нет, просто захотелось поделиться с другом горем, какое на меня свалилось, — и так неожиданно...

Давыдов обошел вокруг стола, молча и крепко обнял Нестеренко, поцеловал его в горячую и влажную щеку и только тогда сказал:

— Езжай, дорогой, лечись! От этого одни молодые умирают, а нас с тобой никакая хворость не возьмет!

— Спасибо, — чуть слышно проговорил Нестеренко, быстро отвернув-



М. ГОРЬКИЙ И АРТИСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА В ГОСТЯХ У ЧЕХОВА В ЯЛТЕ.

Б. Федоров.



А. П. ЧЕХОВ И В. Г. КОРОЛЕНКО.

Б. Федоров.



ПАМЯТНИК А. П. ЧЕХОВУ В ЯЛТЕ.

шись к окну.

Широко шагая, Давыдов вышел на улицу, отвязал коня, сел в седло, впервые с места огрел его плетью — и шибко поскакал по станичной улице, яростно бормоча сквозь стиснутые зубы:

— Все спал бы ты, лопоухий черт!..

Вернувшись после обеда в хутор, Давыдов напрямик проехал ко двору Харламовых, спешился у калитки, в меру неторопливо вошел во двор. Его, очевидно, увидели из дома, когда он подходил к крыльцу, широко расставляя ноги, морщась оттого, что потерял, сделав с непривычки чрезмерно большой пробег верхом, — на пороге хаты его встретила уже поиному, приветливая, будто за полдня и приобывшая к нему, будущая теща.

— Да милый ты мой сынок, небось, подбился? И как ты так скоро вернулся! А ведь путь-то в станицу да обратно — не близкий! — с приторным сочувствием приговаривала она, глядя, как неуверенно, раскорякой, идет к порогу Давыдов, и в душе, наверное, беззлобно посмеиваясь над тем, что нареченный зять ее молодецки помахивает плетью, а сам еле-еле переставляет ноги... Уж кому-кому, а ей, старой казачке, полагалось знать, как ездят верхом эти «русские» конники...

В душе проклиная этакое сочувствие, Давыдов грубовато сказал:

— Да ты не рассыпайся, мамаша! А Варвара где?

— Пошла портнишку какую-нибудь искать. Кое-что из старья ведь ей надо себе приготовить? Ну, парень, и невесту ты себе сыскал! На ней же, окромя старенькой юбочки, хоть разорвись, ничего не сыщешь! Где твои глазыньки были?

— А я у тебя нынче утром не юбку сватал, а дочь, — облизывая запекшиеся от жары губы, сказал Давыдов. — У тебя вода холодная есть выпить? А юбки — дело наживное, с юбками подождем. Когда она придет, Варвара?

— А Христос ее знает. Проходи в хату! Ну как, договорился со своим начальством, чтоб Варьку в науку определять?

— А как же иначе? Завтра поедем в округ, собирай доченьку в дальнюю дорогу. Ну что? Сейчас глаза на мокрое место поставишь? Опоздала!

Мать и на самом деле заплакала — горько, неутешно, но вскоре, справившись со своей слабостью, вытерла глаза не очень чистой завеской, с досадой проговорила, изредка всхлипывая:

— Да ступай же ты в хату, родимец тебя заberi! Что же мы, будем с тобой об таком великом деле на базу гутарить?!

Давыдов прошел в хату, присел на лавку, бросил под лавку плеть.

— Мать, о чем же нам с тобой говорить? Дело ясное и решенное. Давай вот как договоримся: я сильно устал за эти дни, ты дай мне воды выпить, потом я сосну часок, вот тут у вас, проснусь, тогда и поговорим. А коня пусть кто-нибудь из наших ребятишек отведет на колхозную конюшню.

Подобрев лицом, женщина сказала:

— О коне не беспокойся, его ребята отведут, а ты подожди немного, я тебе холодного молочка принесу. Зараз принесу из погреба.

Усталость, бессонные ночи сморили Давыдова, и не дождался он молока: пока хозяйка пришла, осторожно неся отпотевшую корчагу с молоком, Давыдов уже спал, пристроившись на лавке, там, где сидел, успокоенно свесив правую руку, слегка приоткрыв рот. Хозяйка не стала его будить. Она бережно подняла запрокинутую голову Давыдова, подсунула под нее небольшую, в синем напернике подушку.

Одурманенный жаркой теплотою хаты и усталю, Давыдов беспросыпно проспал часа два и проснулся от детского шепота, от ласкового прикосновения теплых девичьих рук. Он открыл глаза, увидел сидящую

возле лавки, ласково улыбающуюся ему Варю и толпящихся возле него пятерых ребят — всех потомков рода Харламовых.

Самый младший из ребят и, очевидно, самый отважный, доверчиво беря в свои ручонки большую руку Давыдова, прижимаясь к нему, несмело спросил:

— Дяденька Семен, верно, что ты теперь у нас будешь жить?

Давыдов свесил с лавки ноги, сонно улыбнулся мальчику:

— Верно, сынок! А как же иначе? Варя уедет учиться, а кто же вас кормить, одевать-обувать будет? Теперь это мне придется делать, факт! — И по-отцовски положил руку на теплую, вихрастую голову ребенка.

## Глава XXV

На следующий день задолго до рассвета Давыдов разбудил спавшего на сеновале деда Щукаря, помог ему запрячь жеребцов и подъехал ко двору Харламовых. Сквозь неплотно прикрытые ставни он увидел, что в кухне горит лампа.

Мать Вари стряпалась, поперек широкой деревянной кровати спали детишки, а Варя, принаряженная в дорогу, сидела на лавке в родной хате уже не как своя, а как бы пришедшая ненадолго гостья.

Она встретила Давыдова счастливой и признательной улыбкой:

— А я уже давно готова, жду тебя, мой председатель.

Варина мать добавила, поздравившись с Давыдовым:

— Она засобиралась после первых кочетов. То-то молодо-зелено! А уж про то, что глупо, и гутарить не приходится!.. Зараз завтрак будет готов. Проходи, садись, товарищ Давыдов.

Втроем они наскоро поели вчерашних щей, жареной картошки, закусили молоком. Поднимаясь из-за стола, Давыдов поблагодарил хозяйку, сказал:

— Пора ехать. Прощайся, Варвара, с матерью, только не долго. Нечего вам сырьсть разводиться, не навек расстаетесь. Как только поеду в округ, так прихвачу тебя, мамаша, с собой, проведать дочь... Я пошел к лошадям. — От порога он спросил Варю: — Какую-нибудь теплую одежду ты с собой берешь?

Варя не без смущения ответила:

— У меня есть ватная кофтенка, только уж дюже она старенькая...

— Сойдет, не на бал едешь, факт.

Час спустя они были уже далеко за хутором. Давыдов сидел рядом со Щукарем, Варя — с другой стороны дрожек. Время от времени она брала руку Давыдова, коротко пожимала ее и снова уходила в какие-то свои мысли. За недолгую жизнь девушка еще ни разу не покидала хутора на длительный срок, всего лишь несколько раз была в станице, еще не видела железной дороги, и первая поездка в город приводила ее маленькое сердчишко в восторг, в смятение и трепет. Расставаться с семьей, с подругами все же было горько, и у нее нет-нет да и наворачивались на глаза слезы.

Когда переправились на пароме через Дон и жеребцы шагом стали подниматься в гору на придонский бугор, Давыдов соскочил с дрожек и шел с той стороны, где сидела Варя, шагал, стряхивая сапогами с низкорослого придорожного полынка обильную росу, пока, до восхода солнца, еще бесцветную, не блестящую так, как блестит она поздним утром, переливаясь в солнечных лучах всеми цветами радуги. Изредка он взглядывал на Варю, ободряюще улыбался ей, тихо говорил:

— А ну, Варюха, перемести глаза на сухое место.

Или:

— Ведь ты у меня уже большая, взрослым не положено плакать, не надо, милая!

И заплаканная Варя послушно вытирала кончиком голубой косынки мокрые щеки и что-то беззвучно шептала, ответно улыбаясь ему несмелой и покорной улыбкой. А над меловыми горбатыми отрогами обдонских гор теснились туманы, и пока еще не виден был покрытый ими гребень бугра.

В этот ранний утренний час ни степной подорожник, ни поникшие ветки желтого донника, ни показавшееся на взгорье и близко подступавшее к шляху жито не источали присущих им дневных запахов. Даже всесильный полынок, и тот утратил его, все запахи поглотила роса, лежавшая на хлебах, на травах так щедро, будто прошел здесь недавно короткий сыпучий июльский дождь. Потому в этот тихий утренний час и властвовали всесильно над степью два простых запаха — росы и слегка примятой ею дорожной пыли.

Дед Щукарь, в старом брезентовом плаще, подпоясанном еще более старым красным матерчатым кушаком, сидел, зябко нахохлившись, необычно долго для него молчал, только помахивал кнутом и со свистом причмокивал губами, понукая и без того резво бежавших жеребцов.

Но когда взошло солнце, он оживился, спросил:

— По хутору брешут, будто ты, Сёмушка, на Варьке жениться думаешь. Это правда?

— Правда, дед.

— Что ж, это дело такое, что как ни крутись, а рано или поздно от женитьбы не уйдешь, то есть, я про мужчин говорю, — глубокомысленно изрек старик. И продолжал: — Меня тоже покойные родители женили, когда мне только что стукнуло восемнадцать годков. А я и тогда был до ужаста хитрый, я и тогда знал, что это за чертовщина — женитьба... Вот уж я от нее крутился, как никто на белом свете! Я очень даже претотлично знал, что жениться — не меду напиться. И чего я только, Сёмушка, жаль моя, над собой не вытворял! И сумасшедшим прикидывался, и хворым, и припадошным. За сумасшедшего меня родитель — а покойник был крутой человек — битых два часа порол кнутом и кончил, только когда кнутовище обломал об мою спину. За припадошного порол меня уже ременными вожжами. А когда я прикинулся хворым, начал орать дурным голосом и сказал, что у меня вся середка гнилая, — он, слова не говоря, пошел на баз и несет в хату оглоблю от саней. Не поленился, старый черт, идти под сарай, выворачивать ее, разорять сани. Вот он какой был, покойник, царство ему небесное. Принес он эту оглоблю и ласково так говорит мне: «Вставай, сынок, я тебя лечить буду»... Э, думаю: раз он не поленился оглоблю вывернуть, так он не поленится и душу из меня вывернуть своим лекарством. Дурна шутка — оглобля в его руках. Он у меня трошки с глупиной был, я еще махоньким за ним этот грех примечал... И тут я взвился с кровати, как будто под меня кипятку плеснули. И женился. А что я с ним, с глупым человеком, мог поделаться? И пошла и поехала моя жизнь с той поры и наперекосьяк, и боком, и вверх тормашками! Ежли сейчас в моей старухе добрых восемь пудов будет, то в девятнадцать лет в ней было... — Старик задумчиво пожевал губами, подняв глаза вверх, и решительно закончил: — Никак не меньше пятнадцати пудов, истинный бог, не брешу!

Давыдов, давясь от смеха, чуть слышно спросил:

— А не много ли?..

На что ему дед Щукарь весьма резонно возразил:

— А тебе не все равно? Пудом больше, пудом меньше — какая тебе разница? Ведь не тебе же приходилось от нее страдания и баталии принимать, а мне? Один черт, мне было так плохо в этой супружеской жизни, что в пору вешаться. Да только не на таковского она напала! Я отчаян-

ный, когда разойдусь! Вот в отчаянности я и думал: повесься ты сначала, а я — после...

Дед Щукарь весело покрутил головой, похихикал, предаваясь, видимо, самым разнообразным воспоминаниям, и, видя, что слушают его с неослабным вниманием, охотно продолжал:

— Эх, дорогие граждане и... и ты, Варька! Яростная была у нас любовь смолоду с моей старухой! А спрошу я вас: почему яростная? Да потому, что на злобё она всюю жизнь у нас проходила, а ярость и злобá — одно и то же, так я у Макарушки в толстом словаре прочитывал.

И вот, бывалоча, проснусь ночью, а моя баба то слезьми плачет, то смеется, а я про себя думаю: «Поплачь, милушка, бабьи слезы — божья роса, мне с тобой тоже не медовое житье, а я же не плачу!».

И вот на пятый год нашей жизни в супружестве случилось такое пришествие: вернулся сосед Поликарп с действительной службы. Служил он в Атаманском полку, гвардеец. Научили его там, дурака, усы крутить, вот он и дома начинает возле моей бабы усы закручивать. Как-то вечером гляжу, а они стоят у плетня, моя баба — с своей стороны, он — с своей. Прошел я в хату, прикинулся слепым, будто ничего и не вижу. На другой день вечером — опять стоят. Э, думаю, дурна шутка. На третий день я нарочно из дому ушел. В сумерках возвращаюсь — опять стоят! Экая оказия! Что-то надо мне делать. И придумал: обернул трехфунтовую гирику полотенцем, прокрался к Поликарпу на баз, шел босиком, чтобы он не услышал, и, пока он усы крутил, я его и тяпнул в затылок со всей мочи. Он и улегся вдоль плетня, как голода.

Дней через несколько встречаюсь с Поликарпом. Голова у него перевязанная. Кисло так говорит мне: «Дурак! Ты же мог убить до смерти». А я ему говорю: «Это еще не известно, кто из нас дурак — тот, кто под плетнем валялся, или тот, кто на ногах стоял».

С тех пор — как бабушка отшпентала! Перестали они стоять возле плетня. Только баба моя вскорости научилась по ночам зубами скрипеть. Проснусь от ее скрипа, спрашиваю: «У тебя, милушка, уж не зубы ли болят?». Она мне в ответ: «Отвяжись, дурак!». Лежу и думаю про себя: «Это еще не известно, кто из нас дурее — кто зубами скрипит или кто спит тихочко и спокойничко, как смиренное дите в люльке».

Боясь обидеть старика, слушатели сидели очень тихо. Варя молча тряслась от смеха, Давыдов отвернулся от Щукаря, закрыл лицо ладонями и что-то больно уж часто и залиvisto кашлял. А Щукарь, ничего не замечая, с увлечением продолжал:

— Вот она какая иной раз бывает, яростная любовь! Одним словом, добра от этих женитьбов редко когда бывает, так я рассуждаю своим стариковским умом. Или к придмеру взять такой случай: в старое время жил у нас в хуторе молодой учитель. Была у него невеста, купецкая дочка, тоже с нашего хутора. Ходил этот учитель уж до того нарядный, до того красивый — я про одежду говорю, — как молодой петушок, и больше не ходил, а ездил на велосипеде. Тогда они только что появились, и уж ежли в хуторе был этот первый велосипед всем людям в диковинку, то про собак и говорить нечего. Как только учитель появится на улице, заблестит колесами, так проклятые собаки прямо с ума сходят. А он, знай, спешит, норовит ускакать от них, согнется в три погибели на своей машине и так шибко сучит ногами, что и глазом не заглядишь. Сколькото мелких собачонок он передавил, но пришлось и ему от них лиха хватить!

Как-то утром иду я через площадь в степь за кобылой, и вот тебе — навстречу собачья свадьба. Впереди сучонка бежит, а за ней, как полагається, вязанка кобелей, штук тридцать, если не больше. А тогда наши хуторные, будь они прокляты, развели этих собак столько, что не счесть. В каждом дворе — по два, по три кобеля, да каких! Любой из них хуже тигры лютой, и ростом каждый чуть не с телка. Всё сундуки свои бе-

регли хозяева да погреба. А что толку? Один черт, война у них все по-растрясла... И вот эта свадьба — мне навстречу. Я, не будь дурак, бросил уздечку и, как самый лихой кот, в один секунд взлетел на телеграфный столб, окорачил его ногами, сижу. А тут, как на грех, этот учитель на своей машине, колесами блестит, правилом от машины. Ну, они его и огарновали. Бросил он машину, топчется на одном месте, я ему шумлю: «Дурак, лезь ко мне на столб, а то они тебя зараз на ленты всего распустят!». Полез он, бедняга, ко мне, да опоздал малость: как только он ухватился за столб, они с него в один секунд спустили и новые дигоналевые штаны, и форменный пиджак с золотыми пуговицами, и все исподнее. А самые лютые из кобелей уже кое в каком месте до голого мяса добрались.

Потешились они над ним всласть и побегли своей собачьей дорогой. А он сидит на столбу, и только на нем и радости, что одна фуражка с кокардой, и то козырек он поломал, когда лез на столб.

Спустились мы с ним с нашего убежища — он спервоначалу, а я следом за ним: я же выше сидел, под самыми чашечками, через какие провода тянут. Вот по порядку и слезли — он как есть голый, а на мне простая рубаха и одни холщовые штаны. Он и просит меня: «Дядя, уступи мне на время твои штаны, я через полчаса тебе верну их». Говорю ему: «Милый человек, как же я тебе их уступлю, ежели я без исподних? Ты уедешь на своей машине, а я без штанов буду вокруг столба крутиться среди бела дня? Рубаху уступлю на время, а штаны, извиняй, не могу». Надел он мою рубаху ногами в рукава, пошел, горемыка, потихонечку. Ему весь резон бы рысью бечь — а как он побежит, ежели он шагом идет, и то, как стреноженный конь? Ну и увидала его в моей рубахе купецкая дочка — его невеста... В этот же день и кончилась ихняя любовь. Пришлось ему эстренно переводиться в другую школу. А через неделю от такого пришествия — тут тебе и страма́, тут и страх от собак, тут тебе и невеста бросила, и вся любовь их рухнулась к едрене-Фене — получили парень скоротечную чахотку и помер. Но я этому не дюже верю: скорее всего он от страху и от страм́ помер. Вот до чего она доводит, эта проклятая любовь, не говоря уж про разные женитьбы и свадьбы. И ты бы, Сёмушка, жаль моя, сто раз подумал, допрежь чем жениться на Варьке. Все они одним миром мазаные, и недаром мы их с Макарушкой терпеть ненавидим!

— Ладно, дед, я еще подумаю, — успокоил старика Давыдов, а сам, пользуясь тем, что Щукарь закуривал, быстро притянул к себе Варю и поцеловал в висок, точно в то место, где шевелился под встречным ветром пушистый завиток волос.

Утомленный собственным рассказом, а может быть, воспоминаниями, дед Щукарь вскоре начал дремать, и Давыдов взял вожжи из его ослабевших рук. Одолеваемый дремотою, дед Щукарь пробормотал:

— Вот спасибо тебе, жаль моя, ты помахай на жеребцов кнутом, а я часок присплю. Язви ее со старостью! Как только солнце пригреет, так тебя сон начинает морить... А зимой чем ни дюжей холод, тем тебе дюжей спать хочется, того и гляди, замерзнешь во сне.

Маленький и щуплый, он лег между Варей и Давыдовым, протянувшись вдоль дрожек, как кнут, и вскоре уже храпел тонко, фистулой.

А нагретая солнцем степь уже дышала всеми ароматами разнотравья, пресно примешивался к запаху скошенных трав запах теплой дорожной пыли, нечетко синели тонущие в мареве нити дальних горизонтов, — и жадными глазами оглядывала Варя незнакомую ей задонскую, но все же бесконечно родную степь.

Ночевали они возле стога сена, проехав к вечеру более ста километров. Поужинали взятыми из дому скромными харчишками, посидели

немного возле дрожек, молча глядя на звездное небо. Давыдов сказал:

— Завтра у нас опять ранний подъем, давайте моститься спать. Ты, Варюха, ложись на дрожках, бери мое пальто, укроешься им, а мы с дедушкой пристроимся под стогом.

— Правильное решение ты принимаешь, Сёмушка, — обрадованно одобрил Щукарь, весьма довольный тем обстоятельством, что Давыдов ложится именно с ним.

Нечего греха таить, старику было страшновато ночевать одному в чужой безлюдной степи.

Давыдов лежал на спине, закинув руки за голову, смотрел в развернутое над ним бледно-синее небо. Нашел глазами Большую Медведицу, вздохнул, а потом поймал себя на том, что чему-то неосознанно улыбается.

Только к полуночи остыла накаленная за день земля и стало по-настоящему прохладно. Где-то недалеко, в балке, наверное, был пруд или степной лиман. От него потянуло запахом ила, камыша. Совсем недалеко ударил перепел. Послышалось неуверенное, всего лишь в несколько голосов, кваканье лягушек. «Сплю, сплю!» — сонно прокричала в ночи маленькая сова...

Давыдов стал дремать, но тут в сене прощуршила мышь, и дед Щукарь вскочил с бешеным проворством; тормоза Давыдова, он заговорил:

— Сёма, ты слышишь? Ну и выбрали место, язви его! В этом стогу, небось, ужаков и змей полно. Слышишь, шуршат, проклятые? Какие-то совы кричат, как на кладбище... Давай переезжать в другое место с этого гиблого уголья!

— Спи, не выдумывай, — сонно отозвался Давыдов.

Щукарь снова лег, долго ворочался, со всех сторон подтыкал под себя плащ, бормоча:

— Говорил же тебе — давай на арбе поедем, так нет, захотелось тебе на дрожках фасон давить. Вот теперь и радуйся. То бы мы из дому настелили полную арбу своего, природного сена и ехали бы спокойно, и спали б зараз все трое на этой арбе, а то теперь, пожалуйста, гниль под чужим стогом, как бездомная собака. Варьке добро, она спит наверху, в укрытии, барыня барыней, а тут — в головах шуршит, с боков шуршит, в ногах шуршит, а чума его знает, что оно там шуршит? Вот уснешь, подползет к тебе гадюка, тяпнет в притимное место, вот ты и отжениховался! А ведь она, проклятая, куда укусит, — а то и с копыт долой. Вот тогда твоя Варька слёз корыто прольет, а что толку?.. Меня любой гадюке кусать резона нет, у меня мясо старое, жилистое, да к тому же от меня козлом воняет, — потому как Трофим рядом со мной часто спит на сеновале, — а гадюки козлиного духа не любят. Ясное дело, ей тебя кусать, а не меня... Давай переезжать с этого места!

Давыдов с досадою сказал:

— Ты сегодня угомонишься, дед? Ну куда мы среди ночи поедем?

Дед Щукарь печально ответил:

— Завез ты меня в пропащее место — знал бы, хоть со старухой попрощался бы, а то поехал, как сроду не венчаный. Так не будешь трогаться с места, жаль моя?

— Нет. Спи, старик.

Тяжело вздыхая и крестясь, дед Щукарь сказал:

— И рад бы уснуть, Сёмушка, да ведь страх в глазах. Тут сердце от страху стукотит в грудях, тут сова эта треклятая орет, хоть бы она подавилась...

Под размеренные причитания Щукаря Давыдов крепко уснул.

Проснулся он перед восходом солнца. Рядом с ним, привалившись боком к стенке стога и поджав ноги, сидела Варя и перебирала на его лбу спутанные пряди волос, — и так нежны и осторожны были касания

ее девичьих пальцев, что Давыдов, уже проснувшись, еле ощущал их. А на ее месте, на дрожках, укрывшись давыдовским пальто, крепко спал дед Щукарь.

Розовая, свежая, как это июльское утро, Варя тихонько сказала:

— А я уже сбегала к пруду, умылась. Буди дедушку, давайте ехать! — Она легко прижалась губами к колючей щеке Давыдова, пружинисто вскочила на ноги: — Пойдешь умываться, Сёма? Я покажу дорогу к пруду.

Осипшим со сна голосом Давыдов ответил:

— Проспал я свое умыванье, Варюха, где-нибудь дорогой умоюсь. А этот старый суслик давно тебя разбудил?

— Он меня не будил. Я проснулась на рассвете, а он сидит возле тебя, обнял колени руками и сигарку курит. Я спрашиваю: «Ты чего не спишь, дедушка?». А он отвечает: «Я всю ночь не сплю, милушка, тут кругом змей полно. Ты пойдй, погуляй по степи, а я на твоём месте хоть часок в спокойствии усну». Я встала и пошла умываться к пруду.

В первой половине этого дня они были уже в Миллерове. За полчаса Давыдов управился в окружке, вышел на улицу веселый, довольно улыбающийся:

— Все решил секретарь, как и надо решать в окружке, быстро и дельно: тебя, моя Горюха, возьмут под свою опеку девчата из окружка комсомола, а сейчас поедем в сельхозтехникум, буду тебя устраивать на новое местожительство. Договоренность с заместителем директора уже есть. До начала приемных испытаний с тобой позанимаются преподаватели, и к осени будешь ты у меня подкована на все четыре ноги, факт! Девчатки из окружка будут тебя проводить, договорился с ними по телефону. — По привычке Давыдов оживленно потер руки, спросил: — А знаешь, Варюха, кого к нам посылают в хутор секретарем комсомольской организации? Кого бы ты думала? Ивана Найденова, паренька, который был у нас зимой с агитколлонной. Очень толковый парень, я страшно рад буду его приезду. Тогда у нас дело с комсомолом пойдет на лад, это я тебе фактически говорю!

За два часа все было улажено и в сельхозтехникуме. Подошла пора расставаться. Давыдов твердо сказал:

— До свидания, милая моя Варюха-Горюха, не скучай и хорошенько учись, а мы там без тебя не пропадем.

Впервые он поцеловал Варю в губы. Попшел по коридору. На выходе оглянулся, и вдруг такая острая жалость стиснула его сердце, что ему показалось, будто шероховатый пол закачался под его ногами, как палуба: Варя стояла, прижавшись к стене лбом, уткнув лицо в ладони, голубенькая косынка ее съехала на плечи, и столько было во всей ее фигуре беспомощности и детского горя, что Давыдов только крикнул и поспешил выйти во двор.

К исходу третьих суток после отъезда из хутора он уже вернулся в Гремячий.

Несмотря на поздний час, в правлении колхоза его ожидали Нагульнов и Размётнов. Нагульнов хмуро поздоровался с ним, так же хмуро сказал:

— Ты что-то, Семен, последние дни и дома не живешь: в станицу съездил, а потом в окружком... Какая нужда тебя в Миллерово-то носила?

— Обо всем доложу в свое время. А у вас что нового в хуторе?

Вместо ответа Размётнов спросил:

— Ты дорогой видел хлеба? Ну как они там, подошли уже?

— Ячмень кое-где уже можно косить, выборочным порядком, рожь — тоже. Ну, рожь, по-моему, можно класть наповал, но что-то соседи наши медлят.

Как бы про себя Размётнов проговорил:

— Тогда не будем и мы спешить. С зеленцой ее повалить можно при хорошей погоде, она и в валках дойдет, — а ежели дождь? Вот и пиши пропало.

Нагульников согласился с ним:

— Тройку дней подождать можно, но потом уже браться за покос надо и руками и зубами, иначе райком съест тебя, Семен. А нас с Андреем на закуску... Да, имею и я новость: есть у меня в совхозе дружок по военной службе, ездил я его проведать вчера. Он давно меня приглашал на гости, да все как-то неуправно было, а вчера решился — думаю: смотаюсь к нему на денек, проведу друга, а кстати и погляжу, как трактора работают. Сроду не видал, и даже мне это было любопытно! У них там пары пахут, я и проторчал в поле целый день. Ну, братцы, и штука, должен я вам сказать, этот трактор «фордзон»! Рысью пашет пары. А как только напорется на целину где-нибудь на повороте, так у него, у бедного, силенок и не хватает. Подымется в дыбки, как норовистый конь перед препятствием, постоит-постоит и опять вдарится колесами об землю, поспешает поскорее убраться обратно на пары, не под силу ему целина... Но иметь пару таких лошадок у нас в колхозе все равно было бы невредно, вот о чем я думал и думаю все время. Даже уж завидная в хозяйстве штука! Так меня это завлекло, что с дружкой даже выпить не успели. Прямо с поля повернулся я и поехал домой.

— Ты же думал в Мартыновскую МТС съездить? — спросил Размётнов.

— А какая разница — в МТС или в совхоз? И там трактора и тут такие же. Да и далековато, а покос — вот он, на носу.

Размётнов хитро сощурился:

— А я, признаться, грешил на тебя, Макар, что ты по пути из Мартыновской завернешь в Шахты проведать Лукерью...

— И в мыслях не держал! — решительно сказал Нагульников. — А вот ты, небось бы, заехал, знаю я тебя, белобрисого!

Размётнов вздохнул:

— Будь она моей предбывшей женой, я бы не только непременно заехал, но и прогостил у нее не меньше недели! — И уже шутливо добавил: — Я не такой соломенный тюфяк, как ты!

— Знаю я тебя, — повторил Нагульников. И, подумав, тоже добавил: — Чертова бабника! Но и я не такой бегунец по бабам, как ты!

Размётнов пожал плечами:

— Я вдовцом живу тринадцатый год. Чего ты от меня хочешь?

— Вот потому ты и бегунец.

После короткого молчания Размётнов уже совершенно серьезно и тихо сказал:

— А может, я все двенадцать годов одну люблю, ты же не знаешь?

— Это ты-то? Поверю я тебе, как же!

— Одну!

— Уж не Марину ли Пояркуву?

— Не твое дело — кого, и ты в чужую душу не лезь! Может быть, когда-нибудь, под пьяную руку, я и рассказал бы тебе, кого любил и доныне люблю, но ведь... Холодный ты человек, Макар, с тобой по душам сроду не поговоришь. Ты в каком месяце родился?

— В декабре.

— Я так и думал. Не иначе, тебя мать у проруби на льду родила — пошла за водой и по нечаянности разродилась прямо на льду: потому-то от тебя всю жизнь холодом несет. Как же тебе признаешься от сердца?

— А ты, видать, на горячей плите родился?

Размётнов охотно согласился:

— Даже похоже! Потому от меня и пышет жаром, как при суховее.

А вот ты — другое дело.

С досадой Нагульников сказал:

— Надоело! Хватит об нас с тобой и об бабах разговаривать, давайте лучше потолкуем об том, кому из нас в какую бригаду направляться на уборку.

— Нет, — возразил Размётнов, — давай уж прикончим начатый разговор, а кому в какую бригаду ехать — это мы успеем поговорить. Ты спокойно рассуди, Макар, вот об чем: прозвал ты меня бегунцом, а какой же я бегунец по нынешним временам, ежели я вскорости вас обоих на свадьбу кликать буду?..

— Это еще на какую свадьбу? — строго спросил Нагульнов.

— На мою собственную. Мать окончательно старухой стала, тяжело ей в хозяйстве, заставляет жениться.

— И ты послушаешься ее, старый дурак? — Нагульнов не мог скрыть своего величайшего возмущения.

С притворным смирением Размётнов ответил:

— А куда же мне деваться, миленький мой?

— Ну и трижды дурак! — Затем, почесав в раздумье переносицу, Нагульнов заключил: — Придется нам, Семен, снимать с тобой одну квартиру и жить вместе, чтобы не так скучно было. А на воротах напишем: «Тут живут одни холостяки».

Давыдов не замедлил с ответом:

— Ничего у нас, Макар, из этой затеи не выйдет: невеста у меня есть, потому и ездил в Миллерово.

Нагульнов переводил испытующий взгляд с одного на другого, пытаясь разгадать, шутят они или нет, а потом медленно поднялся, раздувая ноздри, даже несколько побледнев от волнения:

— Да вы что, перебесились, что ли?! Последний раз спрашиваю: всерьез вы это говорите или высмеиваетесь надо мной? — Но не дождав-шись ответа, плюнул под ноги со страшным ожесточением, не прощаясь, вышел из комнаты.

## Глава XXVI

Дуряя от скуки, с каждым днем все больше морально опускаясь от вынужденного безделья, Половцев и Лятевский по-прежнему коротали дни и ночи в тесной горенке Якова Лукяча.

В последнее время что-то значительно реже стали навещать их связные, а обнадеживающие обещания из краевого повстанческого центра, которые доставлялись им в простеньких, но добротнo заделанных паке-тах, уже давно утратили для них всякую цену...

Половцев, пожалуй, легче переносил длительное затворничество, даже наружно он казался более уравновешенным, но Лятевский изредка сры-вался и каждый раз по-особому: то сутками молчал, глядя на стену перед собой потухшим глазом, то становился необычайно, прямо-таки без-удержно, болтливым, и тогда Половцев, несмотря на жару, с головой укрывался буркой, временами испытывая почти неодолимое желание подняться, вынуть пашку из ножен и сплеча рубнуть по аккуратно при-чесанной голове Лятевского. А однажды с наступлением темноты Ляте-вский незаметно исчез из дома и появился только перед рассветом, при-тащив с собой целую охапку влажных цветов.

Обеспокоенный отсутствием сожителя, Половцев всю ночь не смыкал глаз, ужасно волновался, прислушивался к самому ничтожному звуку, доносившемуся извне. Лятевский, пропахший ночной свежестью, воз-бужденный прогулкой, веселый, принес из сени ведро с водой, бережно опустил в него цветы. В спертom воздухе горенки одуряюще пьяно, резко вспыхнул аромат петуний, душистого табака, ночной фиалки, еще каких-то не известных Половцеву цветов, — и тут произошло неожиданное: Половцев, этот железный есаул, всей грудью вдыхая полузабытые

запахи цветов, вдруг расплакался... Он лежал в предрассветной тьме на своей вонючей койке, прижимая к лицу потные ладони, а когда рыдания стали душить его, рывком повернулся к стене, изо всей силы стиснул зубами угол подушки.

Лятевский, мягко ступая босыми ногами, ходил по теплым половицам горенки. В нем проснулась деликатность, и он чуть слышно насвистывал опереточные арии и делал вид, что ничего не слышит, ничего не замечает...

Уже часов в одиннадцать дня, очнувшись от короткого, но тяжелого сна, Половцев хотел учинить Лятевскому жестокий разнос за самовольную отлучку, но вместо этого сказал:

— Воду в ведре надо бы переменить... завянут.

Лятевский весело отозвался:

— Сию минуту будет исполнено.

Он принес кувшин холодной колодезной воды, теплую воду из ведра выплеснул на пол.

— Где вы достали цветы? — спросил Половцев.

Ему было неловко за свою слабость, стыдно за слезы, пролитые ночью, и он смотрел в сторону.

Лятевский пожал плечами:

— «Достал» — это слишком мягко, господин Половцев. «Украл» — жестче, но точнее. Прогуливаясь возле школы, уловил поразивший мое обоняние божественный аромат и махнул в палисадник к учителю Шпыню, там и ополовинил две клумбы, чтобы хоть как-нибудь скрасить наше с вами гнусное существование. Обещаю и впредь снабжать вас свежими цветами.

— Нет уж, увольте!

— А вы еще не полностью утратили некоторые человеческие чувства, — тихо, намекающе проговорил Лятевский, глядя на Половцева в упор.

Тот промолчал, сделал вид, будто не слышит...

Каждый из них по-своему убивал время: Половцев часами просиживал за столом, раскладывая пасьянсы, брезгливо касаясь толстыми пальцами замусоленных, толстых карт, а Лятевский чуть ли не в двадцатый раз, не вставая с койки, перечитывал единственную имевшуюся у него книгу — «Камо грядеши?» Сенкевича, смаковал каждое слово.

Иногда Половцев, оставив карты, садился прямо на полу, по-калмыцки сложив ноги, и, расстелив кусок брезента, разбирал, чистил и без того идеально чистый ручной пулемет, протирал, смазывал теплым от жары ружейным маслом каждую деталь и снова не спеша собирал пулемет, любуясь им, клоня лобастую голову то в одну, то в другую сторону. А потом, вздохнув, заворачивал пулемет в этот же кусок брезента, бережно укладывал его под койку, смазывал и снова заряжал диски и, уже сидя за столом, доставал из-под тюфяка свою офицерскую шапку, пробовал на ногте большого пальца остроту клинка и сухим бруском осторожно, всего лишь несколько раз проводил по тускло блистающей стали. «Как бритва!» — удовлетворенно бормотал он.

В такие минуты Лятевский, отложив книгу, щурил единственный глаз, саркастически улыбался:

— Удивляет меня, без меры удивляет ваша дурацкая сентиментальность! Что вы носитесь с вашей селедкой, как дурень с писаной торбой? Не забывайте, что сейчас тридцатый год, и век сабель, пик, бердышей и прочих железок давно уже миновал. Артиллерия, любезнейший, решала все в прошлую войну, а не солдатики на лошадках или без оных, она же будет решать исход и будущих сражений и войн. Как старый артиллерист утверждаю это самым решительным образом!

Половцев, как всегда, смотрел исподлобья, цедил сквозь зубы:

— Вы думаете начинать восстание, сразу же опираясь на огонь гаубичных батарей — или же на солдатиков с шапками? Дайте мне пона-

чалу хоть одну трехдюймовую батарею, и я с удовольствием оставляю пашку на попечение жены Островнова, а пока помолчите, ясновельможный фразер! От ваших разговорчиков меня тошнит. Это вы польским барышням рассказываете о роли артиллерии в прошлой войне, а не мне. И вообще всегда вы пытаетесь говорить со мной пренебрежительным тоном, а напрасно, представитель великой Польши. Ваш тон и ваши разговорчики дурно пахнут. Впрочем, ведь это о вашей державе в двадцатых годах говорили: «Еще Польша не сгинела, но дала уже душок»...

Лятевский трагически восклицал:

— Боже мой, какое духовное убожество! Карты и сабля, сабля и карты... Вы за полгода не прочли ни одного печатного слова. Как вы одичали! А ведь вы когда-то были учителем средней школы...

— По нужде был учителем, милейший пан! По горькой нужде!

— Кажется, у вашего Чехова есть рассказик о казаках: на своем хуторе живет невежественный и тупой казак-помещик, а два его взрослых оболтуса-сына только тем и занимаются, что один подбрасывает в воздух домашних петушков, а другой стреляет по этим петушкам из ружья. И так изо дня в день без книг, без культурных потребностей, без тени каких-либо духовных интересов... Иногда мне кажется, что вы — один из этих двух сынков... Может быть, я ошибаюсь?

Не отвечая, Половцев дышал на мертвую сталь пашки, смотрел, как растекается и медленно тает на ней синеватая тень, а затем подолом серой толстовки вытирал пашку и осторожно, даже нежно, без пристука, опускал ее в потертые ножны.

Но не всегда их внезапно возникавшие разговоры и короткие пикировки кончались столь мирно. В горенке, редко проветриваемой, было душно; наступившая жара еще более отягчала их жалкое житье в доме Островнова, и все чаще Половцев, вскакивая с влажной, пропахшей потом постели, приглушенно рычал: «Тюрьма! Я пропаду в этой тюрьме!». Даже по ночам, во сне, он часто произносил это неласковое слово, пока наконец выведенный из терпения Лятевский как-то не сказал ему:

— Господин Половцев, можно подумать, что у вас, в вашем и без того убогом лексиконе, осталось всего только одно слово «тюрьма». Если уж вы так тоскуете по этому богоугодному заведению, мой добрый совет вам: идите сегодня же в районное ГПУ и попросите, чтобы вас определили в тюрьму этак лет на двадцать, не меньше. Уверю вас, что в вашей просьбе вам не будет отказано!

— Это как называется? Остроумием по-польски? — криво улыбаясь, спросил Половцев.

Лятевский пожал плечами:

— Вы находите мое остроумие плоским?

— Вы просто скот, — равнодушно сказал Половцев.

Лятевский снова пожал плечами, усмехнулся:

— Возможно. Но я так долго живу рядом с вами, что немудрено потерять человеческий облик...

После этой стычки они в течение трех суток не обменялись ни одним словом. Но на четвертый день им поневоле снова пришлось заговорить...

Рано утром, когда Яков Лукич еще не уходил на работу, во двор вошли двое незнакомых, один в запыленном брезентовом плаще, другой в новом резиновом пальто. У одного под мышкой был прижат объемистый, пухлый портфель, у второго через плечо висел кнут с нарядными ременными махрами. Согласно давнему уговору, Яков Лукич, завидев в окно пришельцев, быстро прошел в сени, дважды, с короткой паузой, стукнул в дверь горницы, где жили Половцев и Лятевский, и степенно вышел на крыльцо, разглаживая усы:

— Вы ко мне, добрые люди? Аль понадобится вам что из колхозного закрома? И кто вы такие? Из приезжих?

Плотный, коренастый человек с портфелем, приветливо улыбаясь, сияя женственными ямочками на толстых щеках, тронул ладонью козырек поношенной кепки, сказал:

— Вы и есть хозяин дома? Здравствуйте, Яков Лукич! Нас направили к вам ваши соседи. Мы — заготовители скота, работаем на шахтеров, заготавливаем им скот, как говорится, на дневное пропитание. Платим хорошие деньги, повыше общегосударственных, заготовительных. А платим выше потому, что нам надо шахтеров кормить посытнее и без перебоев. Вы же завхоз колхоза и должны понимать нашу нужду... Но из колхозного закрома нам ничего не надо, мы покупаем скот личного пользования, а также у единоличников. Нам сказали, что у вас есть телка-летошница. Может, продадите? За ценой мы не постоим, была бы она в теле.

Яков Лукич помолчал, задумчиво почесал бровь, прикидывая про себя, что со щедрых заготовителей можно сорвать лишнее, не таскаясь по рынкам, и ответил так, как отвечает большинство хлеборобов, умеющих не продешевить:

— Продажной телушки у меня нету.

— А может все-таки поглядим ее и сойдемся? Еще раз скажу вам, что мы готовы заплатить лишнего.

И Яков Лукич, помолчав с минуту, поглаживая усы, для важности — вращаяжку, как бы про себя, ответил:

— Телушка, то есть, имеется у меня, и сытенькая, аж блестит! Но она мне самому нужна: корова пристарела, менять надо, а порода на молоко и на сним, то есть на сливки, по-вашему, дюже хорошая. Нет, товарищи покупатели, не продам!

Коренастый, с портфелем, разочарованно вздохнул:

— Ну что ж, хозяину виднее... Извиняйте нас, поищем товару в другом месте. — И, еще раз неловко коснувшись рукой козырька помятой кепки, пошел со двора.

Следом за ним поплелся и дюжий, очень широкоплечий гуртовщик, поигрывая кнутом, рассеянным взглядом обводя двор, жилые постройки, скна дома, наглухо закрытую дверцу чердака...

И тут хозяйское сердце Якова Лукича не выдержало. Допустив гостей до калитки, он окликнул коренастого:

— Погоди трошки, эй, ты, товарищ заготовитель! Вы сколько платите за килограмму живого веса?

— Как сойдемся. Но я уже тебе сказал, что за ценой не стоим и сами располагаем своими деньгами. Они у нас считанные, но не меряные, — хвастливо похлопывая пухлой рукой по пухлому портфелю, сказал коренастый, выжидающе стоя возле калитки.

Яков Лукич решительно зашагал с крыльца:

— Пойдемте глядеть телушку, пока не прогнали ее в табун, но помните в виду, что дешево я вам ее не отдам — только из уважения, потому что ребята вы, видать, сходственные, да и не дюже скуповатенькие. А мне скупых купцов на моем базу и на дух не нужно!

Оба покупателя осматривали и ощупывали телку дотошно, придирчиво, потом коренастый стал нудно торговаться, а тот, который был с кнутом, скучливо посвистывая, пошел по забазьям и базу, заглядывая и в курятник, и в пустую конюшню, и всюду, куда ему и не надо было бы заглядывать... И тут Якова Лукича как бы осенило: «Ох, не те покупатели!».

Сразу сбавив цену на целых семьдесят пять рублей, он сказал:

— Ладно, отдаю себе в убыток, только для товарищей шахтеров, но вы меня извиняйте, мне надо идти в правление, некогда мне с вами проводить время. Телушку зараз поведете? Тогда деньги на кон!

У входа в сарай коренастый, слюнявя пальцы, долго отсчитывал кредитки, накинул сверх условленной цены еще пятнадцать рублей, пожав руку заскучавшему Якову Лукичу, подмигнул:

— Может, на нашей сделке разопьем бутылочку, Яков Лукич? Наше заготовительное дело требует магарыч при себе иметь. — И не торопясь достал из кармана неярко блеснувшую при свете раннего солнца бутылку белоголовки.

С деланной веселостью Яков Лукич ответил:

— Вечерком, дорогие сваты, вечерком! Вечером радый буду и поприветить вас и выпить с вами. Такая веселуха в бутылке, какую ты показываешь, найдется и у хозяина в доме, пока мы еще не дюже обедняли, а зараз извиняйте: с утра мне здоровье не дозволяет водку пить, да и дело не указывает, мне на колхозную службу надо направляться. Наведайтесь после захода солнца, вот тогда и пропьем мою телочку.

— Ты хоть бы в дом пригласил, угостил сватов молоком от телочьяной мамыши, — сияя добродушной улыбкой и ямочками на круглых щеках, сказал коренастый и просительно положил руку на локоть Якова Лукича.

Но непреклонный Яков Лукич уже был собран в единый комок воли и предельного напряжения, а потому и ответил, усмехаясь несколько пренебрежительно:

— У нас, у казаков, господа хорошие, в гости ходят не тогда, когда кому-то погостевать захочется, а тогда, когда хозяева зовут и приглашают. У вас, может быть, по-другому? Но уж тут давайте по нашему обычаю, по хуторскому: уговорились повидаться вечером? Стало быть, с утра и речей больше терять нечего. Прощайтесь!

Повернувшись спиной к покупателям, даже не взглянув на телку, которую неспешно взналыгивал дюжий гуртовщик, Яков Лукич шел до крыльца с ленивой развальцей. Кряхтя и притворно охая, держась за поясницу левой рукой, он поднялся на верхнюю ступеньку и только в сенях, уже без тени притворства, прижал к груди ладонь, постоял с минуту, закрыв глаза, прошептал побелевшими губами: «Будьте вы все трижды прокляты!». Колющая боль в сердце скоро утихла, прошло и легкое головокружение. Яков Лукич постоял еще немного, потом почтительно, но настойчиво постучался в дверь горницы, где жил Половцев.

Переступив порог, он едва успел сказать: «Ваше благородие, беда!..». И тотчас же, как ночью в грозу, при вспышке молнии, увидел направленный на него ствол нагана, тяжелую, выдвинутую вперед челюсть Половцева, его напряженный немигающий взгляд, и Лятевского, сидевшего на койке в небрежной позе, но с лопатками, плотно прижатыми к стене, с ручным пулеметом на слегка приподнятых коленях, ствол которого тоже был направлен на входную дверь, как раз на уровне груди Якова Лукича... Все это за миг ослепительного видения узрел Яков Лукич, даже улыбку Лятевского и лихорадочный блеск его одинокого глаза, когда, словно издалека, услышал вопрос:

— Ты кого же это привел во двор, милый хозяин?!

Голоса не узнал потрясенный Яков Лукич, будто кто-то третий, невидимый, задал ему этот вопрос свистящим, прерывающимся шепотом. Но неподвластная сила заставила старика на короткое время преобразиться: вытянутые по швам руки согнулись в локтях, сам Яков Лукич как-то обмяк, сник. Однако заговорил хоть и бессвязно, с передышками, но заговорил иным, чем прежде, языком:

— Никого я к себе не приводил, они сами непрощенные явились. И до каких же это пор, господа хорошие, вы будете изо дня в день на меня пошумливать и помыкать мной, ну, как малым парнишкой? Мне это очень даже обидно! Задаром и кормлю вас, и пою, и всячески угождаю. И бабы наши и обстирывают вас и всякую пиццу готовят бесплатно... Убить меня вы можете враз, хоть сей секунд, но мне уж и жизнь-то при

вас стала в великую тягость! И телушку я в убыток себе отдал потому, что — чем-то вас правдять надо? А ведь вам, вашим благородиям, пустых щей не подашь, а непременно с мясом. Вы с меня и водки постоянно требуете... Я же вас упредил, когда эти незваные гости заявили на баз, я только немного опосля смикитил, что не те покупатели явились, и подался от них задом: «Бог с вами, берите телушку хоть задарма, только поскорее уходите!». А вы, господа хорошие... Эх, да что я вам докажу? — Яков Лукич безнадежно махнул рукой, прижался грудью к дверной прилолке, пряча лицо в ладонях.

Со странным равнодушием, которое давно уже одолевало Половцева, тот вдруг сказал удивительно бесцветным голосом:

— А ведь, пожалуй, старик прав, пан Лятевский. Запахло жареным, и нам надо убираться отсюда, пока не поздно. Ваше мнение?

— Надо уходить сегодня же, — решительно высказался Лятевский, осторожно опуская пулемет на помятую постель.

— А связь?

— Об этом после. — Лятевский кивком головы указал на Якова Лукича. И, обращаясь к нему, резко сказал: — Хватит вам, Лукич, бабиться! Расскажите, о чем шел разговор с покупателями. Деньги они вам заплатили сполна? Сюда эти купцы еще раз не заявятся?

Яков Лукич по-детски всхлипнул, высморкался в подол неподпоясанной рубахи, вытер ладонью глаза, усы и бороду и коротко, не подымая глаз, рассказал о разговоре с заготовителями, о подозрительном поведении гуртовщика, не забыл упомянуть и о том, что вечером заготовители придут выпить с ним магарыча.

Половцев и Лятевский при этом сообщении молча переглянулись.

— Очень мило, — нервически посмеиваясь, сказал Лятевский. — Умнее ты ничего не мог придумать, приглашая их к себе в дом? Чертова ты тупица, безнадежный идиот!

— Не я их приглашал, они сами навязались в гости и норовили зараз же пройти в дом, насилу уговорил их подождать до вечера. И вы, ваше благородие, или как вас там кличут-величают, напрасно меня дурите, за глупого считаете... За каким же чертом, прости господи, зазывал бы я их в дом, ежели вы тут отсиживаетесь? Чтобы с вас и с себя головы посымать?

Влажные глаза Якова Лукича недобро блеснули, и закончил он уже с нескрываемой злобой:

— Вы, господа офицеры, до семнадцатого года думали, что одни вы умные, а солдаты и простые казаки все как есть с придурью. Учили вас красные, учили, да так, видать, ничему и не выучили... Не впрок пошла вам наука и великое битье!

Половцев подмигнул Лятевскому. Тот, закусив губу, молча отвернулся к занавешенному окну, а Половцев подошел к Островнову вплотную, положил ему руку на плечо, примиряюще улыбнулся:

— Охота тебе, Лукич, волноваться по пустякам! Мало ли что человек не скажет вгорячах. Не всякое же лыко в строку. Вот в чем ты прав: покупатели твоей телки — такие же заготовители, как я архиерей. Оба они чекисты. Одного из них Лятевский лично опознал. Понятно? Ищут они нас, но ищут пока на ощупь, вслепую, потому-то они и прикинулись заготовителями. Теперь дальше: до обеда нам надо по одному уйти отсюда. Иди и займи твоих покупателей часа на два, на три, как хочешь и чем хочешь. Можешь повести их куда-нибудь к знакомым, из наших, кто окажется сейчас дома, выпить с ними водки, поговорить, но боже тебя и хозяина упаси напиться пьяными и развязать языки! Узнаю — убью обоих! Ты это крепко запомни! А пока ты займешь их выпивкой, мы тихонько, по яру, что выходит в задах твоего подворья, выйдем в степь, а там нас ищи-свищи! Сыну поручи, чтобы сейчас же в прикладке кизека надежно спрятал мою шапку, пулемет, диски и обе наши винтовки.

— Одну вашу винтовку прячьте, моя будет со мной, — вставил Лятевский.

Половцев молча взглянул на него и продолжал:

— Пусть все это имущество завернет в полсть и тихонько, оглядевшись предварительно, пройдет в сарай. В доме ни в коем случае ничего не смей прятать. Есть еще одна просьба к тебе, вернее — приказ: пакеты, которые будут поступать на мое имя, получай и, как только получишь, клади их под молотильный камень, что лежит возле амбара. По ночам мы будем иногда наведываться сюда. Ты все понял?

Яков Лукич прошептал:

— Так точно.

— Ну, ступай и не спускай глаз с этих чертовых заготовителей! Уведи их подальше отсюда, а через два часа нас уже здесь не будет. Вечерком можешь пригласить их к себе. Койки из этой горницы убрать на потолок, комнату проветрить. Для отвода глаз набросай сюда всякой рухляди — и тогда, если они попросят, покажи им весь дом... А они наверняка под разными предложениями будут пытаться осмотреть весь твой курень... Неделю мы побудем в отлучке и снова придем к тебе. Съеденным у тебя куском ты нас не попрекай! За все твое добро, за всю трату на нас тебе будет уплачено с лихвой, как только восторжествует наше дело. Но мы снова должны прийти сюда, потому что восстание я на своем участке буду поднимать отсюда, из Гремячего. И час уже близок! — торжественно закончил Половцев и коротко обнял Якова Лукича. — Ступай, старик, помогай тебе бог!

Как только за Островновым закрылась дверь, Половцев присел к столу, спросил:

— Где вы встречались с этим чекистом? Уверены вы, что не обознались?

Лятевский подвинул табурет, наклонился к Половцеву и, пожалуй, впервые за все время их знакомства без иронии и гаерства заговорил:

— Езус-Мария! Как я мог обознаться? Да я этого человека буду помнить до конца жизни! Вы видели у него шрам на щеке? Это я его полоснул кивжалом, когда меня забирали. А глаз, вот этот мой левый глаз, он мне выбил на допросе. Вы видели, какие у него кулачищи? Это было четыре года назад, в Краснодаре. Меня выдала женщина, ее нет в живых, слава всевышнему! Я еще сидел во внутренней тюрьме, а вина ее уже была установлена. На второй день после моего бегства она перестала жить. А была очень молодая и красивая стерва, кубанская казачка, вернее — кубанская сучка. Вот что было... Знаете, как я бежал из тюрьмы? — Лятевский довольно усмехнулся, потер сухие, маленькие руки. — Все едино меня бы расстреляли. Мне нечего было терять, и я пошел на отчаянный риск и даже на некоторую подлость... Пока я морочил головы следователям и прикидывался пепкой, они держали меня в строгой изоляции. Тогда я решился на последний шаг к спасению: я выдал на допросе одного казачишку из станицы Кореновской. Он был в нашей организации, и на нем кончалась цепочка: он мог выдать еще только трех своих станичников, больше никого, ни единой души из наших он не знал. Я подумал: «Пусть расстреляют или сошлют этих четырех идиотов, но я спасусь, а одна моя жизнь неизмеримо важнее для организации, чем жизнь этого быдла, этих четырех животных». Должен сказать, что в организации на Кубани я играл немаловажную роль. Можете судить о моем значении в деле по тому, что я с двадцать второго года пять раз переходил границу и пять раз виделся в Париже с Кутеповым. Я выдал этих четырех статистов в деле, но тем самым смягчил следователя: он разрешил мне прогулки во внутреннем дворе вместе с остальными заключенными. Мне нельзя было медлить. Вы понимаете? И вот вечером, прогуливаясь

в толпе кубанского хамья, обреченного на гибель, во время первого же круга по двору я увидел, что из двора на сеновал ведет приставная лестница — ее, очевидно, недавно поставили. Было время сенокоса, и гепеушники днем возили сено для своих лошадей. Прошелся я еще раз по кругу, руки, как полагается, назад, а дефилируя в третий раз, я спокойно подошел к лестнице и, не глядя по сторонам, стал медленно, как на арене цирка, подниматься по ступенькам. Руки по-прежнему назад... Я правильно рассчитал, господин Половцев! Психологически правильно. Ошавевшая от моей дикой дерзости охрана дала мне возможность беспрепятственно подняться ступенек на восемь, и только тогда один из них отчаянно заорал: «Стой!» — когда я уже через две ступеньки, пригибаясь, побежал по лестнице вверх и, как козел, прыгнул на крышу. Беспорядочная стрельба, крики, ругань! В два прыжка я был уже на краю крыши, а оттуда — еще прыжок, и я в переулке! Вот и все. А утром я был уже в Майкопе на явочной, надежной квартире... Фамилия этого богатыря, который сделал меня уродом, Хижняк. Вы его сейчас видели, эту каменную скифскую бабу в штанах. Так что вы хотите — чтобы я теперь выпустил его живым из своих рук? Нет, пусть у него закроются оба глаза за мой, выбитый им глаз! За око — два ока!

— Вы с ума сошли! — негодуяще воскликнул Половцев. — Из чувства личной мести вы хотите провалить все дело?

— Не беспокойтесь. Убью я Хижняка и его приятеля не здесь, а подстерегу где-нибудь за хутором, подальше от Гремячего Лога. Инсценирую ограбление заготовителей, и — шито-крыто! И деньги у них возьму. Попались на торговле — значит, плохие купцы... Вашу винтовку прячьте, а свою я пронесу под плащом. Не вздумайте меня отговаривать. Слышите? Мое решение бесповоротно! Я выхожу сейчас, вы — попозже. Встретимся в субботу после захода солнца в лесу под Тубянским, у родника, где встречались прошлый раз. До свидания и, ради бога, не сердитесь на меня, господин Половцев! Мы же здесь дошли до предела в смысле нервишек, и, признаться, я вел себя не всегда достойно.

— Полно вам... Можно и без нежностей в нашем положении, — смущенно пробормотал Половцев, но все же обнял Лятевского, отечески прижался губами к его покатоному бледному лбу.

Лятевский был растроган этим неожиданным проявлением товарищеского чувства, но, не желая выдавать своей взволнованности, стоя к Половцеву спиной и уже держась за дверную ручку, сказал:

— Я возьму с собой Харитонову Максима с Тубянского. Винтовка у него есть, да и сам он из таких, на которых можно положиться в трудную минуту. Вы не возражаете?

Помедлив, Половцев ответил:

— Харитонов служил в моей сотне вахмистром. Выбор ваш правилен. Берите. Он отличный стрелок, во всяком случае — был таким. Я понимаю ваши чувства. Действуйте, но только ни в коем случае не вблизи Гремячего и не в хуторе, а где-нибудь в степи...

— Слушаюсь. До свидания.

— Желаю удачи.

Лятевский вышел в сени, накинул на плечи старенький островновский зипун, оглядел сквозь дверную щель безлюдный переулок. Минуту спустя он уже не спеша шагал через двор, прижимая кавалерийский карабин к левому боку, и так же не спеша скрылся за углом сарая. Но как только спрыгнул в яр, тотчас преобразился: надел зипун в рукава, взял карабин на руку, сдвинул предохранитель и пошел по теклине в гору крадущейся, звериной походкой, зорко посматривая по сторонам, прислушиваясь к каждому шороху, изредка оглядываясь на хутор, тонувший внизу в сиреневой утренней дымке.

Через два дня, в пятницу утром, на пути между хуторами Тубянским и Войсковым, на дороге, проходившей в шестидесяти метрах от отхожины Кленового буерака, были убиты два заготовителя и одна из упряжных лошадей. На второй, обрезав постромки, доскакал до Войскового возница-казак с хутора Тубянского. Он и сообщил в сельсовет о случившемся.

Выехавшие на место происшествия участковый милиционер, председатель сельсовета, возница и понятые установили следующее: бандиты, таясь в лесу, стреляли из винтовок раз десять. Первым выстрелом был убит здоровый, плечистый гуртовщик. Он упал с дрожек лицом вниз. Пуля попала ему прямо в сердце. Коренастый заготовитель дурным голосом крикнул вознице: «Гони!» — и, вырвав у него из руки кнут, замахнулся на правую дышловою, но хлестнуть ее не успел: второй выстрел уложил его на дрожках. Пуля попала ему в голову, повыше левого уха. Лошади понесли. Убитый свалился с дрожек метрах в двадцати от гуртовщика. Последовало еще несколько выстрелов сразу из двух винтовок. На скаку, через голову упала срезанная пулей левая дышловая лошадь, сломав дышло, опрокинув накатившиеся на нее дрожки. Возница обрезал постромки на уцелевшей лошади, поскакал во весь мах. Вдогон ему несколько раз выстрелили, но скорее не с целью убить, а для острастки, так как пули, по словам возницы, свистели высоко над ним.

У обоих убитых были вывернуты карманы. Документов в одежде не оказалось. Пустой портфель заготовителя валялся в придорожной траве. У гуртовщика, которого бандиты, обыскивая, перевернули на спину, ударом каблука, судя по отпечатку на коже, был выбит левый глаз.

Председатель сельсовета, бывалый казак, сломавший две войны, сказал милиционеру:

— Ты погляди, Лука Назарыч, ведь уже над мертвым смывался какой-то гад! Дорогу он ему перешел, что ли? Или бабу не поделили? Простые разбойнички так не зверуют... — И, стараясь не глядеть на багровую пустую глазницу убитого, на расплывшуюся по щеке кровяно-студенистую, уже застывшую массу, накрыл лицо убитого своим носовым платком, выпрямился, вздохнул: — Отчаянный народ пошел! Не иначе — выследили купцов лихие люди и деньжонок цапнули у них, видно, не одну тыщенку... Проклятый народ! Из-за денег каких орлов поклали...

В тот день, когда слух о гибели Хижняка и Бойко-Глухова дошел до Гремячего, Нагульнов, оставшись наедине с Давыдовым в правлении колхоза, спросил:

— Ты понимаешь, Семен, куда дело оборачивается?

— Не хуже тебя понимаю. Половцев руки приложил или его подручные, факт!

— Это само собою. Я одного не пойму: как их могли раскусить, кто они такие, вот в чем вопрос! И кто это мог проделать?

— Этого вопроса мы с тобой не решим. Это задача на уравнение с двумя неизвестными, а мы с тобой в арифметике и алгебре не сильны. Согласен?

Нагульнов долго сидел молча, положив ногу на ногу, глядя на носок пыльного сапога отсутствующими глазами, потом сказал:

— Одно неизвестное мне известно...

— Что же именно?

— А то, что волк вблизи своего логова овец не режет...

— Ну и что из этого?

— А то, что издали их достали, не с Тубянского и не с Войскового, это точно!

— Из Шахт или из Ростова, думаешь?

— Не обязательно. А может, из нашего хутора, почему ты знаешь?

— И это может быть, — подумав, сказал Давыдов. — Что же ты предлагаешь, Макар?

— Чтобы коммунисты глаза разули. Чтобы поменьше спали по ночам и потихонечку, потаенно, похаживали по хутору, остро глядели. Может, и не минует нас удача повстречать в хуторе либо за хутором того же Половцева или еще кого-нибудь из подозрительных незнакомых. Волки по ночам промышляют...

— Это ты нас к волкам приравливаешь? — еле заметно улыбнулся Давыдов.

Но Нагульнов не ответил улыбкой на улыбку, сдвинув разлтые брови, сказал:

— Они — волки, а мы — на волков охотники. Понимать надо!

— Не надо сердиться. Согласен с тобой, факт! Давай сейчас же соберем всех коммунистов.

— Не зараз, а попозже, когда люди спать лягут.

— И это правильно, — согласился Давыдов. — Но только надо не патрулировать по хутору, а то ведь сразу насторожим казаков, а сидеть в засадах.

— Где же это сидеть? Где придется? Пустая затея! Легко было мне Тимошку караулить: окромя Лушки, ему некуда было податься, иного пути у него не было. А этих где ждать? Свет велик, и дворов в хуторе много, возле каждого не просидишь.

— А возле каждого и незачем.

— А по какому выбору?

— Узнаем, у кого заготовители покупали скот, и вот именно эти-то дворы и возьмем под наблюдение. Убитые наши товарищи по большей части возле подозрительных граждан вертелись, у них покупали скот... К кому-нибудь из них и потянутся бандиты... Понятно?

— Идеальный ты человек! — убежденно сказал Нагульнов. — Очень толковые идеи иной раз приходят тебе в голову!

## Глава XXVII

Половцев и Лятевский снова поселились в горнице Островнова и жили в ней уже четвертый день. Они пришли на рассвете, через полчаса после того, как Размётнов, наблюдавший за домом Островнова из соседнего сада, зевнув в последний раз, поднялся и тихонько пошел домой, рассуждая про себя: «Выдумает же этот Семен чертовщину! Какой день уже гнемся по чужим забазьям, как конокрады или простые ворюги, хоронимся, не спим по всем ночам, а все без толку! Где они, эти бандиты? Караулим свою собственную тень... Надо поспешать, а то какая-нибудь позаранняя баба встанет корову доить, увидит меня, и пойдет по хутору, как волна по речке: «Размётнова заря выкинула! Какая же это лихая баба так его приспала, пригрела, что он только на рассвете очухался?». Ну и пойдет трепать языками, авторитету мне подбавлять. Надо кончать с этим делом! Пуцай ГПУ бандитов ловит, а нам нечего чекистские должности себе присваивать. Вот я пролежал ночь в саду, глядел так, что глаза чуть на лоб не вылазили, — а днем какой же из меня будет работник? Спать за столом в сельсовете? Глядеть на людей красными глазами? Опять же скажут: «Прогулял, чертяка, всю ночь, а теперь зевает, как кобель на завалинке!». Опять же полный подрыв авторитета...».

Мучимый сомнениями, усталый после бессонной ночи, почти убежденный в никчемности затеянной слежки, Размётнов крадучись вошел во двор — и на пороге в хату столкнулся с выходящей из сеней матерью.

— Это я, маманя, — смущенно сказал Андрей, норовя прошмыгнуть в сени.

Но старуха загородила ему дорогу, сурово заметила:

— Вижу, что ты, не слепая... А не пора ли тебе, Андрюшка, кончать гулянки, кончать таскаться по всем ночам? Не молоденький, свое давно

отжениховал, не пора ли и матерю, да и людей постыдиться? Женись и дай себе прикорот, хватит!

— Зараз жениться или подождать, пока солнце взойдет? — зло спросил Андрей.

— Нехай солнце трижды взойдет и сядет, а на четвертые сутки женись, я тебя не тороплю, — отводя недобрую шутку, вполне серьезно ответила мать. — Пожалей ты мою старость! Тяжело же мне при моих старушечьих хворостях и корову доить, и стряпаться, и обстирывать тебя, и огород управлять, и все по хозяйству делать... Как ты этого не поймешь, сынок? Ты же в хозяйстве и пальцем о палец не ударишь! Какой ты мне помощник! Воды и то не принесешь. Поел и пошел на службу, как какой-нибудь квартирант, как чужой в доме человек... Одни голуби тебя заботят, как малый парнишка, возишься с ними. Да разве это мужчинское дело? Постыдился бы людей — тешиться детской забавой! Ежели бы Нюрка мне не помогала, я давно бы уж в лежку легла! Али тебе повылазило, и ты не видишь, что она, моя милушка, каждый божий день бегаёт к нам, то одно сделает, то другое, то корову подоит, то огород прополет и польет, то еще чем-нибудь пособит? Уж такая ласкавая да хорошая девка, что по всей станице поискать! Заглядает тебе в глаза, а ты и не видишь, ослеп от гулянок! Ну где тебя нелегкая носила? Ты погляди на себя: в орешках весь, как кобелишка поблудный! Нагни голову, горюшко ты мое неизживное! И где уж тебя так катали, мучили?..

Старуха положила руку на плечо сына, слегка нажала на него, заставляя согнуться, а когда Андрей склонил голову — с трудом вытащила из его поседевшего чуба комок прошлогодних репьев, ядовитых по цепкости.

Андрей выпрямился, усмехнулся, прямо глядя в брезгливо сморщившееся лицо матери:

— Не думайте обо мне худого, маманя! Не потеха, а нужда заставила в орешках валяться. Пока это вам еще непонятное дело, потом поймете, когда придет время узнать вам. А что касаясь женитьбы, то срок ваш — трое суток — дюже большой: завтра же приведу вам Нюрку в дом. Только глядите сами, маманя, вы ее выбрали себе в снохи — вы с ней и ладьте, чтобы у вас промной себя скандалов не было. А я уживусь хоть с тремя бабами под одной крышей, вы же знаете, я покладистый, пока меня не трогают... А зараз пропустите меня, пойду усну хоть часок перед работой.

Старуха, крестясь, посторонилась:

— Ну, слава богу, что вразумил тебя господь пожалуйть мою старость. Иди, мой родной, иди, мой сынушка, поспи, а я тебе к завтраку блинцов нажарю. Я и каймаку тебе трошки собрала. И не знаю, чем и как тебе угодить за такую радость!

Андрей уже плотно притворил за собою дверь, а старуха так тихо, словно он еще стоял рядом с ней, сказала:

— Ты ведь у меня один на всем белом свете! — И заплакала.

В разных концах хутора в одно и то же время, на заре, ложились спать Андрей Размётнов, Давыдов, просидевший ночь под сараем во дворе Атаманчукова, Нагульнов, неусыпно наблюдавший за подворьем Банника, и благополучно проскользнувшие в островновский курень Половцев и Лятевский.

Наверно, в тихое, слегка туманное летнее утро разные сны снились всем этим таким разным по убеждениям и характерам людям, но уснули все они в один и тот же час...

Быстрее всех из них проснулся Андрей Размётнов. Он досиза выбрил щеки, помыл голову, надел чистую рубаху, суконные штаны, доставшиеся ему на правах прямого наследства от покойного мужа Марины Поярковой, долго плевал на сапоги, а потом тщательно начистил их суконкой — отрезком от полы старой шинели. Собирался он продуманно, без лишней спешки.

Мать догадалась, к чему эти сборы, однако ничего не спросила, боясь спугнуть неосторожным словом торжественное настроение сына. Она лишь изредка поглядывала на него да больше обычного суетилась возле печи. Позавтракали они молча.

— Раньше вечера меня не ждите, маманя, — официальным тоном предупредил Размётнов.

— Помогай тебе бог! — пожелала мать.

— Он поможет, жди... — скептически отозвался Размётнов.

По-деловому, не так, как Давыдов, всего лишь за десять минут провёл он и сватовство. Но, войдя в хату Нюркиных родителей, все же отдал дань приличиям: минуты две посидел, молча покуривая, потом обменялся с отцом Нюрки несколькими фразами о видах на урожай, о погоде — и сейчас же, как о чем-то давно решенном, заявил:

— Завтра у вас Нюрку забираю.

По-своему не лишенный остроумия, родитель невесты спросил:

— Куда? Дежурить рассылной в сельсовет?

— Хуже. В жены себе.

— Это как она скажет...

Размётнов повернулся к полыхающей румянцем невесте, — даже тени улыбки не было на его обычно смешливых губах, — спросил:

— Согласна?

— Я десять лет согласна, — решительно ответила девушка, не сводя с Андрея смелых, круглых и влюбленных глаз.

— Вот и весь разговор, — удовлетворенно проговорил Размётнов.

Соблюдая старые обычаи, родители хотели было помолиться, но Андрей, еще раз закурив, решительно пресек их попытки:

— Я из вас ни приданого, ничего не выбиваю, а из меня что вы сумеете выбить? Табачный дым? Собирайте девку. Нынче поедem в станицу, зарегистрируемcя, нынче же вернемcя, а завтра справим свадьбу, вот так!

— И что уж это так тебе загорелось? — с досадой спросила мать невесты.

Но Размётнов холодно посмотрел на нее, ответил:

— Мое отгорело двенадцать лет назад, отгорело и пеплом взялось... А поспеваю затем, что уборка к хрипу подпирает и дома, сами знаете, старуха моя в отставку по чистой уходит. Стало быть, договоримся так: водку я привезу из станицы — не более десяти литров. По водке и закуску готовьте, и гостей зовите. С моей стороны будут трое: мать, Давыдов и Шалый.

— А Нагульнов? — поинтересовался хозяин.

— Он захворал, — слукавил Андрей, глубочайше убежденный в том, что Макар ни за что не явится на свадьбу.

— Баранчика резать, Андрей Степаныч?

— Дело хозяйское, только гулять шибко не будем, мне нельзя: с должности вытряхнут и выговор по партийной линии могут вклеить такой горячий, что буду год дуть на пальцы, какие фрюмку держали. — И повернулся к невесте, лихо подмигнув, а улыбнулся не очень щедро: — Через полчаса приеду, а ты тем часом, Нюра, принарядись как следует. За председателя сельсовета выходишь, а не абы за кого-нибудь.

Грустная это была свадьба, без песен, без пляски, без присущих казачьим свадьбам веселых шуток и пожеланий молодым, иногда развязных, а иной раз и просто непристойных... А всему тон задал Размётнов: был он несоответственно случаю серьезен, сдержан, трезв. В разговорах участия почти не принимал, все больше отмалчивался, и, когда слегка подивившие гости изредка кричали «горько», он словно бы по принуждению поворачивал к своей румяной жене голову, словно бы нехотя целовал

ее холодными губами, а глаза его, всегда такие живые, теперь смотрели не на молодую, не на гостей, а куда-то вдаль, как бы в далекое, очень далекое и печальное прошлое.

## Глава XXVIII

А жизнь шла в Гремячем Логу и над ним все той же извечно величавой, неспешной поступью: все так же плыли над хутором порою белые, тронутые изморозной белизною облака, иногда их цвет и оттенки менялись, переходя от густо-синего, грозового, до бесцветия; иногда, горя тускло или ярко на закате солнца, они предвещали ветер на будущий день, и тогда всюду во дворах Гремячего Лога женщины и дети слышали от хозяев дома или тех, кто собирался ими стать, спокойные, непререкаемые в своей тоже извечной убедительности короткие фразы: «Ну куда же в такой ветер копнить либо на воза класть?». Кто-то из сидевших рядом — либо семейных по старшинству, либо соседей, — помедлив, отзывался: «И не моги! Разнесет!». И начинался в такую пору жестокого восточного ветра наверху и вынужденного безделья людей внизу — во всех трехстах дворах хутора один и тот же рассказ о некоем давно почившем хуторянине Иване Ивановиче Дегтяреве, который когда-то, давным-давно, в восточный ветер затеялся возить с поля на гумно хлеб и, видя, что с воев ветер несет вязанками, копнами спелую пшеницу, отчаявшись бороться со стихией, поднял на вилах-тройчатках огромное берема пшеницы и, глядя на восток, адресуясь к ветру, в ярости заорал: «Ну, неси и эту, раз ты такой сильный! Неси, будь ты проклят!» — и, перевернув арбу с наложенной по-наклецки пшеницей, нещадно ругаясь, порожняком поехал домой.

Жизнь шла в Гремячем Логу, не ускоряя своей медлительной поступи, и каждый день и каждая ночь приносили в один из трехсот домов хутора свои большие и малые радости, печали, волнения, не сразу гаснущее горе... В понедельник на заре умер на выгоне давнишний хуторской пастух дед Агей. Побежал завернуть и подогнать к табуну молодую, шалую первотелку-корову, но недолго бежал старческой трусцой, как вдруг остановился, прижимая к сердцу кнут, а минуту покачался, переступая на месте гнущимися ногами, а потом, шатаясь, как пьяный, уронив из рук кнут, пошел медленно и неуверенно назад. К нему подбежала прогонявшая корову сноха Бесхлебнова, схватила холодеющие старческие руки и, еле переводя дыхание, жарко дыша в стекленеющие глаза старика, спросила:

— Дедушка, миленький, тебе плохо?! — И уже в голос крикнула: — Да родненький мой! Чем же я тебе помогу?!

Коснеющим языком дед Агей произнес:

— Касатушка моя, ты не пужайся... Поддержи меня под руку, а то я упаду...

И упал — сначала на правое колено, а потом завалился набок. И умер. Только и всего. А в обеденное время, почти в один час, родили две молодые колхозницы. У одной были очень трудные роды. Давыдову пришлось срочно посылать в Войсковой за участковым фельдшером первую попавшуюся под руку подводу. Он только что вернулся из осиротевшего дома деда Агея, попрощавшись с покойником, и сейчас же явился в правление к нему молодой колхозник Михай Кузнецов. Бледный, взволнованный, он с порога начал:

— Дорогой товарищ Давыдов, ради Христа выручай! Баба вторые сутки мучается, никак не разродится. А ведь у меня, окромя нее, двое детей, да и ее до смерти жалко. Помоги лошаадьми, надо фельдшера, что-то наши бабки ей никак не помогут...

— Пошли! — сказал Давыдов и вышел во двор.

Дед Шукарь уехал в степь за сеном. Все лошади были в разгоне.

— Пойдем к твоему дому, первую же, какую встретим, подводу направим в Войсковой. Ты иди к жене, а я любую перехвачу на подъезде и пошлю.

Давыдов великолепно знал, что не пристало мужчине быть вблизи от места, где рожают женщины, но он ходил возле низкого плетня хатенки Кузнецова широкими шагами, озирая из конца в конец пустую улицу, слышал глухие стоны и протяжные вскрики женщины и сам сдержанно мычал от боли за чужое ему материнское страдание и вполголоса ругался самыми последними матросскими ругательствами. А когда увидел неторопливо едущего по улице бригадного водовоза — шестнадцатилетнего паренька Андрея Акимова, — бегом, как мальчишка, бросился ему наперерез, не без усилия столкнул с дроз полную бочку воды и, задыхаясь, выговорил:

— Вот что, парень, тут бабе трудно. Лошади у тебя хорошие, гони вояку в Войсковой и вези мне фельдшера, живого или мертвого! Загонишь лошадей — я отвечаю, факт!

И в полуденной, застойной тишине снова прозвучал и коротко оборвался крик, приглушенный и низкий, смертно мучающейся женщины. Давыдов пристально посмотрел в глаза паренька, спросил:

— Слышишь? Ну и гони!

Став на дроги во весь рост, парень по-взрослому накоротке взглянул на Давыдова:

— Дядя Семен, я все понимаю, и за лошадьми не беспокойтесь!

Лошади рванулись с места наметом, парень, стоя, молодецки посылывал и удалски помахивал кнутом, а Давыдов, посмотрев на всклубившуюся под колесами пыль, безнадежно махнув рукой, пошел в правление колхоза. На ходу он еще раз услышал диковатый женский вскрик, поморщился, как от острой боли, и, лишь пройдя два квартала, с досадой пробормотал:

— Тоже мне, затеется родить, и то как следует не умеет, факт!

Не успел он в правлении разобраться с тем, что называют текущими делами, как пришел молодой и смущенный парень, сын старого колхозника Абрамова, переминаясь с ноги на ногу, стеснительно заговорил:

— Товарищ Давыдов, у нас нынче свадьба, приглашаем вас всем семейством. Неловко будет, если вас за столом не хватит.

И тут Давыдова прорвало, — он вскочил из-за стола, воскликнул:

— Да вы что, одурели в хуторе?! В один день помирать, родить и жениться! Сговорились вы, что ли?!

И, усмехнувшись внутренне над своей горячностью, уже спокойно спросил:

— И какого черта ты спешишь? Ну вот осенью бы и женился. Осенью самое время свадьбы справлять.

Словно стоя на горячем, парень сказал:

— Дело не указывает до осени ждать.

— Какое дело?

— Ну, вы сами должны понимать, товарищ Давыдов...

— Ага, вот как... О деле, сынок, всегда надо думать заранее, — назидательно заметил Давыдов. И тут же улыбнулся, подумав: «Не мне бы ему говорить, и не ему бы слушать».

Внушительно помолчав некоторое время, Давыдов добавил:

— Ну что ж, иди, вечером зайдём на минутку, зайдём все. Ты Нагульнову и Размётнову говорил?

— Я уже приглашал их.

— Ну вот и зайдём все трое, посидим часок. Пить нам много не положено, не то сейчас время, так что вы там не обижайтесь. Ну ступай, желаю счастья. Хотя — желать его будем вам, когда придем... А она у тебя очень толстая?

— Не так чтобы, но видно...

— Ну, когда видно, оно всегда лучше, — снова несколько назидательным тоном заметил Давыдов и опять улыбнулся, уловив фальшивинку в этом разговоре.

А когда через час Давыдов подписывал сводку, как раз в это время явился счастливый отец Михай Кузнецов и, с ходу обняв Давыдова, растроганной скороговоркой зачастил:

— Спаси Христос тебе, наш председатель! Привез Андрюшка фельдшера — и как раз вовремя: баба чуть не померла, а зараз с его помощью отгрохала мне такого сына, ну, как телок, на руках не удержишь. Фельдшер говорит: дескать, не так шел. А по мне, так или не так, а парень-то в семье есть! Кумом будешь, товарищ Давыдов!

Поглаживая рукой лоб, Давыдов сказал:

— Кумом буду, страшно рад, что у твоей жены все благополучно кончилось. Там, что надо по хозяйству, обратись завтра к Островнову, будет ему дан приказ, факт. А что касается того, что парень не так шел, — это не беда: учти, что парни редко ходят так, настоящие парни... — И на этот раз даже не улыбнулся, не почувствовал своего назидательного тона, над которым только что усмеялся.

Что ж, видно, сентименталон стал матрос, если чужая радость и счастливый исход материнских мук заставили его прослезиться. А почувствовав слезы на глазах, он прикрыл глаза широкой ладонью, грубовато закончил:

— Ты ступай, тебя жена ждет. Если что понадобится, приходи, а пока ступай, мне некогда, тут, понимаешь, мне и без тебя дел хватает.

В этот день, уже к вечеру, произошло не малое для Гремячего Лога и почти никем не замеченное чрезвычайное происшествие: часов в семь к дому Островнова подкатили щеголеватые дрожки. Несла их пара добрых лошадей. У калитки сошел с них невысокий человек в парусиновом пиджаке и таких же брюках. Со старческой щеголеватостью отряхнув отвороты пропыленных брюк, он по-молодому весело поднялся на крыльцо островновского куреня, уверенно вошел в сени, где его уже ожидал встревоженный новым визитом Яков Лукич. Коротко блеснув черноватыми, прокуренными зубами, он маленькой, сухою рукой крепко сжал локоть Якова Лукича, спросил, приветливо улыбаясь:

— Александр Анисимович у себя? По виду узнаю, что ты хозяин. Яков Лукич?

И, видя по выправке, по стати, чуя чутьем служилого человека в приезде высокое начальство, Яков Лукич послушно щелкнул каблукми стоптанных чириков, оторопело ответил:

— Ваше высокоблагородие! Это вы? Боже ж мой, как вас ждут!

— Проведи!

С расторопностью, которая так была ему не свойственна по природе, Яков Лукич услужливо распахнул дверь в горницу, где жили Половцев и Лятевский:

— Александр Анисимович, извиняйте, что не доложил, а к нам — дорогие гости!

Приезжий шагнул в раскрытую дверь, широко, театрально раскрыл объятия:

— Здравствуйте, дорогие затворники! Здесь можно говорить в полный голос?

Половцев, сидевший за столом, и Лятевский, по обыкновению, небрежно развалясь, лежавший на кровати, вскочили, как по команде «смирно».

Приезжий обнял Половцева и, только левой рукой прижав к себе Лятевского, сказал:

— Прошу садиться, господа офицеры. Полковник Седой, тот, кто писал вам приказы. Ныне волею судеб агроном краевого сельхозуправления.

Как видите, прибыл к вам с инспекционной поездкой. Время у меня короткое. Должен доложить вам обстановку:

Приезжий, пригласив офицеров садиться, по-прежнему улыбаясь, показывая прокуренные зубы, с наигранной дружелюбностью продолжал:

— Бедно живете, даже угостить гостя как будто бы нечем... Но тут речь будет идти не об угощении, я пообедаю в другом месте. Прошу пригласить к столу моего кучера и обеспечить нашу охрану, по крайней мере — наблюдением.

Половцев услужливо метнулся к двери, но в нее уже входил статный и ладный кучер господина полковника. Он протянул Половцеву руку:

— Здравия желаю, господин есаул! По русскому обычаю через порог не здороваются... — И, обращаясь к полковнику, почтительно спросил: — Разрешите присутствовать? Наблюдение мною обеспечено.

Приезжий по-прежнему улыбался Половцеву и Лятевскому глубоко посаженными серыми глазами:

— Прошу знакомиться, господа офицеры: ротмистр Казанцев. Ну, а хозяев вы, господин Казанцев, знаете. Теперь, господа, к делу. Давайте присядем к вашему холостяцкому столу.

Половцев робко спросил:

— Господин полковник, может быть, разрешите чем-нибудь вас угостить? По-простецки, чем богаты, тем и рады!

Приезжий сухо ответил:

— Благодарю вас, нужды нет. Давайте сразу перейдем к делу, времени у меня в обрез. Ротмистр, дайте карту.

Ротмистр Казанцев достал из внутреннего грудного кармана шиджака сложенную четверо карту-десятиверстку Азово-Черноморского края, развернул ее на столе, и все четверо склонились над нею.

Приезжий, поправив воротник свободно расстегнутого парусинового кителя, вынул из кармана синий карандаш, постукивая им о стол, сказал:

— Фамилия моя, как вы и полагаете, отнюдь не Седой... а Никольский. Полковник генштаба императорской армии. Карта общая, но более подробная карта вам для боевых операций не нужна. Ваша задача: у вас около двухсот активных штыков или сабель, вам надлежит, перебив местных коммунистов, но отнюдь не ввязываясь в мелкие и затяжные стычки, походным порядком, перерезав по пути связь, идти на совхоз «Красная заря». Там вы сделаете что надо, получите в результате около сорока винтовок с соответствующим боезапасом. И, самое главное, сохранив полностью имеющиеся у вас на вооружении ручные и станковые пулеметы, приобретя в совхозе около тридцати грузовых автомобилей, форсированным маршем двигаться на Миллерово. И еще одно главное... Видите, сколько главных задач я вам ставлю... Вам необходимо, я приказываю это, господин есаул, заставить врасплох и не дать развернуться полку, который дислоцирован в городе Миллерово, разбить его с ходу, обезоружить, захватить имеющиеся у него огневые средства и тех красноармейцев из полка, кто пристанет к вам, и вместе, на машинах, двигаться в направлении Ростова. Я вам намечаю задачу только в общих чертах, но от нее зависит многое. Паче чаяния, если ваше продвижение на Миллерово встретит сопротивление, в обход Миллерова двигайтесь на Каменск, вот этим маршрутом. — Синим карандашом полковник вялым движением провел прямую черту на карте. — В Каменске я встречу вас со своим отрядом, господин есаул.

Помолчав, он добавил:

— С севера вас, возможно, будет поддерживать подполковник Савватеев. Но вы на это не очень надейтесь и действуйте сами. От успеха вашей операции, поймите это, очень многое зависит. Я говорю о разоружении полка в Миллерове и об использовании его огневых средств. Как-никак, у них — батарея, а это нам во многом бы помогло. А затем от Каменска мы завязали бы бои за Ростов, полагая, что нам придут на по-

мощь наши силы с Кубани и Терека, а там — помощь союзников, и мы уже властвуем на юге. Прошу учесть, господа офицеры, что продуманная нами операция рискованна, но у нас нет иного выхода! Если мы не используем возможности, которые дает нам история в тысяча девятьсот тридцатом году, то тогда прощайтесь с империей и переходите на мелкие террористические акты... Вот все, что я имею вам сказать. Короткое слово за вами, есаул Половцев. Учтите одно обстоятельство: что мне надо еще заехать в сельсовет, отметить мою командировку и ехать в район. Я, так сказать, лицо официальное, агроном сельхозуправления, поэтому покороче — ваши соображения.

Не глядя на полковника, Половцев глухо проговорил:

— Господин полковник, вы ставите передо мной общую задачу, никак ее не конкретизируя. Совхоз я возьму, но я полагал, что мы после этого пойдем подымать казаков, а вы меня посылаете ввязываться в бой с кадровым полком Красной Армии. Не кажется ли вам, что это невыполнимая задача при моих возможностях и силах? А если даже один батальон на пути моего следования выйдет мне навстречу... вы же обрекаете меня на верную гибель?!

Полковник Никольский, постукивая костяшками пальцев по столу, усмехнулся:

— Я думаю, напрасно вам присваивали звание есаула в свое время. Если вы в трудную минуту колеблетесь и не верите в успех задуманного нами предприятия, то вы ничего не стоите как офицер русской армии! И вы не подумайте мудрить и строить ваши самостоятельные планы! Как прикажете воспринять ваши слова? Будете вы действовать или вас надо убирать?

Половцев встал. Склонив лобастую голову, он тихо ответил:

— Есть действовать, господин полковник. Но только... Но только за неуспех операции будете отвечать вы, а не я!

— Ох, уж об этом не ваша забота, господин есаул! — невесело усмехаясь, проговорил полковник Никольский и поднялся.

Тотчас же встал и ротмистр Казанцев.

Обнимая Половцева, Никольский сказал:

— Мужество и еще раз мужество! Вот чего не хватает офицерскому корпусу доброй старой императорской армии! Засиделись вы, будучи в учителях средних школ, в агрономах. А традиции? Славные традиции русской армии, вы про них забыли? Но ничего. Вы только начните по приказу тех, кто думает за вас, а там... А там — аппетит приходит во время еды! Надеюсь видеть вас, господин есаул, еще генерал-майором — в Новороссийске или, скажем, в Москве. Судя по вашему нелюдимому виду, вы на многое способны! До встречи в Каменске. И последнее: приказ о выступлении, единовременном всюду, где есть наши точки сопротивления, будет дан особо, вы это понимаете. До свидания, до встречи в Каменске!

Холодно обнявшись с приезжавшими, распахнув двери горницы и встретив взгляд трепетно стоявшего в сенях Якова Лукича, Половцев не сел, а упал на койку. Спустя немного спросил у прижавшегося спиной к окну Лятевского:

— Видали вы такого жука?

А Лятевский презрительно махнул рукой:

— Езус-Мария, а чего вы хотели от этого русского воинства?! Вы спросите у меня, господин Половцев: за каким только чертом я с вами связался?!

И еще одно трагическое происшествие случилось в этот день: в колдодце утонул козел Трофим. Будучи непостоянным по характеру, шляясь по хутору все ночи напролет, он, очевидно, нарвался ночью на стаю гуляющих собак, и те, ринувшись за ним в погоню, принудили его прыгнуть через колодец, находившийся возле правления колхоза. Створка, при-

крывавшая устье колодца, по стариковской небрежности деда Щукаря была не прикрыта с вечера, старый козел, напуганный собаками, их злой погоней, прыгнул через колодезь и — видно, скользнули старые копыта — сорвался вниз и утонул.

Вечером дед Щукарь вернулся с возом сена, захотел напоить своих жеребцов и, пытаясь зачерпнуть воды, почувствовал, что ведро ткнулось во что-то мягкое. Все его попытки набрать воды, как он ни старался водить из стороны в сторону веревкой, привязывавшей ведро, закончились неудачей. Тогда старик, озаренный страшной догадкой, сиротливыми глазами оглядел двор в надежде увидеть где-нибудь на крыше сарая своего извечного недруга, но взгляд его бродил впустую: Трофима нигде не было. Дед Щукарь торопливо пошел на сеновал, затем рысцой пробежал за ворота, — нигде Трофима не было... Тогда Щукарь, заплаканный и жалкий в своем горе, вошел в комнату правления, где сидел Давыдов, опустился на лавку:

— Ну, вот, Сёма, жаль моя, дождались мы новой беды: наш Трофим-то, не иначе — утоп в колодезе. Пойдем, добудем «кошку», надо его вытягивать.

— Загоревался? — улыбаясь, спросил Давыдов. — Ты же все время просил, чтобы его зарезали.

— Мало ли что просил! — зло вскричал дед Щукарь. — Не зарезали, и слава богу! А теперь как мне без него жить? Он меня каждый божий день под страхом держал, я с кнутом с зари до вечера не расставался, держа от него оборону, а теперь какая моя будет жизнь? Одна гольная скука! Теперь хоть самому в колодезь кидайся вниз головою... Какая у нас с ним была дружба? Да никакой! На одни баталии мы с ним сходились. Бывалоча поймаю его, проклятого, держу за рога, говорю: «Трофим, таковский сын, ты ведь уж не молодой козел, откуда же у тебя столько злобы? Откуда в тебе столько удали, что ты мне ни один секунд спуска не даешь? Так и караулишь меня, чтобы поддать сзади или откуда-нибудь сбоку. А ведь ты пойми, что я хворый человек и должен ты ко мне какое-то восчувствие иметь»... А он смотрит на меня стоячим зраком, и ничего человеческого в его глазах не видно. Никакого восчувствия в его глазах я не вижу. Потяну его через спину кнутом и говорю ему вслед: «Беги, будь ты трижды проклят, старый паскудник! С тобой ни до чего путного не договоришься!». А он, вражий сын, кинет задом, отбежит шагов на десять, начинает щипать траву от нечего делать, как будто он, проклятый, голодный! А сам косит на меня своими стоячими глазами и, должно быть, опять же норовит подстеречь меня. Потеха, а не жизнь была у нас с ним! Потому что договориться с таким глупым идиотом, а по-простому — с дураком, мне было никак невозможно! А вот зараз утоп, и мне его жалко, и жизнь моя вовсе обнищала... — Дед Щукарь жалостно всхлипнул и вытер рукавом грязной ситцевой рубахи прослезившийся глаз.

Добыв в соседнем дворе «кошку», Давыдов и Щукарь извлекли из колодца уже несколько размокшего Трофима. Давыдов, отворачивая от Щукаря лицо, спросил:

— Ну а теперь что будем делать?

Дед Щукарь, по-прежнему всхлипывая и вытирая слезящийся глаз, ответил:

— Ты иди, Сёмушка, справляй свои государственные дела, а я его сам похороню. Это не твое молодое дело, это — дело стариковское. Я его зарю, лиходея, чин по чину, посижу, поплачу над его погibelью... Спаси Христос, что помог его вытянуть, один бы я не управился: в нем же, в рогатом мерине, не меньше трех пудов будет. Он же разъялся на даровых харчах, потому и утоп, дурак, а будь он полегче — перескочил бы через колодезь, как миленький! Не иначе — разжелудили его эти собаки так, что он без ума летел через этот колодезь. Да и какого ума с него

было, со старого дурака, требовать? А ты мне, Сёмушка, жаль моя, боль моя, дай на четвертинку водки, я его помяну вечером на сеновале. Домой, к старухе, мне идти не к чему: приду, а что от этого толку? Одно расстройство всех нервных систем. И опять баталия? А мне это в моих годах вовсе ни к чему. А так я потихонечку выпью, помяну покойника, напою жеребцов и усну, факт.

Давыдов, всеми силами пытаясь сдержать улыбку, вручил Щукару десятку, обнял его узенькие плечи:

— А ты, дед, по нем не очень горюй. На худой конец мы тебе нового козла купим.

Горестно покачивая головой, дед Щукарь ответил:

— Такого козла ни за какие деньги не купишь, не было и нет таких козлов на белом свете! А мое горе при мне останется. — И пошел за лопатой, сгорбленный, жалкий, трогательно смешной в своем искреннем горе.

На этом и кончился исполненный больших и малых событий день в Гремячем Логу.

## Глава XXIX

Пожинав, Давыдов прошел к себе в горницу и только что присел к столу просмотреть недавно принесенные ему с почты газеты, как услышал тихий стук в переплет оконной рамы. Давыдов приоткрыл окно. Нагульнов, ставив ногу на завалинку, приглушенно сказал:

— Собирайся в дело! А ну-ка, пусти, я пролезу к тебе, расскажу.

Смугловатое лицо его было бледно, собранно. Он легко перекинул ногу через подоконник, с ходу присел на табурет и стукнул кулаком по колену:

— Ну вот, я тебя упреждал, Семен, по-нашему и вышло! Доглядел я все-таки одного: пролежал битых два часа возле островновского куреня, гляжу — идет невысоконыйкий, идет сторожко, прислушивается, стало быть кто-то из них, из этих самых субчиков. Припоздал я в секрет, уже дюже стемнело. Припоздился я, в поле ездил. А может, до него еще один прошел? Короче — пойдем, прихватим по пути Размётнова, ждать тут нечего. Мы их возьмем там, у Лукича, свеженьких! А нет — так хоть этого одного заберем.

Давыдов сунул руку под подушку постели, достал пистолет.

— А как будем брать? Давай тут обговорим.

Нагульнов, закуривая, чуть приметно улыбнулся:

— Дело мне по прошлому знакомое. Так вот, слушай: тот невысоконыйкий стукнул не в дверь, а вот так, как я тебе, в окно. Горенка у Якова Лукича в курене есть, с одной окошкой во двор. Вот этот бандюга, в зицуне он или в плащике, не разобрал в потемках, постучал в окно; кто-то, то ли Лукич, то ли сынок его Семен, чуть приоткрыл дверь, и он прошел в хату. А когда подымался по порожкам — раз оглянулся, и когда входил в дверь — второй раз глянул назад. Я-то, лежа за плетнем, видал все это. Учти, Семен, так добрые люди не ходят, с такой волчьей опаской! Предлагаю такой план захвата: мы с тобой постучимся, а Андрей ляжет со двора возле окна. Кто нам откроет — будем видать, но дверь в горницу я помню, она первая направо, как войдешь в сенцы. Гляди, будет она запертая, придется с ходу вышибать ее. Мы двое входим, и ежели какой сигнет в окно на уход, — Андрей его стукнет. Заберем этих ночных гостей живьем очень даже просто. Я буду вышибать дверь, ты будешь стоять чуть сзади меня, и ежели что, какая заминка выйдет, — бей на звук из горницы без дальнейших разговоров!

Макар посмотрел в глаза Давыдову чуть прищуренными глазами, снова еле приметная усмешка тронула его твердые губы:

— Ты эту игрушку в руках нянчишь, а ты обойму проверь и патрон в ствол зашли тут, на месте. Шагать отсюда будем через окно, ставню прикроем.

Нагульнов оправил ремень на гимнастерке, бросил на пол сигарку, посмотрел на носки пыльных сапог, на измазанные в пыли голенища, опять усмехнулся:

— Из-за каких-то гадов поганных весь вывалился в пыли, как щенок, лежать же пришлось плашмя и по-всякому, ждать дорогих гостей... Вот один и явился... Но такая у меня думка, что их там двое или трое, не больше. Не взвод же их там?

Давыдов передернул затвор и, заслав в ствол патрон, сунул пистолет в карман пиджака, сказал:

— Что-то ты, Макар, сегодня веселый? Сидишь у меня пять минут, а уже три раза улынулся...

— На веселое дело идем, Сёма, того и посмеиваюсь.

Они вылезли в окно, прикрыли створки его и ставню, постояли. Ночь была теплая, от речки низом шла прохлада, хутор спал, кончились мирные дневные заботы. Где-то мыкнул телок, где-то в конце хутора взлаяли собаки, по соседству, потеряв счет часам, не ко времени прокричал одуревший спросонок петух. Не обмолвившись ни одним словом, Макар и Давыдов подошли к хате Размётнова. Макар согнутым указательным пальцем почти неслышно постучал в створку окна и когда, выждав немного, увидел в сумеречном свете лицо Андрея, призывно махнул рукой, показал наган.

Давыдов услышал голос из хаты, сдержанный, серьезный:

— Понял тебя. Выхожу быстро.

Размётнов почти тотчас же появился на крыльчке хаты. Прикрывая за собой дверь, с досадою проговорил:

— И все-то тебе надо, Нюра! Ну зовут в сельсовет по делу. Не на грище же зовут! Ну и спи, и не вздыхай, скоро явлюсь.

Втроем они стали тесно сблизившись; Размётнов обрадованно спросил: — Неужто налапали?

Нагульнов приглушенным шепотом рассказал ему о случившемся.

...Втроем они молча вошли во двор Якова Лукича. Размётнов лег под теплый фундамент, прижавшись к нему спиной. Ствол нагана он осторожно уложил на колено. Он не хотел лишнего напряжения в кисти правой руки.

Нагульнов первый поднялся по ступенькам крыльца, подошел к двери, звякнул щеколдой.

Было очень тихо во дворе и в доме Островнова. Но недобрая эта тишина длилась не так уж долго: из сеней отозвался неожиданно громко прозвучавший голос Якова Лукича:

— И кого это нелегкая носит по ночам?

Нагульнов ответил:

— Лукич, извиняй меня, что бужу тебя в позднюю пору, дело есть, ехать нам с тобой в совхоз зараз надо. Неотложная нужда.

Была минутная заминка и молчание.

Нагульнов уже нетерпеливо потребовал:

— Ну что же ты? Открывай дверь!

— Дорогой товарищ Нагульнов, поздний гостечек, тут в потемках... Наши задвижки, не сразу разберешься, проходите.

Изнутри щелкнул железный добротный засов, плотная дверь чуть приоткрылась.

С огромной силой Нагульнов толкнул левым плечом дверь, отбросил Якова Лукича к стене и широко шагнул в сенцы, кинув через плечо Давыдову:

— Стукни его в случае чего!

В ноздри Нагульнову ударил теплый запах жилья и свежих хмелин. Но некогда было ему разбираться в запахах и ощущениях. Держа в правой руке наган, он левой быстро нащупал створку двери в горенку, уда-  
ром ноги вышиб эту запертую на легкую задвижку дверь.

— А ну, кто тут, стрелять буду!

Но выстрелить не успел: следом за его окриком возле порога грянул плескучий взрыв ручной гранаты и, страшный в ночной тишине, загре-  
мел рокот ручного пулемета. А затем — звон выбитой оконной рамы, оди-  
нокий выстрел во дворе, чей-то вскрик...

Сраженный, изуродованный осколками гранаты, Нагульнов умер мгновенно, а ринувшийся в горницу Давыдов, все же успевший два раза выстрелить в темноту, попал под пулеметную очередь.

Теряя сознание, он падал на спину, мучительно запрокинув голову, зажав в левой руке шероховатую щепку, отколотую от дверной прито-  
локи пулей.

Ох и трудно же уходила жизнь из широкой груди Давыдова, наискось, навывлет простреленной в четырех местах... С тех пор как ночью друзья молча, спотыкаясь в потемках, но всеми силами стараясь не тряхнуть раненого, на руках перенесли его домой, к нему еще ни разу не верну-  
лось сознание, а шел уже шестнадцатый час его тяжелой борьбы со смертью...

На рассвете на взмыленных лошадях приехал районный врач-хирург, молодой, не по возрасту серьезный человек. Он пробыл в горнице, где лежал Давыдов, не больше десяти минут, и за это время напряженно молчавшие в кухне коммунисты гремяченской партячейки и многие любившие Давыдова беспартийные колхозники только раз услышали до-  
несшийся из горницы глухой и задавленный, как во сне, стон Давыдова. Врач вышел на кухню, вытирая полотенцем руки, с подобранными рука-  
вами, бледный, но внешне спокойный, на молчаливый вопрос друзей Да-  
выдова ответил:

— Безнадежен. Моя помощь не требуется. Но удивительно живуч! Не вздумайте его переносить с места, где лежит, и вообще трогать его нельзя. Если найдется в хуторе лед... впрочем, не надо. Но около ране-  
ного должен кто-то находиться безотлучно.

Следом за ним из горницы появились Размётнов и Майданников. Губы у Размётнова тряслись, потерянный взгляд бродил по кухне, не видя беспорядочно толпившихся хуторян. Майданников шел со склоненной головой, и страшно резко обозначались на висках его вздувшиеся вены, а две глубокие поперечные морщины повыше переносья краснели, как шрамы. Все, за исключением Майданникова, толпою вышли на крыльцо, разбрелись по двору в разные стороны. Размётнов стоял, навалившись грудью на калитку, свесив голову, и только крутые волны шевелили на его спине лопатки; старик Шалый, подойдя к плетню, в слепом, безрассуд-  
ном бешенстве раскачивал покосившийся дубовый стоян; Демка Ушаков, почти вплотную прижавшись к стене амбара, как провинившийся школь-  
ник, ковырял ногтем обмытую дождями глину штукатурки и не вытирал катившихся по щекам слез. Каждый из них по-своему переживал потерю друга, но было общим свалившееся на всех огромное мужское горе...

Давыдов умер ночью. Перед смертью к нему вернулось сознание. Коротко взглянув на сидевшего у изголовья деда Щукаря, задыхаясь, он проговорил:

— Чего же ты плачешь, старик? — Но тут кровавая пена, пузырьясь, хлынула из его рта, и, только сделав несколько судорожных глотатель-

ных движений, привалившись белой щекой к подушке, он еле смог закончить фразу: — Не надо... — И даже попытался улыбнуться.

А потом тяжело, с протяжным стоном выпрямился и затих...

...Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшпектала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака... Вот и все!

Прошло два месяца. Так же плыли над Гремячим Логом белые, теперь уже по-осеннему сбитые облака в высоком небе, выцветшем за жаркое лето, но уже червленной позолотой покрылись листья тополей над гремяченской речкой, прозрачней и студеной стала в ней вода, а на могилах Давыдова и Нагульнова, похороненных на хуторской площади, недалеко от школы, появилась чахлая, взлелеянная скупым осенним солнцем бледно-зеленая мурава. И даже какой-то безвестный степной цветок, прижавшись к штакетнику ограды, запоздало пытался утвердить свою жалкую жизнь. Зато три стебля подсолнушка, выросшие после августовских дождей неподалеку от могил, сумели подняться в две четверти ростом и уже слегка покачивались, когда над площадью дул низом ветер.

Много воды утекло в гремяченской речке за два месяца. Много изменилось в хуторе. Похоронив своих друзей, заметно сдал и неузнаваемо изменился дед Щукарь: он стал нелюдим, неразговорчив, еще более, чем прежде, слезлив... После похорон пролежал дома, не вставая с кровати, четверо суток, а когда поднялся, — старуха заметила, не скрывая своего страха, что у него слегка перекосило рот и как бы повело на сторону всю левую половину лица.

— Да что же это с тобой подеялось?! — в испуге воскликнула старуха, всплеснув руками.

Немного косноязычно, но спокойно дед Щукарь ответил, вытирая ладонью слюну, сочившуюся с левой стороны рта:

— А ничего такого особого. Вон какие молодые улеглись, а мне давно уж там покоиться пора, задача ясная?

Но когда медленно пошел к столу, оказалось, что приволакивает левую ногу. Сворачивая папироску, с трудом поднял левую руку...

— Не иначе, старая, меня паралик стукнул, язви его! Что-то, замечаю, я не такой стал, каким был недавно, — сказал Щукарь, с удивлением рассматривая не повинующуюся ему руку.

Через неделю он несколько окреп, уверенней стала походка, без особых усилий мог владеть левой рукой, но от должности кучера отказался наотрез. Придя в правление колхоза, так и заявил новому председателю — Кондрату Майданникову:

— Отъездился я, милый Кондратушка, не под силу мне будет управляться с жеребцами.

— Мы с Размётновым о тебе уже думали, дедушка, — ответил Майданников. — А что ежели тебе заступить в ночные сторожа в сельпо? Построим тебе теплую будку к зиме, поставим в ней чугунок, топчан сделаем, а тебе в зиму справим полушубок, тулуп, валенки, чем будет не житье? И жалованье будешь получать, и работа легкая, а главное, ты при деле будешь. Ну как, согласен?

— Спаси Христос, это мне подходяще. Спасибо, что не забываете про старика. Один черт, я по ночам почти не сплю, а зараз и вовсе. Тоскую я по ребятам, Кондратушка, и сон меня вовсе стал обегать. Ну, пойду, попрощаюсь с моими жеребцами — и домой. Кому же вы их поручите?

— Старикку Бесхлебнову.

— Он крепкий старик, а вот я уже подызносился, подкосили меня Макарушка с Давыдовым, уняли у меня жизни... С ними-то, может, и я бы лишних год-два прожил, а без них что-то мне тошновато стало на белом свете маячить... — грустно проговорил дед Щукарь, вытирая глаза верхом старой фуражки.

С этой ночи стал он сторожевать.

Могилы Давыдова и Нагульнова, обнесенные невысокой оградой, были неподалеку, напротив лавочки сельпо, и на другой же день, вооружившись топором и пилой, дед Щукарь соорудил возле могильной ограды небольшую скамеечку. Там он и стал просиживать ночи.

— Все к моим рѳдным поближе мощусь... И им со мной веселее будет лежать, и мне возле них коротать ночи приятственней. Детей у меня сроду не было, Андрюшенька, а тут — как будто двух сынов рѳдных сразу потерял... И щемит проклятое сердце день и ночь, и никакого мне покою от него нету! — говорил он Размѳтнову.

А Размѳтнов — новый секретарь партячейки — делился своими опасениями с Майданниковым:

— Ты замечаешь, Кондрат, как за это время страшно постарел наш дед Щукарь? В тоску вдарился по ребятам и на себя ничуть не похожий сделался. Видать, скоро подомрет старик... У него уже и голова трясется, и руки чернотой взялись. Ей-богу, наделает он нам горя! Привыкли к нему, к старому чудаку, и без него вроде пустое место в хуторе останется.

Короче становились дни, прозрачнее воздух. К могилам ветер нес уже не горький душок полыни со степи, а запах свежеемолоченной соломы с расположенных за хутором гумен.

Когда шла молотьба, деду Щукарю было веселее: допоздна гремели на гумнах веялки, глухо выстукивали по утрамбованной земле каменные катки, слышались людские понукающие голоса и фырканы лошадей. А потом все стихло. Длиннее и темнее стали ночи, и уже иные голоса зазвучали в ночи: журавлиный стон в аспидно-черном поднебесье, грустный переклик казарок, сдержанный гогот гусей и посвист утиных крыльев.

— Тронулась птица в теплые края, — вздыхал в одиночестве дед Щукарь, прислушиваясь к птичьему гомону, призывно падавшему с высоты.

Однажды вечером, когда уже стемнело, к Щукарю тихо подошла женщина, закутанная в черный платок, молча остановилась.

— Кого бог принес? — спросил старик, тщетно стараясь разглядеть пришедшую.

— Это я, дедуня, Варя...

Дед Щукарь насколько мог проворно поднялся со скамейки:

— Касатухка моя, пришла-таки? А я уж думал, что ты про нас забыла... Ох, Варюха-Горюха, как же он нас с тобой осиротил! Проходи, милушка, в калитку, вот его могилка, с краю... Ты побудь с ним, а я пойду лавку проведаю, замки проверю... Тут у меня всякие дела, сторожую, делов у меня хватает на мою старость... Хватает, моя добрая.

Старик поспешно заковылял по площади и вернулся только через час. Варя стояла на коленях в изголовье могилы Давыдова, но, слышав деликатно предупреждающее покашливание деда Щукаря, встала, вышла из калитки, качнулась, испуганно оперлась рукою об ограду. Молча постояла. Молчал и старик. Потом она тихо сказала:

— Спасибо тебе, дедуня, что дал мне побыть тут, с ним, одной...

— Не за что. Как же ты теперича будешь, милушка?

— Приехала совсем. Нынче утром приехала, а сюда пришла поздно, чтобы люди не видали...

— А как же с ученьем?

— Бросила. Наши без меня не проживут.

— Сёма наш был бы недовольный, я так разумею.

— А что же мне делать, дедуня миленький? — Голос Вари дрогнул.

— Не советчик я тебе, милушка моя, гляди сама. Только ты его не обижай, ведь он любил тебя, факт!

Варя быстро повернулась и не пошла, а побежала через площадь, она не в силах была даже попрощаться со стариком.

А в непроглядно-темном небе до зари звучали стонущие и куда-то зовущие голоса журавлиных стай, и до зари, не смыкая глаз, сидел на скамеечке сгорбившийся дед Щукарь, вздыхал, крестился и плакал...

Постепенно, изо дня в день, разматывался клубок контрреволюционного заговора и готовившегося восстания на Дону.

На третьи сутки после смерти Давыдова приехавшие из Ростова в Гремячий Лог сотрудники краевого управления ОГПУ без труда опознали в убитом Размётновым человеке, лежавшем во дворе у Островного, давно разыскиваемого преступника, бывшего подпоручика Добровольческой армии Лятевского. Спустя три недели в совхозе, неподалеку от Ташкента, к пожилому, недавно поступившему на работу счетоводу по фамилии Калашников подошел неприметный человек в штатском; наклонившись над столом, негромко сказал:

— А вы уютно устроились, господин Половцев... Тихо! Давайте выйдем на минутку, ступайте вперед!

На крыльце их ожидал еще один человек в штатском, с седыми висками. Тот не был так безукоризненно вежлив и сдержан, как его младший товарищ: завидев Половцева, он шагнул вперед, часто моргая, побледнел от ненависти, сказал:

— Гадина! Далеко ты уполз... Думал тут, в этой норе, от нас спрятаться? Ну подожди, я с тобой поговорю в Ростове! Ты у меня еще попляшешь перед смертью...

— Ой как страшно! Ой как я испугался! Я весь дрожу, как осиновый лист, дрожу от ужаса! — иронически проговорил Половцев, останавливаясь на крыльце и закуривая дешевую папиросу. А сам исподлобья смотрел на чекиста и смеющимися и ненавидящими глазами.

Его обыскали здесь же, на крыльце, и он, покорно поворачиваясь, говорил:

— Послушайте, не трудитесь напрасно! Оружия при мне нет: зачем бы здесь я таскал его с собой? Маузер у меня на квартире спрятан. Пошли!

По пути на квартиру он говорил спокойно и рассудительно, обращаясь к чекисту с седыми висками:

— Чем же ты, наивный человек, думаешь меня запугать? Пытками? Не выйдет, я ко всему готов и все вытерплю, да и пытать меня нет смысла, потому что, не таясь и ничуть не лукавя, расскажу все, решительно все, что знаю! Даю честное слово офицера. Два раза ты меня не убьешь, а к смерти я уже давно готов. Мы проиграли, и жизнь для меня стала бессмыслицей. Это не для красного словца, — я не позер и не фат, — это горькая для всех нас правда. Прежде всего долг чести: проиграл — плати! И я готов оплатить проигрыш своею жизнью. Ей-богу, не страшно.

— Слезай с ходулей и помолчи, а за расплатой дело не станет, — посоветовал ему тот, к которому Половцев обращался со своей выпренной речью.

При обыске на квартире у него, кроме маузера, ничего компрометирующего не оказалось. Ни единой бумажки не было в его фанерном чемодане. Но на столе были аккуратно сложены все двадцать пять томов сочинений Ленина.

— Это принадлежит вам? — спросили у Половцева.

— Да.

— А для чего вы имели эти книги?

Половцев нагло усмехнулся:

— Чтобы бить врага, надо знать его оружие...

Он сдержал слово: на допросах в Ростове выдал полковника Седого-Никольского, ротмистра Казанцева, по памяти перечислил всех, кто входил в его организацию в Гремячем Логу и окрестных хуторах. Никольский выдал остальных.

Широкой волною прокатились по Азово-Черноморскому краю аресты. Более шестисот человек казаков — рядовых участников заговора, в том числе и Островнов с сыном, — были осуждены Особым Совещанием на разные сроки заключения. Из них расстреляны были только те, которые принимали прямое участие в совершении террористических актов. Половцев, Никольский, Казанцев, подполковник Савватеев из Сталинградской области и два его помощника, а помимо них девять человек белогвардейских офицеров и генералов, проживавших в Москве под чужими фамилиями, были приговорены к расстрелу. Среди девяти арестованных в Москве и подмосковных городках находился и один небезызвестный в кругах денкинской армии казачий генерал-лейтенант. Он непосредственно возглавлял заговор и осуществлял постоянную связь с зарубежными эмигрантскими воинскими организациями. Только четыре человека из руководящего центра сумели избежать ареста в Москве и разными путями пробраться за границу.

Так закончилась эта отчаянная, заранее обреченная историей на провал попытка контрреволюции поднять восстание против советской власти на юге страны.

Через несколько дней после того как в хутор приехала Варя Харламова, вернулся из поездки в Шахты Андрей Размётнов. По просьбе Майданникова он ездил туда покупать для колхоза локомотив. Поздно вечером они сидели в правлении колхоза втроем: Майданников, Размётнов и Иван Найденов — секретарь созданной в Гремячем Логу комсомольской ячейки. Размётнов подробно рассказал о поездке, о покупке локомотива, а затем спросил:

— Говорят, что Варька Харламова заявила в хутор, бросила учиться и что будто бы уже была у Дубцова, просила принять ее в бригаду, верно это?

Майданников вздохнул:

— Верно. Жить-то ее матери и детишкам чем-то надо? Вот она и бросила техникум, а девчонка способная.

Размётнов, очевидно, уже все продумал в отношении Вари и теперь заговорил в полной уверенности, что с ним согласятся:

— Она — невеста покойного Семена. Надо, чтобы она училась. Он этого хотел. Так и надо сделать. Завтра же давайте призовем ее сюда, поговорим с ней и отправим обратно в техникум, а семью ее возьмем на колхозное обеспечение. Раз нет с нами дорогого нашего Давыдова — давайте возьмем на себя содержание его семьи. Возражений нету?

Майданников молча кивнул головой, а горячий Иван Найденов сжал руку Размётнова, воскликнул:

— Ты просто молодец, дядя Андрей!

И тут Размётнов вдруг вспомнил:

— Да, ребятаки, забыл вам сказать, знаете, кого я встретил на улице там, в Шахтах? А кого бы вы думали? Лушку Нагульнову! Идет этакая толстая бабега, рядом с ней лысоватый толстенный мужчина... Глянул я на нее — и потерялся: то ли она, то ли не она! Морда толстая, глазки заплаканы, и обнимать уже надо тремя руками. А по выходке вижу — она! Подхожу, здороваюсь, говорю: «Лушаня, да ты ли это?!». — А она мне в ответ: «Гражданин, я вас не знаю». Я смеюсь, говорю ей: «Скоро же ты

своих хуторских забыла! Ведь ты же Лушка Нагульнова?». Она этак, по-городскому, фасонисто пожевала губами и говорит: «Когда-то была Нагульнова, когда-то была Лушка, а теперь Лукерья Никитична Свиридова. А это мой муж, горный инженер Свиридов, познакомьтесь». Ну, я поручкался с инженером, а он смотрит на меня чертом, дескать, почему я так с его женой по-простому разговариваю. Повернулись и пошли, обоим толстые, видать, довольные собой, а я про себя думаю: «Ну и сильны же бабы! Недаром Макар против них всю жизнь восставал! Не успела двух похоронить, Тимошку и Макара, а уже выскочила за третьего!». Да ведь дело не в том, что выскочила, а когда она сумела такие тела на себя набрать?! Вот об чем я думал, стоя там на улице. И что-то во мне воспечалось сердце, жалко стало прежнюю Лушку, молодую, хлесткую, красивую! Как, скажи, я ее прежнюю-то когда-то давным-давно во сне видал, а не жил с ней в хуторе бок о бок... — Размётнов вздохнул: — Вот она, наша жизненка, ребята, какими углами поворачивается, иной раз так развернется, что и нарочно не придумаешь! Ну, пошли?

Они вышли на крыльцо. Далеко за Доном громоздились тяжелые грозовые тучи, наискось резали небо молнии, чуть слышно погромыхивал гром.

— Дивно мне, что так припозднилась гроза в нынешнем году, — сказал Майданников. — Покрасоваться на нее, что ли?

— Вы красуйтесь на нее, а я пошел.

Размётнов попрощался с товарищами, молодецкато сбежал с крыльца. Он вышел за хутор, постоял немного, затем неторопливо направился к кладбищу, далеко, кружным путем обходя смутно видневшиеся кресты, могилы, полуразрушенную каменную ограду. Он пришел туда, куда ему надо было. Снял фуражку, пригладил правой рукой седой чуб и, глядя на край осевшей могилы, негромко проговорил:

— Не по-доброму, не в аккурате соблюдаю твое последнее жилье, Евдокия... — Нагнулся, поднял сухой комок глины, растер его в ладонях, уже совсем глухим голосом сказал: — А ведь я доньше люблю тебя, моя незабудная, одна на всю мою жизнь... Видишь, все некогда... Редко видимся.. Ежли сможешь — прости меня за все лихо... За все, чем обидел тебя, мертвую.

Он долго стоял с непокрытой головой, словно прислушивался и ждал ответа, стоял не шевелясь, по-стариковски горбясь. Дул в лицо ему теплый ветер, крапывал теплый дождь... За Доном бело вспыхивали зарницы, и суровые, безрадостные глаза Размётнова смотрели уже не вниз, не на обвалившийся край родной могилки, а туда, где за невидимой кромкой горизонта алым полымем озарялось сразу полнеба и, будя к жизни засыпающую природу, величаяя и буйная, как в жаркую летнюю пору, шла последняя в этом году гроза.

*Конец.*



В. Кораблин

# Лесов танцевальная сцена

П О В Е С Т Ь

Рис. Ж. Ефимовского.

Там на неведомых дорожках  
Следы невиданных зверей.

А. Пушкин.

## 1

Собаки ухитрились загнать оленя в чащу. Он прижался к двум кривым соснам и стал защищаться.

Собак было много, все голодные и злые, с торчащими ребрами и горящими, как у волков, глазами.

Две из них — рыжеватая овчарка с большим черным чепраком и серая остромордая борзая — нападали особенно яростно. Олень норовил достать их рогами или копытом, да они ловко увертывались от его ударов.

Другие собаки — разномастные, рослые, но совсем непривычные к охоте дворняги. Раздавшись полукругом, они очень много лаяли и то подкатывались пестрым клубком под ноги оленю, то с визгом отскакивали назад.

Одна из собак, черная и кудлатая с растрепанным, полным репьев хвостом, валялась убитая.

Когда овчарка или борзая кидались на оленя и тот оборачивался в их сторону, все собаки дружно наваливались на него с другой стороны.

Олень был тяжело ранен. Яркая кровь капала на рыжую осеннюю листву.

Наконец он остушился и рухнул на колени. Тогда собаки кинулись все разом и, словно овчиной, совсем закрыли его.

По ухабистой, малопроезжей просеке катилась телега.

На ней виднелась поклажа: перевернутый вверх ножками простой некрашенный стол, домашней работы сундук, новая кадушка, две табуретки и ведро. На столе был разостлан голубой полосатый тюфяк, на нем сидела еще довольно молодая, загорелая, стриженная по-городскому женщина. Она держала на коленях плетеную кошелку, из которой выглядывали три помеченные фиолетовой краской белые курочки.

Щуплый седоусый человек, примостившись на передке, правил лошадь, а другой шел возле, держась за грядущку телеги. Он был не молод, но очень прям, крепок и так высок, что казалось, будто он вовсе не держится за грядущку, а несет одной рукой и телегу и лошадь.

Высокого звали Степан Галкин, а седоусого — Максим Потехин. Оба они служили наблюдателями заповедника. Женщина же, сидевшая на тюфяке, была жена Степана, Наталья.

Они много лет жили на дальних лесных кордонах, но третьего дня директор заповедника, уезжая, велел им переселиться на центральную усадьбу управления. В тридцати километрах были немцы, все служащие управления и зверофермы разъехались кто куда. В усадьбе остался один старик Ершов. Он третий год возился с новой опытной фермой и никак не мог допустить, что война сведет на нет всю его работу. Он отказался эвакуироваться, только просил себе двух помощников.

Ни Галкин, ни Потехин никуда уезжать не собирались, и выбор директора пал на них. Потехин был одинок: его старуха померла накануне войны, а сын погиб еще в июле сорок первого года. Степану же и Наталье было все равно где ни жить — на кордоне или в центральной усадьбе, — только бы не покидать родимые места.

## 3

Степан недавно ездил в город и сейчас рассказывал своему товарищу, как он попал под бомбежку и как напугался, а главное, что было убито много детей, и теперь эти убитые дети все мерещились ему по ночам.

— Вот, Максим Федорыч, — говорил Галкин, — на словах рассказал, так и то страшно... А я сам все видел — мне каково? Верить ли, вот лягу спать, закрою глаза — и опять вижу: низко, сволочь, летит, прямо за крышу черными крестами цепляет, а потом — гак! гак! — и дым, и крик, и сказать невозможно... Баба вон говорит: ты что не спишь, чисто от блох вертисься?

— А вчерась ночью, — сказала Степанова жена, — как закричит!

— Закричишь! — покачал головой Галкин.

Просека спустилась в глубокий лог. Здесь сразу стемнело от густого орешника, а размытая дождями дорога стала так пехороша, что некоторое время все ехали молча. Телега скрипела и валилась то на один бок, то на другой. Ветки орешника хлестали по дуге, идти стало трудно, и Степан тоже пристроился на краешек телеги. Он достал кисет и хотел скрутить папироску. Телегу трясло, и табак сыпался из бумажки. Наконец кое-как закурив, он было снова принялся рассказывать Максиму, чего еще натерпелся в городе, но остановился на полуслове, услышав разноголосый и злобный собачий лай.

— А ведь это как бы не дикари! — сказал Степан.

— Они и есть, — покачал головой Максим, — кого-то одолевают.

Наблюдатели оставили Наталью с лошадь, а сами, схватив ружья и пригнувшись под густыми кустами орешника, побежали в ту сторону, откуда доносился лай.

Уходя от наступающих неприятельских войск, люди бросали свои дома и скарб. Целые села уничтожались артиллерийским огнем, и ночами в разных концах необрушенных полей пылали зарева пожаров.

В овражистом перелеске, тронутом холодной сединой утренних заморозков, тревожно редела отбившаяся от беженского гурта корова и выли впотьмах брошенные хозяевами собаки. Иногда они собирались в большие стаи и, все больше дичая, кочевали с места на место — злые, голодные, напуганные грохотом взрывов и ревом пикирующих бомбардировщиков.

Эти одичалые собаки были страшнее волков: они не боялись людей и смело нападали на скотину.

Появившись в заповедном лесу в конце лета, эти, как их прозвали, «ди-кари», за сравнительно небольшое время успели сделать много зла.

Особенно доставалось от них тем несчастным стадам коров и овец, которых день и ночь гнали на восток из оккупированных немцами районов.

Кроме того, собаки эти часто нападали на оленье табунки, отбивали телят и приканчивали их. Однако на взрослых оленей они до сих пор не решались нападать.

Может быть, загнанный ими самец был хворый и не сумел убежать или слишком уж велик был численный перевес одичавших собак, — только олень не выдержал и упал.

И вот, когда он упал, собаки так разъярились битвой и так опьянели от горячей крови, что не сразу услышали крики людей, не сразу увидели их, и лишь когда Максим Федорыч, не целясь, выстрелил из дробовика в их разномастную, грызущую над поваленным оленем, рычащую и лающую стаю, — только тогда они бросились в рассыпную.

Олень тяжело поднялся, трудно дыша и дрожа всем телом. Желтые листья кленовых кустов и трава возле него были забрызганы крапинами крови. И люди и олень стояли неподвижно. Потом он вдруг круто повернулся, сделал несколько шагов и грянулся оземь.

— Что война делает, а! — вздохнул Максим Федорыч. — Дворяжка, а гляди, хуже волка стала! Нахальство, ах нахальство...

Олень лежал, высоко задрал тонкую красивую голову. Его печальные, влажные, точно подернутые слезой глаза, отразив в черном бархатном зрачке розовое небо и верхушки кривых сосен, глядели не моргая.

— Готов! — сказал Степан.

Максим Федорыч молча пощипывал седоватые усы.

— Веди лошадь! — сказал он наконец.

Когда Степан ушел, Максим Федорыч опустился на колени возле мертвого оленя, сорвал пучок травы, вытер кровь с его еще теплых ноздрей и прошептал:

— Нет, скажи, что война делает!

Река Шиханка пересекала заповедный лес с севера на юг. Заросшая высоченным камышом, она то вовсе исчезала в непроходимых зарослях тростника и травы, то разливалась ямистыми, бездонными плесами. Затежливо виляя в лесной чаще, Шиханка вбирала на своем пути множество небольших заболоченных ручьев и речушек, на которых жили бобры.

Центральная усадьба заповедника была расположена на берегу одного из бесчисленных шиханских омутов. Окруженная высокой каменной стеной со сводчатыми воротами и с круглыми башнями на углах, она напоминала старую крепость.

Когда-то здесь стоял монастырь. Он был беден, в нем не водилось чудотворных икон, монахи были всё больше из окрестных мужиков. Они ловили рыбу и плели корзины.

От тех времен остались лишь приземистая, полуразвалившаяся звонница да старый собор, пузатые купола которого расплавленным ржавым золотом мерцали в черной бездне молчаливого плеса.

Уже совсем стемнело, когда Галкин с Потехиным подъехали к усадьбе. Последние пять-шесть километров лошаденка еле тащилась: от оленя в телеге прибавилось тяжести, а дорога шла в глубоких песках.

В густом, разросшемся питомнике лошадь, вдруг испугавшись чего-то, спархнула в сторону. Телегу тряхнуло, послышался треск сломанного дерева, загремели ведра, испуганно вскрикнула Наталья, и отчаянно закудахтали галкинские куры. Большой, с ветвистыми рогами олень, промелькнувший возле самой лошадиной морды, исчез в чаще сосновой посадки.

— Тпру! Тпру, шутоломная! — закричал Потехин на лошадь.

С гулким стуком бочка покатила в канаву.

— Ай! — взвизгнула Наталья. — Держите!

— Держу! — откуда-то из непроглядной черноты сказал Галкин. — Живы? — засмеялся он, выводя лошадь на дорогу.

— Чтой-то она? — спросила испуганная Наталья.

— Да что — Лешка! Его наемни из загона выпустили, а он все ко двору да ко двору!

— Привычка! — сказал Потехин. — На кого ни доведись...

## 6

Пока Наталья возилась со своим скарбом, а Потехин отпрягал лошадь, Степан пошел доложить о своем приезде единственному оставшемуся в усадьбе научному сотруднику.

Александр Ильич Ершов, несмотря на свои шестьдесят лет, был еще очень крепкий и жилистый старик. Совершенно седой, но со смоляными черными косматыми бровями, слегка согнутый в плечах, с крючковатым носом и зоркими, пронзительными глазами, он удивительно напоминал степного ястреба.

Ершов жил в маленьком бревенчатом домике из двух комнат. В одной, передней, располагался он сам, а в другой, дальней, жила Танюша.

В комнате Александра Ильича негде было повернуться. Старинный, с загородочкой, письменный стол, шкафчики, стулья, даже узенькая железная кровать, над которой висело охотничье ружьецо, — все это было завалено книгами, исписанными листами бумаги, чертежами, графиками.

Особенно много места занимали полки. Самых разных фасонов — узенькие и широкие, крашеные и некрашеные, они громоздились вдоль всех стен. На них виднелось множество баночек, щипчиков, ножниц, пузырьков, клубочков, катушек, мотков суровых и шелковых ниток, пакетиков, коробочек и еще какого-то, вероятно нужного, но совершенно неопределенного хлама.

Среди всей этой деловой неразберихи, рядом с барометром, кокетничая красным шелковым бантом, красовалась гитара. С десяток тщательно выписанных пейзажных акварелей в узеньких деревянных рамках висели в свободных простенках, а возле окна стоял высокий столик. На нем, размахнув великолепные серые с перламутровой пестринкой крылья и хищно округлив янтарные глаза, матерый филин разрывал когтями малыша-бобренка. Это было чудо препараторского мастерства, это было искусство.

Когда вошел Галкин, Александр Ильич при тусклом свете пятилинейной керосиновой лампочки что-то записывал в большую конторскую книгу.

— Ну-с, — подымая на лоб круглые, в серебряной оправе очки, сказал он. — С приездом, стало быть?

— Да вот, прибыли в ваше распоряжение, — улыбнулся Степан.

— Отлично! — Александр Ильич потер ладонь о ладонь. — А то тут, брат, уже и голова кругом идет! Мечемся с Танюшкой, как угорелые, а рук-то, как ни крути, — четыре, до всего не доходят... Одна стряпня на ферме ума дает!

— Ну, теперь мы к Тане под команду мою Наташку определим!  
— Само собой! Но тут, дорогой товарищ, еще и с огородом задача. Ведь коли не уберем, так и нам и бобрятам — каюк!  
— Управимся! — спокойно сказал Галкин, — Не вот тебе плантация какая.

— Оно, положим, так, да уж больно народу мало.

— С кордонов позовем!

— А кого их возьмешь, с кордонов-то? Все на войне, один Леонтий Иванович да разве еще Тимоша... Какие бабенки егеревы, так они еще весной все подались из лесу. Что ж, конечно, дело женское — в лесу без мужика страшновато. Вот и выходит — Тимоша да Леонтий Иванович. А с них толку — сам знаешь!

— Ну ничего, — доставая расшитый малиновый кисет, сказал Галкин, — время военное, все равно управимся. На-ка, Ильич, попробуй крепачка, свойский табачок... «Дюбек»!

— Можно? — открывая дверь, спросил Потехин. — Доброго здоровья, Александр Ильич! Куда оленя девать будем?

— Какого оленя? — удивился старик.

— Да вот, стало быть, трофейного! — пошутил Потехин. — Ты что ж, Степа, не докладывал Александру Ильичу про нашу происшествию?

И он рассказал, откуда взялся олень.

— Ай-ай-ай! — покачал головой Ершов. — Вот уж, подлинно, пришла беда, отворяй ворота! Собаки! Скажите пожалуйста!

## 7

Курили молча, все думали об одном.

Время от времени в ночной тишине со стороны города доносился как бы отдаленный гром приближающейся грозы. Второй день не умолкая гремели орудия, но что делалось в городе — точно никто не знал.

— Молчит? — указывая на черный круг репродуктора, спросил Потехин.

— Третьи сутки, — вздохнул Александр Ильич.

— Слышно, силен, собака! — подразумевая немца, сказал Галкин.

— Кабы не силен, какой и разговор...

— А что, Ильич, как к нам прорвется?

— Не прорвется! — насутился Ершов. — Тут намедни у нас солдаты шли, так мне ихний командир сказал: не пустим!

— Ну, это, — усмехнулся Потехин, — мы еще летось слышали...

— Чего это вы слышали? — сердито спросил Ершов.

— Да вот, что не пустим-то... Что ж, забыл, что ли? Чуть свет, бывало, а он, — Потехин снова показал на репродуктор, — «ра-ра-ра!» Врага-то где собирались бить? На его, кажись, территории? Потом глядим: отступили на приготовленные позиции! — Потехин зло рассмеялся. — А кто их нам, эти позиции, приготовил? Вот те и «ра-ра».

Дрожащими руками он стал свертывать сигарку. Пальцы плохо слушались, бумага прорвалась. Потехин сердито швырнул ее на пол и, раздумав закуривать, сунул жестяную коробочку в карман.

И Александр Ильич и Галкин молчали. Они понимали, что Потехину трудно забыть гибель единственного сына и что не малодушие, а отцовское горе родило его жестокие и вместе с тем жалкие слова.

— Так вот насчет того, что если прорвется, — отвечая на вопрос Галкина, медленно сказал Александр Ильич. — Что же я тебе, Степан Васильич, могу сказать? Мы ведь с тобой вместе на прошлой неделе в райком-то ездили? Указание областного Комитета Оборона вместе слушали?

— Да это точно... — смущенно сказал Галкин.

— Ну так чего ж и говорить! — строго глянул поверх очков Александр Ильич. — Для землянок-то присмотрел место?

— Да надо быть на Афонинном Ключе, я так соображаю. Туда не знаячи не доберешься...

— А ты что скажешь, Максим Федорыч?

— Чего лучше, — согласился Потехин, — самое секретное место.

— Значит, Степа, так и доложи Волохову. Там ведь ждут, в райкоме-то, пасчет землянок... Их, брат, построить тоже не вот тебе — раз, два и готово! Я вот тут набросал кое-что. — Александр Ильич достал из ящика письменного стола свернутую в трубочку четвертушку ватманского листа. — Это вчерне, конечно, но все-таки... Вот, пожалуйста!

Все наклонились над бумагой. Это был нанесенный на карту заболоченной местности план расположения будущей партизанской базы. Аккуратно вычерченные тушью квадратики землянок шли вдоль холмистого берега ручья.

— Э! — усмехнулся Потехин. — И не стоваривались, а на одном сошлись! Местность-то, Ильич, вроде бы знакомая... Афонин Ключ, а?

— Он! — кивнул Ершов. — Отличное место, что и говорить! Так вот, товарищи, как я предлагаю...

И вода по бумаге кончиком остро отточенного карандаша, Александр Ильич стал объяснять свой чертеж. Квадратики оживали. Они превращались в штаб отряда, сторожевую вышку, лазарет. Закурился веселый дымок над землянками. Два длинных прямоугольника оказались конюшнями, а маленький, расположенный у самого ручья квадратик — баней.

— Ты гляди! — расхохотался Галкин. — И про баню не забыл!

— А как же без бани? — воскликнул Ершов. — Без бани русскому человеку никак невозможно. Вот так-то, Степа! — обратился он к Галкину. — Тут, брат, дела невпроворот, а ты задумался: что делать? Да я больше тебе скажу, дорогой товарищ: вон он, Максим-то Федорыч, хоть и не коммунист и в райкоме с нами не был, а только, если придет к нам в лес война, то будь покоен, не задумается, что делать... Это факт, товарищи!

И Александр Ильич, нахмурившись, стал выстукивать пальцами по столу барабанную дробь.

— Ну, Ильич, — надевая картуз, широко улыбнулся Галкин, — в отделку ты меня заклевал! Пошли, что ли, Федорыч... А то там, на новой фатере-то, Наташка моя, поди, со страху под печку залезла!

— И ничего не залезла! — выходя из сеней, весело воскликнула Таня. — Я от нее только что... Папа, тебе рассказали про оленя? Я сама видела. Жалко-то как! — Она сморщилась, готовая заплакать.

— Ну, ну... — Старик нежно провел ладонью по русым, гладко причесанным волосам дочери. — Война...

— Да уж очень на Лешку похож! — вздохнула Таня. — Ах как жалко! — повторила она.

## 8

В черном, затянутом тучами небе на большой высоте гудели вражеские бомбардировщики. Прячась в глубине русского неба, эти воздушные волки шли на ночной разбой. Далеко внизу под ними лежали поля, леса, реки и села с трудными для немецких штурманов названиями. Внизу была непроглядная тьма.

В этой тьме притаился заповедный лес с его прихотливо изгибающейся речушкой, с затемненными домиками, с кордонами, большей частью уже опустевшими и с прямой, как линейка, железной дорогой, пересекающей его в северной стороне.

Наташа давно спала, а Степан все ворочался. Слушал, как с прерывистым, то затихающим то нарастающим приглушенным гулом идут бомбардировщики; снова — в который раз! — вспоминал то страшное, что видел в городе. Сон не шел к нему. Он встал, сбился, закурил и, прикрывая папироску ладонью, вышел на крыльцо,

Самолеты уже пролетели над лесом, и по тому, в какой стороне слышался их гул, Степан понял, что они приближаются к железнодорожной станции.

Далеко, у железной дороги, грохнули могучие взрывы. Земля толкнула в пятки, жалобно задребезжали стекла. Где-то испуганным басом заревела корова. Тревожно и зло, как на волка, визжа железным кольцом по проволоке рыскала, возле склада забрехала собака.

Бомбежка станции продолжалась минут двадцать. Раза два — то правее, то левее — вспыхивали голубые ракеты.

Степан сидел на крылечке и, пряча папиросу в рукав, курил. Все эти дни, с тех пор как враг перевалил через границу области, тревога не давала ему покоя. То, что он увидел в городе, заставило его еще больше и напряженнее думать: что же, в самом деле, будет, если война придет и сюда, в этот мирный, с детства знакомый лес? Как может случиться, что те шестьсот с лишним оленей, которые за каких-нибудь пятнадцать лет развелись на его глазах и которых он так ревниво оберегал, станут достоянием равнодушных и безжалостных победителей?

Он вспомнил давешнего оленя, злобный лай одичавших собак и подумал: как собакам было безразлично, каких трудов стоило вырастить красавца-оленя, так и немецкие солдаты, наплевав на все его, Степановы, заботы и труды, будут со смехом и дурацкими шутками охотиться на смирных, привыкших к людям оленей и, прочесывая квартал за кварталом, уничтожать их.

После разговора с Ершовым ему полегчало. Как, в самом деле, он не знал, что ему делать? И как мог этот легко пройти мимо него тот разговор в райкоме, о котором давеча упоминал Александр Ильич? Речь шла о подготовке места для расположения будущего партизанского отряда.

Тяжело дышащий, с астматической хрипотцой в голосе, секретарь райкома Волохов ясно представился Степану. «На вас вся надежда, товарищи, — говорил он, — дело не шуточное... Базироваться будем в лесу, конечно... А тут уж кому, как не вам, и карты в руки!»

В этих немногих словах секретаря райкома было все: и план действий, и указание, и приказ. Как же надо всем этим Степан до сих пор не задумывался всерьез? Неужто испытанное недавно в городе так потрясло его, что у него и разум отнялся? Сильный мужик, один из самых первых по заповеднику волчатников, стрелок без промаха — да растерялся? Эх, Степа, Степа!..

Самолеты ушли, в лесу стояла напряженная тишина. Далеко над лесом дрожало, то разгораясь, то затухая, неяркое зарево. Возле амбара завyla собака.

— Черт бы тебя побрал! — выругался Степан. — И без тебя тошно, Он зямля пальцами папироску и пошел в избу.

## 9

Утром, часов в семь, все население усадьбы потянулось к дому управления. Пока стояла сухая погода, надо было в самый малый срок управиться с уборкой огорода.

Первым с дальнего, Волчьего, кордона пришел егерь Тимоша — маленький, с седоватой рыжинкой, веснушчатый, неопределенных лет человек. Его землистое, сухонькое лицо с клочковатой, точно ошипанной, бородачкой было изрезано глубокими морщинами; водянистые глаза глядели тупо и безразлично. Он ни с кем и никогда не сближался, жил одиноко, сам по себе.

Тимоша и так был неказист, беловатый же рваный шрам от верхней губы к уху, который постоянно кривил одну сторону лица нелепой ухмылкой, делал его еще дурнее. За этот шрам и главное потому, что Тимошу не любили, ему сразу, как он появился в заповеднике, дали прозвище Дранный, и оно крепко-накрепко присохло к нему. И то ли за ничтожный рост, то ли показывая этим свое презрение, все, несмотря на его седину, называли егеря Тимошей, и, пожалуй, кроме заведующего отделом кадров, никто и не знал, как же его величают по отчеству,

Стояла та отличная пора сентября, которую в народе издавна называют бабьим летом. В тени еще веяло ночным холодком, но поднявшееся из-за верхушек деревьев солнце уже пригревало спину. На стеблях порыжевшей травы сверкала роса. Помаленьку обсыхая, стали лениво попрыгивать редкие кузнечики. В густой черноте соснового питомника, перелетая с места на место, отчаянно горланила ворона.

— Ну осень нынче! — сказал, подходя и здороваясь, Галкин. — Прямо как на заказ!

— Осень-то хороша, — согласился Тимоша, — да вот как, парень, зимовать будем?

— Да уж перезимуем как ни то...

— А дасть? — подмигнул Тимоша.

— Кто даст? — не понял Степан.

— Кто, кто! — передразнил Тимоша. — Хозяин, вот кто!

— Это ты немца, что ли, хозяином величаешь? — насмешливо спросил стоявший в дверях управления Потехин.

— Да как же не хозяин: прет дуrom, считай пол-Росси подмял! Вон наемни возле Шиханов на окопников листки сбросил, так там что! Вся его расписания! Когда, говорит, в Сталинграде буду, когда в Борисоглебске, когда где... Значит силу имеет, ежели такую расписанию составил!

— Сила, кто говорит, — сказал Потехин. — Да ведь сказано: душенька — прыг, а ноженьки — брык!

Тимоша усмехнулся и покачал головой.

Послышался грохот проехавшей по бревенчатому мосту телеги. Вскоре среди частокоса соснового молодняка замелькала белая лошадь, и к егерям лихо, бочком сидя на дрожках, подкатил плотный, заросший до глаз белой бородой краснолицый старик. Он был босиком, в старых солдатских штанах. На рваной телогрейке приколотый булавкой сверкал Георгиевский крест.

— Здорово, егеря! — крикнул он, заворачивая лошадь к конюшне.

Легко соскочив с дрожек, старик ловко и быстро отпряг мерина, завел его в конюшню и, вытирая пучком сена запачканные дегтем руки, подошел к наблюдателям.

— Ну, ребята, — поочередно поздоровавшись со всеми за руку, сказал старик, — что расскажу, прямо — ах!

— А ты, Леонтий Иванович, видать, нынче у Клашкиной заутрени уже успел причаститься! — потянув носом, неодобрительно заметил Потехин. — Эх от тебя винищем-то!

Леонтий изумленно хлопнул руками по ляжкам.

— Верно! — захохотал он. — Ах, Максим, вот, лихоманка, унюхал! Ну башка! Министр!

— Леонтий Иванович, — сказал Степан, — ты чего-то рассказать грозился.

— Да ведь я было хотел, а он — вот тебе! — Леонтий указал на Потехина. — У Клашкиной заутрени! — прыснул он. — Ну Максим! Гореть тебе, парень, на том свете! Провалиться на этом месте, гореть! Так вот дело-то какое, ребята, — становясь вдруг серьезным, сказал старик. — Немец-то нынче ночью на шиханских лугах десан сбросил...

— Ну, пошел! — безнадежно махнул рукой Потехин.

— Крест святой! — перекрестился Леонтий. — Давеча в лесу шиханских бабенок встрел, пошли по грибы, но опасаются...

— Да чего ж опасаться-то? — спросил Галкин.

— А вот ты слухай сюда. Чуть развиднаться стало — десан сбросил, восемь человек. А ведь там — возле шиханского моста — охрана, солдаты, саперы там эти... И, будь здоров, по тревоге — все на ноги, а которые еще и шиханские мужики помогнули ловить, значит, десанщиков этих...

— Поймали? — живо спросил Тимоша.

— Так вот ты и слухай! Семерых, говорят, десанщиков взяли, а один отстрелялся, ушел, как сквозь землю провалился! Ну, саперы эти, значит,



как ни искали — ни грамма не нашли! Вот они, бабенки-то, и опасаются, — закончил Леонтий. — Где-нигде, а видать, в нашем лесу хоронится, вражина!

— Я считаю: брехня! — сказал Тимоша. — Листовки, точно, с еропланов кидают, а людей — брехня!

— Умник! — усмехнулся Потехин. — Все рассудил, обо всем позаботился! Наверное, тебе эти ихние листовки очень понравились, что ты все об них поминаешь?

— Да я что! — закричал Тимоша. — Что ты ко мне привязался? Все я не так, все у меня нехорошо, один ты даже хороший! А кто зимой лесным сеном торговал, — все я?

Готова была вспыхнуть ссора с ее злыми и гадкими словами, когда люди забывают, из-за чего они начали ссориться, а только стараются как можно хуже обидеть и перекричать друг друга. Однако увидев идущего к ним Ершова, спорщики замолчали.

— Что за баталия? — спросил Александр Ильич. — Нуте-ка, заканчивайте диспут, работать надо, солнышко ждать не будет... А, Леонтий Иваныч! И ты, значит, прикатил? Ну, добре, молодец, все чем-нибудь поможешь... Да ты что ж босиком-то?

— Копыта, Александр Ильич, с пару заходят, мозжит, сил нету! Прямо хоть плачь — ревматизма!

Ножки мои, ножки,  
Винца вам иль сапожки? —

вдруг неожиданно, разводя в стороны руками, затоптал Леонтий. — Веди, Ильич, ставь рабочую силу! Живым духом все обделаем! Эскадрон, к бою!

И, приложив к губам руки, старик лихо сыграл боевую тревогу.

— Что ты с ним будешь делать! — засмеялся Александр Ильич. — Ну, пойдем, кавалер, с картошкой сражаться! А ты, Степа, — обернулся он

к Галкину, — ты, брат, в Шиханы отправляйся, без тебя нынче обойдемся. В райкоме Волохову доложи, что мы насчет землянок соображаем. Вот тебе чертежик, захвати с собой, покажи ему. Да насчет этого спроси... — Александр Ильич замаялся. — Ну, ты сам знаешь, про что я говорю. Как они там решили?

## 10

Огородное поле подсобного хозяйства заповедника начиналось сразу за крайними домиками усадьбы. Гектаров пять отлично удобренной супесчаной земли всегда давали хороший урожай.

Работа на огороде шла весело и шумно. Пропахивая картофельное поле, Потехин ровным, спорым шагом мерял за сохой черную свежую борозду.

Управившись со стряпней, пришли Наталья и Таня. Часто-часто перебирая мослаковатыми босыми ногами, Леонтий суетливо бежал за Потехиным. Его большим ногам приятно было ступать по мягкой, прохладной земле, и он даже покрывал от удовольствия. Крупные желтоватые картофелины белесыми глазами выглядывали из бархатного черного развала глубокой борозды. Урожай был отличный, ведра наполнялись поминутно, и Тимоша едва успевал подтаскивать их к большим кучам.

Солнце стояло над головой, когда Александр Ильич достал большие серебряные, с болтавшимся на зеленом шнурке ключиком часы.

— Шабаш! — сказал он. — Давай, ребята, под дубки, чем бог послал... Танюша! Действуй, доченька!

Все уселись вокруг расстеленного на траве брезента, и Тапюша с Натальей стали разливать в миски наваристый, с большими кусками оленины борщ.

— Леонтий Иванович спросил, откуда мясо, и Потехин рассказал ему о вчерашнем происшествии.

— Ишь ты! — удивился Леонтий. — А мне давеча шиханские бабы сказывали, будто собаки эти вчерась ночью у них двух поросят зарезали, да я, признаться, не поверил... Экое дело какое!

Ели молча. В наступившей тишине снова, как и вчера, ясно доносилось приглушенное громыханье орудийной стрельбы.

Часа в четыре Таня с Натальей ходили кормить бобрят. Вернулись они в сопровождении какого-то очень молодого военного. Это был лейтенант, командир того саперного отряда, который работал возле Шиханов.

— Папа! — крикнула Таня. — К тебе!

— Вы тут за старшего? — козырнул лейтенант. — Давайте-ка, папаша, в сторонку, есть два вопроса.

Он рассказал Александру Ильичу об исчезнувшем парашютисте.

— Не исключена возможность, — заключил лейтенант, — что в настоящую минуту этот прохвост прячется где-нибудь в районе вашей усадьбы. Мы, правда, сегодня прочесали все кварталы, но... — лейтенант смущенно пожал плечами, — не мог же он, понимаете, сквозь землю провалиться!

— Коли в болото не затесался, так найдется, — сказал Александр Ильич.

— Да кабы в болото, так туда ему и дорога! Но вы-то в общем поглядывайте. Это вся ваша гвардия? — указывая на работающих стариков, улыбнулся лейтенант.

Александр Ильич вздохнул и развел руками.

— Ну-с, молодой человек, — обратился он к офицеру, — то, что вы мне сейчас доложили, это, надо полагать, первый вопрос. В чем же, позвольте узнать, заключается второй?

Мальчишеское лицо лейтенанта нахмурилось. Поминутно оглядываясь по сторонам, он стал что-то тихо говорить старикку. Александр Ильич время от времени молча кивал головой, видно в чем-то соглашаясь с лейтенантом.

— Но ведь завтра-то это уже перестанет быть тайной! — рассмеялся наконец Александр Ильич.

— Да... Но вы понимаете? Это очень серьезная операция! — громко выпалил лейтенант. — Мало ли, знаете, что — война!

Он козырнул старику, помахал Тане фуражкой и нырнул в густую заросль питомника.

## 11

Вечером Тимоша стал собираться к себе на кордон. Его уговаривали остаться ночевать: «Путь не близкий, добрый десяток километров наберется, куда тебя черт несет!» Но Тимоша сказал, что у него коза останется недоеной, да еще кошку в избе запер: «Нет, спасибо, пойду, да вы не беспокойтесь, утречком буду, как штык!»

Кордон назывался Волчьим, и такое название ему было дано неспроста. Он стоял в глубоком логоу, в котором с давних лет гнездились волчьи логовища. Запоздавший путник, бывало, не поленится подалее обойти дремучий, заваленный буреломом лог, из мрачных зарослей которого на темной, потухающей зорьке доносилось злое и жалобное тьяканье голодных волчат.

Дела давно минувших дней! Молодежь уже больше не боялась Волчьего лога: заповедник неустанно воевал с волками, год от году все дальше вытесняя их из леса. Перевелись волки и в страшном логоу, в него, не боясь, ходили по грибы и ягоды. Осталось одно название. На краю лога поставили кордон, на нем поселился молодой наблюдатель. Это был сын Потехина.

Первая, июньская, мобилизация опустошила заповедник, больше половины егерей и наблюдателей ушли на фронт. Ушел и молодой Потехин.

Вот тогда-то нивесть откуда в заповедник пожаловал Тимоша и попросился в егеря. Война была еще где-то далеко, люди же в огромном лесном хозяйстве были нужны до разрезу. Тимошу приняли на работу и отправили на дальний Волчий кордон.

Тимоша не спеша шел домой. Тропинка вилась по краю огородного поля. Из-за черной стены леса всходила мутновато-красная огромная луна. От невидимой за кустами реки тянуло ночной прохладой. Было тихо, спокойно. Не надо было ни разговаривать, ни отвечать на глупые, назойливые вопросы.

Тимоша не любил никого. Своих товарищей — егерей и наблюдателей — он считал темными дураками и презирал их за то, что они, как он думал, старались и лезли из кожи перед начальством. Больше всего его раздражало их искреннее дурацкое старание, точно заповедник с его богатством — бобрами, оленями, енотами и чернобурками — был их собственным добром.

Когда в прошлогоднюю засуху егерь Курепин на производственном совещании предложил копать в местах бобровых поселений искусственные водоемы, Тимоша даже плюнул: чего человек напрашивается на тяжелую и, как ему представлялось, ненужную работу? И потом, когда Тимоше вместе со всеми пришлось взять в руки лопату и с утра до ночи ворочать, выкапывая эти курепинские прудки, он возненавидел Курепина и, в конце концов, сославшись на грыжу, отказался работать.

Вскоре Курепина и еще других егерей взяли в армию, в заповеднике остались вовсе одни старики, и с водоемами было покончено. Однако Курепина Тимоша никак не мог забыть и с ненавистью вспоминал, как дня три ему пришлось «ишачить» по колено в воде, копая эти дурацкие прудки.

Как-то раз в ту пору Тимоша не выдержал и прямо сказал Курепину:

— Ну чего, шалава, надрываешься? Пряниками, что ли, она, советская власть, тебя кормит?

Он так откровенно сказал это потому, что слышал кое-что о Курепине: тот был из раскулаченной семьи.

Курепин — здоровенный, плечистый, лет тридцати малый, первый гармонист на пиханской улице — поглядел сверху вниз на Тимошу и, прищурился, усмехнулся:

— Вон, брат, ты, оказывается, какой голосистый! А ну, как я пойду да доложу куда надо об таких твоих разговорчиках?

Тимоша побледнел, пробормотал: «Да ты что, парень, и пошутить нельзя!» — но с тех пор стал еще молчаливее и настороженнее.

На самом краю огорода, где были морковные грядки, прямо из-под Тимошиных ног, тяжело шлепая задними лапами, метнулся большой бобер. Неуклюже переваливаясь, он скрылся в кустарнике.

Очевидно, это был один из тех выпущенных на волю бобров, которые разбрелись по берегам, еще не зная, что же им делать и с чего начинать новую, полную трудов и лишений жизнь.

— У, черт! — выругался Тимоша. — Шляются тут, дьяволы, пропасти на вас нету!

## 12

Немецкий парашютист, который, отстреливаясь, ушел от преследовавшего его солдат, был обер-лейтенант Генрих фон Штокк.

Сын мелкого немецкого чиновника, он, еще будучи школьником, приставил к своей фамилии частицу «фон» и вступил в юношескую нацистскую организацию. Дух Нибелунгов проснулся в нем очень рано: семнадцати лет он избил, тяжело ранив, своего одноклассника еврея Штокмана только за то, что этот несчастный Штокман носил фамилию, до неприличия похожую на его собственную.

Его отец — скромный, тихий человек, втайне осуждавший эти «новые германские веяния» и даже озадаченный ими, — попробовал как-то поговорить с сыном и по-отцовски предостеречь юношу от тех губительных последствий, которые может принести ему увлечение этими «новыми веяниями». Он довольно сбивчиво говорил сыну о гуманности, о человеческом достоинстве, о величии прекрасных идеалов Шиллера и Гете.

— Это я тебе, Генрих, говорю как любящий отец, — закончил старый Штокк.

Генрих поглядел на него холодными глазами.

— Мой отец, — торжественно сказал он, — мой отец — это фюрер.

Вскоре Генрих стал членом фашистской партии.

Военная прогулка по отличным дорогам Франции очаровала его. Было очень легко убивать, не подвергаясь риску быть убитым самому. Все было можно, всякое насилие провозглашалось во славу фюрера.

Переброшенный на восточный фронт, Генрих был полон решимости совершить такую же военную прогулку и по России. Русские отступали. И хотя бесконечные эшелоны с ранеными немецкими солдатами несколько озадачивали Генриха, бодрое настроение завоевателя не покидало его, тем более что он все время находился в некоей специальной части и непосредственно под пулями не бывал.

Но вот однажды его вызвали к начальнику, и тот торжественно объявил ему, что он назначен участвовать в довольно ответственной и рискованной операции. Эта операция оказалась тем самым парашютным десантом,



которому пришлось так бесславно закончить свой путь на рыжей колючей стерне шиханских полей.

Едва брезжил рассвет, когда Генрих, споткнувшись и ободрав себе кожу на щеке, неловко приземлился. Он не успел отстегнуть лямки парашюта, как разглядел в серых утренних сумерках бегущих к нему людей. В разных концах поля хлопали выстрелы. Чей-то отчаянный крик донесся до него. Ужаснувшись, он понял, что десант выслежен, что их окружили.

В какой-нибудь сотне метров чернел лес. Стреляя как попало на ходу, Генрих кинулся к лесу. Страх придал ему силы. Сто метров, отделявших его от леса, промелькнули под ногами, только ветер свистел в ушах. Перед ним оказался широкий ручей или болото с неровными, усеянными какими-то белыми палками берегами. Генрих помчался вдоль ручья.

Вдруг он почувствовал, что проваливается в яму. Лежа на дне этой ямы, он увидел в ее узком отверстии тускло светящееся утреннее небо. Яма была просторная, с гладко утрамбованным земляным полом. Что это — землянка, пещера, звериная нора? — он не знал. Ползком он забился в дальний угол ямы и там с радостью нащупал довольно узкий боковой проход. Втиснув в него свое тощее тело, Генрих прислушался: наверху ходили и разговаривали. В специальной части Генриха кое-как, на скорую руку, обучили русскому языку, и из обрывков разговоров наверху он понял, что его ищут и ругают какими-то непонятными, не изученными им словами.

Потом все стихло. И вот тут, когда опасность миновала, Генрих почувствовал сильную боль в щиколотке правой ноги. Он попробовал пошевелить ногой и вскрикнул от боли. Выбравшись кое-как из прохода в яму, он хотел приподняться, но тут же упал: боль была нестерпима. Генрих сел и, прислонившись к холодной земляной стене, заплакал.

Между тем отверстие, сквозь которое он провалился, все светлело да светлело. Наконец оно стало ярко-голубым клочком погожего неба. Этот голубой, такой мирный клочок русского неба пересекала тоненькая веточка с четырьмя оранжевыми кленовыми листьями. Всхлипывая и размазывая по исцарапанной щеке слезы, Генрих глядел на небо. Оно сейчас было такое же голубое и ласковое и над тем городком, в котором он недавно жил, над отцовским домом. Он вспомнил свою чистенькую комнату, опрятный столик, на котором в темно-красной бархатной раме стоял портрет обожаемого фюрера. У подножия портрета, сцепившись хвостом за хобот, на зеленом сукне стола паслись семь слоников. Это было счастье, милое детство со сказкой о Гензеле и Гретеле, с цветными картинками, с пахучими деревянными пеналами, с кроватным ковриком, на котором по узенькому мостику шли розовые немецкие дети и ангел-хранитель оберегал их, глядел, чтобы они не свалились в воду.

А вот он, Генрих, взял да и свалился...

Утомленный бессонной ночью и нервной встряской, он заснул. Его разбудил какой-то шорох. Забыв про свою сломанную ногу, с пистолетом в руке Генрих резко дернулся вперед, и тут же снова свалился от жестокой боли. Однако он успел разглядеть в полумраке темного, пушистого, величиной, как ему показалось, с большую кошку, зверя. Фыркая и неуклюже загребая задними лапами, зверь скрылся в узком проходе. Генриху стало страшно: эта дикая Россия, эти страшные звери, бродящие под землей...

Небо в отверстии стало заметно бледнее. «Вечер», — подумал Генрих и поглядел на часы: было без пятнадцати шесть.

Кое-как подтянувшись на руках, морщась от боли, он осторожно выглянул из ямы. Кругом — ни души. Солнце стояло низко над верхушками деревьев. Блестящая гладь воды была ослепительна.

Дождавшись темноты, Генрих выбрался из своего логова и, охая и скрипя зубами, пополз вдоль ручья. Он даже хотел встретить русских, чтобы сдать в плен: другого выхода не было.

В лесу ревели олени. Была пора их брачного гона, пора жестоких драк.

Дорога шла то поднимаясь в гору, то круто спускаясь в овраг. Лес был полон неясных шорохов: шуршала листва от прошмыгнувшего под ногами мышонка, высоко в чаще ветвей потрескивал сучок под неловко повернувшейся сонной птицей, в заваленной прелыми листьями канаве фыркал еж.

Из оврагов несло сыростью и холодом. От сырости поламывало в суставах, в ногах была напряженная скованность.

Слаб, слаб стал Тимоша, седьмой десяток — не игрушка! Сколько похоже, сколько поношено! Вся жизнь представилась ему такой же, как эта дорога в ночной темноте: с кочки на кочку, с горы на гору — то спотынешься, а то и упадешь...

Вот живет он, как бирюк, на Волчьем кордоне, нехотя справляет свою должность, никто его не любит, никто ему не друг. Последнее дело — имя: Тимоша!

Никто не знает, что никакой он не Тимоша, а Евдоким Тихонич Цветков, что была у него красивая, здоровая жена, и сын Петруша, и дом с мезонином, и хозяйство — полная чаша! В переднем углу, возле иконы, висели два диплома от Губзу за племенную скотину. В двадцать третьем году его быка в Москву на выставку возили, и с выставки был диплом.

Да что дипломы! Художник из губернии презжал к нему — здоровенный такой мужчина в очках, — так он с этого быка картину написал: бычина с кольцом в ноздре, а рядом — сам Евдоким. Вот была слава, вот был почет!

И до великих высот дошел бы он, кабы не тридцатый год! Вспомнилась весна, март, галки орут над колокольней. На дверях потребилковки — список лишенцев, и фамилия Цветкова — в первой строке. И на дипломы, ироды, не поглядели!

В сельсовете день и ночь — дым; накурено: собрание, мужики в колхоз пишутся... А потом, как во сне: сам отдал ключ от амбаров, от лавки, от конюшни. Стоял на крыльце без шапки, глядел, глядел, ничего не понимая. Сашка-комсомолец, сволочь, распорядился. Лошадей вывели из конюшни и повели на новый колхозный двор. Помнит, как орловский чистокровный жеребец, черный без отметины Воронок, залиvisto заржал в воротах и, поднимая Сашку на недоуздке, стал на дыбы. Жена завывала в голос, и он, не зная на ком бы сорвать великое свое горе и злобу, первый раз за всю жизнь жестоко избил ее.

В тот вечер он, никогда не бравший в рот хмельного, напился. Глухой полночью пошел он на колхозный двор. Старичок-конюх спал. Евдоким взял фонарь «летучуюмышь» и среди других лошадей разыскал своего Воронка. Жеребца поставили отдельно: он был драчлив.

— Кось-козь-козь! — вполголоса позвал его Евдоким.

Жеребец, фыркнув, оскалил зубы и, поводя мерцающим от фонаря глазом, оглянулся и тихонько заржал: хозяин!

А тот вошел в закуту, погладил Воронка и, нащупав нежное, вздрагивающее ухо жеребца, приложил к нему в упор наган и выстрелил.

Выстрел был негромок, старичок-конюх не проснулся.

Через полчаса над деревней гудел набат. Охваченная с двух сторон языкастым пламенем, горела колхозная конюшня. А еще через час в избу входили милиционеры. Их вел Сашка. В руках у него был плисовый именной кисет, оброненный впопыхах на поджоге.

Откуда взялись силы тогда! Как отчаянно сопротивлялся Евдоким, отбиваясь от наседавших на него людей! Он кусался, царапался, уж дверь была близка, — еще немного, и он вырвался бы и ушел, непременно ушел бы, да Сашка, проклятый, так ловко сразил его чапельником, что враз помутилось в голове, он упал.

Когда очнулся — все было кончено: связанный по рукам и ногам, он лежал в углу сельсоветовской избы. Ночь шла к рассвету. Догорая красным, косым языком, коптила керосиновая лампа. За столом, возле лампы, упав головой на руки, спал Сашка. Больше в избе никого не было.

«А, сволочь! — оскалился Евдоким. — Ну-ка, господи благослови!» Он попробовал было распутать руки, рванулся на грязных досках пола, но страшная боль резанула его, и он застонал.

Услышав стон, Сашка проснулся.

— Будет прыгать-то, — беззлобно сказал он. — Отпрыгался!

Когда рассвело, битого, но не сломленного Евдокима бросили, как мешок, в розвальни и увезли в район.

Так и очутился нынешний Тимоша, а тогдашний Евдоким Цветков в Сибири, пробыл там четыре года и, не досидев шести лет, сбежал. Где только не носила его окаянная судьба! Стороною узнал, что баба его померла, а Петьку увезли в город — в детдом.

Ну потом, конечно, паспорт чужой и жизнь, полная ненависти и вечной тревоги: не поймали бы...

В лесу ревели олени.

В вечерней тишине далеко разносился их низкий, полный боевого задора и ярости рев. Обычно чуткие и пугливые, ревущие самцы, оглушенные страстью и жаждой боя, близко подпускали человека.

В одном месте, сокращая дорогу в лесной чаще, Тимоша почти столкнулся с оленем. Испугавшись, он громко крикнул на него. Тот не спеша ушел в кусты. Это было уже возле самого кордона. «Вишь, ничего не бояться!» — неодобрительно покачал головой Тимоша. Так же, как людей, он не любил и оленей и считал, что разводить их — пустое баловство, что всю жизнь прежде обходились без оленей, а вот при советской власти они зачем-то понадобились.

Ворча, Тимоша стал отпирать свои мудреные замки. Дверь в избу запиралась так, что чужому человеку открыть ее было невозможно: надо было знать, как ее потянуть на себя, где приподнять, где дернуть за еле заметный колышек на секретной бечевке.

Пока Тимоша возился со своими хитрыми запорками, из густоразросшихся лонухов вышла тощая белая кошка и, ласково мурлыкая, стала тереться о Тимошин сапог. «Вот черт! — удивился Тимоша. — Я же ее, проклятую, в избе запер... Так нет, вылезла!»

И ему тут же пришло в голову, что коли смогла кошка выбраться из запертой избы, так эдак ночью, чего доброго, какой нехороший зверь и в избу залезть ухитрится...

В сарае дурным голосом редела голодная, недоенная коза. Тимоша потихоньку обругал и ее: «Накричишь, шкура, на свою голову!» В лесу снова появились волки, их логово было неподалеку от кордона.

Пододвиг козу, Тимоша уселся на пороге избы. Было время лета немецких бомбардировщиков. И в самом деле, вскоре послышался их гул: высоко в облачном небе самолеты шли к железной дороге. Тимоша знал, что сейчас начнется бомбежка, и только приготовился слушать грозную музыку взрывов, как из чащи осинника, росшего по краю оврага, донесся протяжный стон. Тимоша вздрогнул и насторожился. Стон повторился где-то совсем близко. Под тяжестью чьего-то тела затрещала сухая ветка.

— Стой, стрелять буду! — обезумев от страха, завопил Тимоша.

— Добри шелевек! — раздалось из чащи. — Я есть бросаль своя оружий. Я есть сдавайся.

Через полчаса Генрих фон Штокк лежал на Тимошином топчане. Грязная, засаленная подушка, вонючая овчина брошенного на доски полушубка, тараканы, бегаящие по бревнам стены, — все это было ужасно, но — о, майн готт! — не ужаснее ли было бы сейчас лежать убитым? Приходилось мириться и с вонью и с тараканами, тем более что хозяин избышки оказался не врагом.

Было ли причиной этому отличное погожее утро или ночные размышления помогли побороть тяжелое чувство неуверенности в своей силе, — а скорее всего и то и другое вместе, — только, проснувшись на заре, Степан почувствовал себя другим человеком.

Радость жизни сияла во всем: и в той яркой звездочке, что дольше других сверкает на прозрачной голубизне утреннего неба, и в чистых капельках выпавшей ночью и повисшей на паутине росы, а главное — в нем самом.

Правда, от нелепой ссоры Потехина с Тимошей остался нехороший осадок на душе, но и он быстро развеялся в прозрачной чистоте сентябрьского утра.

Весело пересвистывались птицы, высился умытый росой лес, разодетый в яркую — красную с золотом — листву. В воздухе прочно стоял запах вянувшей травы, грибов и нагретой солнцем древесной коры.

Приглушенно, как вздрогнувшая ночью басовая гитарная струна, изредка доносилось далекое погромыхивание артиллерийских выстрелов.

Лошадь шла не-спеша: шагом по глубокой песчаной колее, легкой рысцей под гору. Всякий раз, как слышалась стрельба, она тревожно шевелила ушами и точно спрашивала: что это?

Возле самих Шиханов, у закрытого шлагбаума, Степану почудилось далекое — но прямо где-то над головой — жужжание самолета. Однако сколько он ни вглядывался в глубокую небесную синеву, так ничего и не увидел.

— Не видать, — сказала старуха, вышедшая из будки поднять шлагбаум, — дюже высоко летит...

— Похоже, наш, — трогая лошадь, отозвался Степан.

— Не, герман! — уверенно сказала старуха. — С утра, нечистая сила, крутится...

И точно в подтверждение ее слов на станции завывла сирена, тревожно закричали паровозные гудки.

«Опытная, видать, бабка! — усмехнулся Степан. — Тонко, шельма, разбирается».

Тревога продолжалась не больше двух-трех минут. Когда Степан проезжал через вокзальную площадь, на ней уже пестрел народ: за базарными столами рассаживались бабы с яблоками, солеными огурцами и плоскими ржаными лепешками. Угрюмые, грязные беженцы толпились возле прилавков. Где-то звонко кричал ребенок. С грохотом пронеслись два грузовика с запыленными солдатами, песня вспыхнула и замерла в отдалении: «Белоруссия родная, Украина золотая»... Человек двадцать ремонтных рабочих — почти все женщины — торопливо чинили развороченный ночной бомбежкой путь.

Миновав привокзальный поселок, Степан въехал в районный центр. Аккуратные деревянные домики с наклеенными крест-накрест на стеклах окон белыми бумажными полосками испуганно поглядывали на Степана из-за палисадников.

На пыльной широкой улице два погонщика — бородатый старик, одетый в длинный брезентовый плащ, с огромным соломенным брылем на голове, и мальчуган в непомерном ватнике — бились с овечьей отарой. Овцы сгрудились в кучу и, топчась на одном месте, ходили по кругу. Старик хлопал длинным кнутом, охрипшим, простуженным голосом кричал: «Ар-ря!», но овцы, поднимая едкую белую пыль, понуро топтались, кашляли и не трогались с места.

— Барана, барана отбей! — советовала старику вышедшая из ворот толстая, вся в черном, похожая на монашку, женщина. — Барана-то, горю, барана...

— Та шо ты причеплясь со своим бараном! — сердито отмахнулся старик. — Хиба я без тебе не розумию, що робить? Ось яка мудра жинка нашла, дывысь, люди добрыє!

«Ему бы на печке лежать, — пожалел старика Степан, — а он, вишь, бьется тут, сердешный, с овцами, гонит их от Гитлера. В эдакую даль забрел от родного села... да уж и от села-то, поди, одни головешки остались».

## 15

У крыльца райкома дожидалась черная, с помятым кузовом секретарская «эмка». Упав головой на баранку, дремал шофер. Несколько крестьянских подвод и верховой оседланный жеребец стояли возле коновязи. Горластые воробьи как ни в чем не бывало попрыгивали под ногами лошадей.

В приемной секретаря молоденькая со смешными, торчащими в стороны, детскими косичками веснушчатая девушка старательно, одним пальцем, выстукивала на машинке.

— У себя? — поздоровавшись с девушкой и указывая на обитую черной клеенкой дверь, спросил Степан.

Девушка, видимо допечатывая слово, стукнула еще два по клавишам, прочитала написанное и только тогда взглянула на Галкина.

— Уезжать хотел, — сказала она, — да вот что-то задержался...

Галкин знал, что Волохов не любит, когда к нему стучатся, поэтому, тихонько приоткрыв дверь, спросил:

— Можно?

Секретарь райкома стоял, низко опустив голову и опершись обеими руками о край письменного стола. Он тяжело дышал, из груди со свистом вырывалось какое-то клокотание. Беззвучный, трудный кашель сотрясал большое, грузное тело Волохова.

— Вот хорошо, — хватая открытым ртом воздух, прохрипел он. — Еще минут пять... и разъехались бы. Садись, — указал он Степану на стул. — Вот черт! — поморщился Волохов. — Ни отсюда, ни оттуда... схватило... никак не отдышусь.

Дрожащими руками он свернул папироску и, жадно затягиваясь, закурил. Неприятный, горьковатый травянистый запах астматолоа поплыл по кабинету.

— Тоже мне курево! — усмехнулся Волохов. — Ну давай, выкладывай, что вы там надумали!

Степан молча положил на стол ершовский чертеж.

— Так, так. Хорошо. Очень дельно, — разглядывая план, улыбнулся Волохов. — Экий замечательный старик, а? Верно, товарищ Галкин?

— Да, замечательный, что и говорить! — живо отозвался Степан. — Но только, я так гляжу, лишнего тут все-таки много, баня там, например, сараев вон сколько, овощехранилище... К чему это, товарищ Волохов? Война ведь, тут на скорую руку надо, а у нас прямо совхоз-гигант какой-то получается!

Волохов затаился несколько раз подряд. Дыхание его заметно стало ровней и чище.

— Совхоз, говоришь? — прищурился он. — Нет, брат Степан Васильич, — так кажется? — старик все правильно сообразил, по-хозяйски. Ты что ж думаешь: партизанская война — трах-бах и в дамки? Нет, дорогой! Это, может, в кино только да в плохих романах так. А на самом деле, товарищ Галкин, война — это прежде всего трудная работа, это, скажем, тяжелые трудовые будни. Тут и сытный обед потребуется, и баня. Есть, конечно, надежда, что не бывать в нашем районе фашисту, но... сам знаешь, — не нами, дедами поговорка сложена: береженого бог бережет. Так что давайте строить! Завтра утречком сам к вам с нужными людьми подъеду — и за топоры! Ясно?

— Ясно, товарищ Волохов! — широко улыбнулся Степан. — Беру свои слова и сомнения обратно!

— Слова бери, а сомнения — выкинь! — засмеялся Волохов. — Все? Договорились?

— Александр Ильич еще насчет оружия велел спросить, — какие будут ваши указания?

— Оружие, — подумав, сказал Волохов, — мы все-таки к вам сейчас переправим: в лесу-то понадежнее будет. Ну будь здоров! — Секретарь, вставая, протянул Степану руку. — Кажется, отошел, пора ехать. Серафим! — закричал он в окошко шоферу. — Заводи, поехали!

## 16

Года два назад один наблюдатель шел по лесу и вдруг спугнул оленуху.

Он оглядел то место, откуда выскочила оленуха, и увидел, что в кустах лежит маленький, только что родившийся олешек. Он был еще слаб, не мог убежать за матерью, так и остался лежать в заросли, свернувшись клубочком. Его золотисто-коричневая спинка была покрыта светлыми крапинками. Сквозь листву светило солнце, и солнечные пятна мешались с крапинами на шкуре олешка так, что наблюдатель его не сразу заметил. Когда же он подошел к олешку, тот неуверенно поднялся на тонкие ножки и расставил их пошире, чтобы не упасть.

Комары летали тучами, нос у олешка был изъеден до крови. Он доверчиво потянулся к человеку и, чтобы спрятаться от комаров, стал подсовывать мокрый нос под его рубаху.

В управлении давно хотели воспитать ручного оленя. И вот наблюдатель взвалил олешка на плечи и понес его на центральную усадьбу.

Найденного олешка назвали Лешкой. Он очень быстро привык к людям и в два с лишним года стал взрослым, красивым оленем. Его все баловали, каждый норовил поднести ему сладкий кусочек, и Лешка, видя от людей одно добро, не только не боялся, но охотно бежал за ними, стоило его только позвать.

Когда осенью сорок второго года его выпустили из загона, он и не подумал уходить в лес и несколько ночей держался возле двора. Один раз он забрел подальше и неожиданно встретил олений табунок. Он хотел было приладиться к оленям, да старый злой самец прогнал его: Лешка был для них чужой. Вскоре он пристал к коровьему стаду. Коровы сначала косились на него, но не прогоняли, а старик-пастух удивлялся, что это за чудной олень, что к коровьему стаду прибился.

Вечером коровы шли домой, в Шиханы. Олень плелся за ними и ночевал в лесу, возле крайних дворов. На станции гудели паровозы, где-то за деревьями, громыхая, шли поезда, но Лешка ничего этого не боялся. И когда с рассветом пастух, созывая коров, играл на рожке, Лешка был уже тут как тут и снова весь день ходил за стадом.

Но однажды ночью, когда он бродил возле поселка, раздался страшный гром и задрожала земля. Небо то и дело озарялось голубым ярким светом, и там, наверху, что-то очень страшно грохотало. Не разбирая дороги, Лешка помчался прочь от станции, и уже с тех пор не ходил с коровами. Людей он по-прежнему не боялся, но все-таки стал остерегаться.

Между тем лес становился все пестрее, по утрам земля была серебряная от первых осенних заморозков, с легким шумом осыпалась листва.

В один из вечеров Лешка услышал далекий грозный рев. Он различил в нем и злобу и призыв. Лешка замер, прислушиваясь. Вскоре рев повторился. Какая-то горячая волна прошла по всему Лешкиному телу, зашумело в ушах, и, повинуясь далекому грозному призыву, он заревел и с налитыми кровью глазами пошел напролом.

## 17

На старом гниющем пне, недалеко от дикой яблони, лежал солонец — глыба соли килограммов на пять.

В осиновой порубке еще была ясная вечерняя заря, а между серыми стволами соснового бора — темная ночь.

В этот вечерний час, час потухающей зари, начиналась лесная жизнь. Она начиналась с промелькнувшего над головой козодоя, с легкого треска сучка под лапой лисицы, с отчаянного писка мышонка.

В рыжеватом зареве поднялась над бором луна, и мелкими медными блеснами засверкала на пне соль.

Возле пенька заиграли зайцы — и все у пенька да у пенька, пока один не насторожился и не прыснул в лес. Тогда и остальные зайцы послушали и тоже убежали.

К пеньку подошла лиса и, приподнявшись на задние лапы, стала лизать соль.

Тут опять запищал давешний мышонок, и лиса было кинулась на писк, да в лесной чаще вдруг сильно затрещали сучья, и, позабыв про мышонка, лиса так повела хвостом, что на земле зашелестели опавшие листья.

Из густого осинника на поляну вышли олени. Три оленухи и два теленка пошли лизать соль, а самец стал чесаться о ствол дикой яблони. С яблони посыпались перезревшие, тронутые морозом яблоки.

Оленухи и телята поели опавших яблок и легли под яблоней, а самец, начесавшись, отошел в сторону и заревел. Грозный и дикий рев далеко прокатился по лесу, и эхо откликнулось не сразу. Олень ревел и бил копытом о гнилой пень. Тучей летели перемешанные с желтыми листьями гнилушки и шапки мелких опенок.

Наконец издалека донесся ответный рев. Он повторялся через небольшие промежутки времени и с каждым разом все ближе. Вскоре с той стороны, где ревел другой олень, послышался треск ломаемых веток и, громко дыша и всхрапывая, на поляну вышел Лешка.

Не останавливаясь и не переводя дыхания, он сразу кинулся на старого самца. Вот тут-то и сказала Лешкина молодость, а главное, неопытность. Он тратил много сил и плохо следил за противником. От первого же удара старый увернулся, и Лешка, стремительно проскочив мимо него, чуть не упал. Он растерялся и едва успел обернуться, как встретился глаз к глазу со старым. С треском сошлись рога бойцов, и, спутавшись ветвистыми рогами, олени закружились по поляне. Они мотали головами и топтались на одном месте, уходя по самые бабки в землю.

Как-то, изловчившись, Лешка потеснил старика, и старик попятился назад, но когда Лешка усилил натиск, тот вдруг неожиданно высвободил свои рога и отскочил. Лешка снова, не удержавшись, сунулся вперед и в ту же секунду получил такой удар в бок, что отлетел на несколько шагов в сторону.

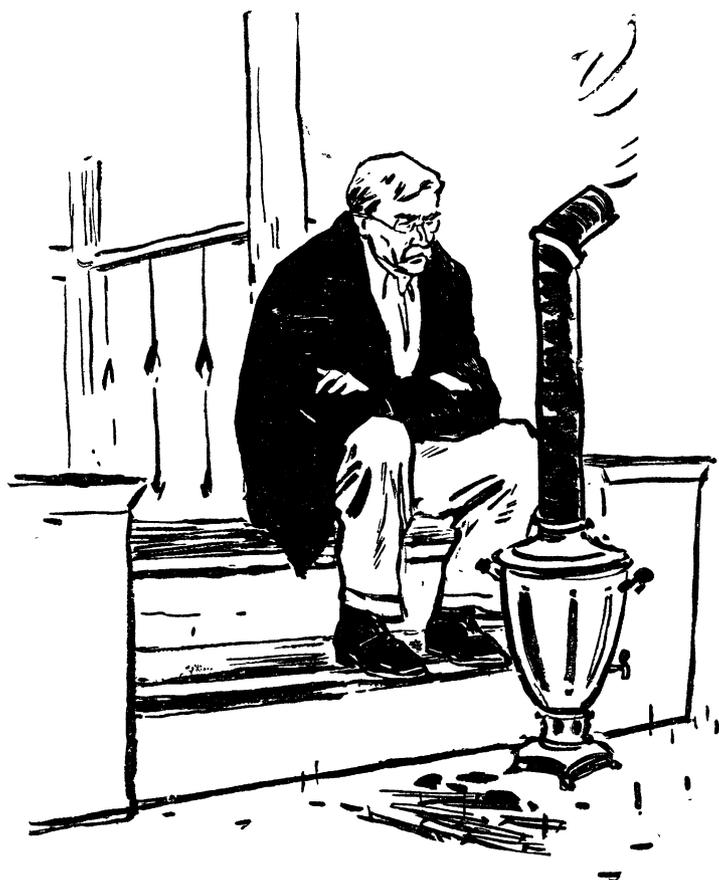
Это был очень опасный для Лешки момент, и, не удержись он на ногах, старик распорол бы ему брюхо. Однако в Лешкиных ногах уже не было прежней твердости, дыхание ырывалось со свистом, перед глазами замелькали красноватые искорки. Изнеженный людскими заботами, привыкший к тихой, ленивой жизни в своем загоне, Лешка стал выдыхаться. И, точно почувяв его усталость, старик ожесточенно кинулся на него. Лешка не успел увернуться, и острый конец рога распорол кожу на его плече. Не замечая боли, он снова рванулся было в битву, но снова получил здоровенный толчок. Удар за ударом сыпались на него, и он уже не в силах был ни уворачиваться от них, ни отражать. Он жалобно заревел и, круто повернувшись, со всех ног бросился бежать.

Луна задернулась облачком, в лесу сделалось темно. Старый олень не стал преследовать Лешку. Он встряхнулся, фыркнул и не спеша пошел в чащу. Оленухи и телята поднялись и потянулись за ним.

## 18

К утру погода стала меняться. Перед рассветом прошумел дождь.

Александр Ильич еще сквозь сон услышал его ровный шепот. Тихонько, чтобы не разбудить Таню, он оделся, зажег лампочку и поглядел на барометр: стрелка клонилась книзу.



Александр Ильич покачал головой: плохо, не вовремя, — огород еще и наполовину не убран. Осторожно, стараясь не загреметь, Александр Ильич взял ведро и пошел за водой для самовара.

Небо заметно побледнело, дождь перестал, однако низкие облака были еще очень плотны, и лишь на востоке, пробиваясь сквозь тучи, чуть розовела тоненькая полоска зари.

Самовар ставили возле крылечка. Сидя на ступеньках, Александр Ильич подкладывал в него сухие сосновые шишки, покуривал. Из трубы острым жалом вырывалось, гудя, желтовато-красное пламя.

Тоненькая полоска зари стала шире. Над соснами в рваных тучах кое-где показались клочки робкой утренней голубизны.

«Может, еще и разгуляется, — подумал Александр Ильич, — денька два — и управимся. Задала нам работы эта эвакуация!».

Вместе с приказом об эвакуации пришел приказ и об уничтожении фермы. Бобры были выпущены, а вернее сказать, выгнаны из вольер на волю, и им, привыкшим к человеческой заботе и постоянной помощи, пришлось жить и устраиваться так же, как жили и устраивались густо населявшие ручьи и речки их дикие родичи.

И если о бобрах сказать, как говорят о людях, то состояние, в котором они оказались, можно было бы назвать одним словом: растерянность.

Они не знали, что им делать, и хотя с того дня, как их сделали вольными зверями, прошло уже две недели, большая часть бобров все ютилась возле своих вольерных сеток, никуда не уходя и ничего не предпринимая.

Не за горами была зима, надо было вырыть норы и запастись кормом, как это делали дикие бобры. Время шло, покраснела и стала, трепеща, опадать осина,

а бобры все бродили в прибрежных камышах, кормясь и ложась на дневку где попало.

— Ох, как бы не пропали, черти! — глядя на их непутевую жизнь, вздыхал Александр Ильич. — Привыкли нахлебничать, а как морозы хватят, то — шабаш! Ну да ладно, — успокаивал он себя, — как-нибудь попривыкнут, инстинкт не подведет. Нам бы вот ребятишек уберечь!

«Ребятишки», о которых беспокоился Александр Ильич, были маленькие, в возрасте четырех-пяти месяцев, бобрята. Отнятые от родителей, они жили в чистеньком бревенчатом домике возле самой реки. Этот домик был новой опытной фермой, его называли «бобриными яслями». Создание этих яслей было идеей Александра Ильича, его детищем, мечтой всей его жизни. Он ставил себе задачей разводить бобров на ферме, как любых животных, то есть сделать их совсем домашними.

Смелость этой идеи поразила зоологов: ученые сомневались в том, что нелюдимых, живущих в одиночку бобров можно заставить жить стадом.

Наконец весной сорокового года был выстроен дом и огорожен участок реки. Малышей отделили от взрослых при отлове и разместили в маленьких деревянных клетках. На специальной кухне стали готовить для них обед. Некоторых приходилось поить молоком, как детей, из бутылочки с резиновой соской.

Но вот, когда бобрята подросли, их выпустили из клеток на просторную, спускающуюся к реке площадку. Десятка три малышей очутились в одном стаде.

Обычно бобровые семьи живут каждая сама по себе, а если, бывает, в бобровое поселение приходит чужой, то его прогоняют.

А эти стали играть друг с другом, не разбирая, где свой, а где чужой. Их кормили из металлических мисочек, и как только раздавался звон посуды, бобрята просыпались и бежали обедать.

Они становились совсем домашними, каждого из них можно было взять на руки и погладить. Опыт Александра Ильича удался, его «ясли» были первыми в мире.

Однако то, что бобрята привыкли жить вместе, в стаде, еще было далеко не все, к чему стремился Александр Ильич. Это еще полдела. Конечной целью опыта ему представлялось получение приплода от одомашненных, ручных бобров. Но для этого требовалось время.

Летом сорок первого года, перед самой войной, в яслях поселились новые крошечные жильцы. На помощь Александру Ильичу пришла Таня. Она окончила школу и собиралась поступать в институт пушнины. Война поломала ее планы. Однако как ни уговаривал ее Александр Ильич, она наотрез отказалась эвакуироваться и осталась с отцом выхаживать своих пушистых питомцев, оберегать их крошечные жизни, а коли потребуется, так и защищать их с оружием в руках.

Трудно сказать, на какое оружие рассчитывала Таня. Александр же Ильич, говоря об оружии, подразумевал, конечно, ту старенькую тульскую двустволку, которая висела на коврике над его узенькой железной кроватью.

## 19

Когда самовар закипел, было уже совсем светло. Голубизны в небе все прибавлялось. С деревьев шлепали на землю тяжелые дождевые капли. И хотя еще над верхушками сосен испуганным стадом неслись рваные, грязные облака, — по веселой переключке петухов, по всей начавшейся в лесу птичьей возне было понятно, что день распогодился.

Проснулась Таня. Она вышла на крылечко заспанная, с отпечатком подушечного кружева на щеке. На ходу поцеловав колючую щеку отца, что-то напевая, она побежала к реке умываться.

— Чай да сахар! — сказал, подходя к крылечку, Галкин. — Рановато чаевать сели!

— Привычка! — развел руками Александр Ильич. — Есю жизнь еще черти на кулачки не дерутся, а я уже самовар настраиваю. Садись-ка за компанию.

За чаем Степан рассказал Александру Ильичу о вчерашней поездке в Шиханы.

— Так... — Барабания пальцами по столу, старик задумался. — Говоришь, нынче Волохов собирался нагрянуть? Да, история! Я, признаться, думал, что еще денька три-четыре в нашем распоряжении. Ну, ничего не поделаешь, — вздохнул он, — придется выкручиваться.

— Да вы об чем? — спросил Степан.

— Да все об огороде, будь он не ладен! Придется, видно, тебя с огорода снимать.

— Меня? — удивился Степан. — Да я-то тут при чем?

— А при том, дорогой товарищ, — Александр Ильич строго поглядел на Галкина, — при том, что кто-то строительством руководить должен? Должен! А кроме тебя — некому. Понятно?

— Вроде прораба, стало быть? — улыбнулся Степан.

— Вот именно! — кивнул головой Александр Ильич. — Только не вроде, а настоящим прорабом пойдешь... Э! — глядя на дорогу, воскликнул он. — Вот гость дорогой!

По дороге, прихрамывая, шел Лешка. Подойдя к крыльцу, он доверчиво положил голову на перила и, слегка посапывая, потянулся к столу.

— Ты что? — спросил Александр Ильич. — Все к дому жмешься? Эге! Где же это тебя так разрисовали?

— Попал в перелдку! — подмигнул Галкин. — Догулялся!

Лешкино плечо было в крови. По краям раны она загустела и стала черной, но самая середина, величиной с палец, была живое мясо, над ко-

торым вились зеленоватые мухи. Подрагивая мускулом плеча, Лешка отгонял их, но они не отставали.

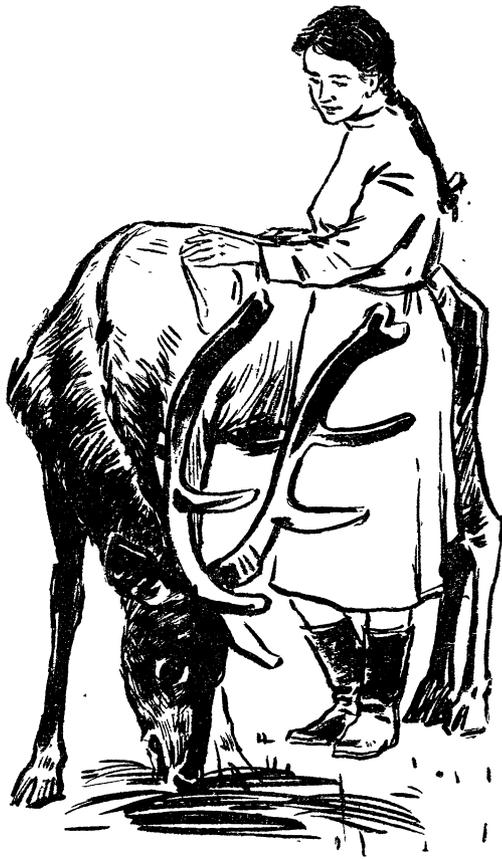
— Вояка! — усмехнулся Александр Ильич. — Понюхал, брат, как оно без людей-то? Танюша! — позвал он возвращавшуюся с реки дочь. — Глянь, детка, как Лешку-то разделали! Давай принимайся, залечивай. А я на огород пошел, а то моя гвардия без командира. Пошли, что ли, Степа!

Таня принесла воды и стала обмывать Лешкину рану.

— Дурачок ты, дурачок! — ласково приговаривала она. — Жил бы у нас, ничего бы с тобой не случилось...

И хотя Лешка был большим, взрослым оленем с огромными ветвистыми рогами, Таня все представляла себе его тем маленьким смешным оленешком, который так, кажется, еще недавно дурашливо скакал по двору управления и страшно боялся жившего у Александра Ильича ручного лисенка.

Люди баловали Лешку, Лешке дозволялось все. Так, он, напри-



мер, свободно заходил в управление, где беспрепятственно слонялся из комнаты в комнату.

— А! — весело встречали его. — Лешка пришел!

Однажды он забрел в кабинет Александра Ильича. Тот мельком взглянул на него и продолжал работать. Увлечшись, он и не заметил, как Лешка подошел к другому столу, на котором обычно работал студент-практикант. Студента в это время не было, он пошел обедать.

Какое-то время в комнате было тихо: Лешка не торопясь стаскивал со стола студентовы бумаги и сосредоточенно жевал их. Наконец бумаги ему надоели. Он взгромоздился передними ногами на стол и опрокинул чернильницу. Чернильница с грохотом упала на пол. Александр Ильич оглянулся и ахнул: стол был залит фиолетовыми чернилами, бумаги разбросаны по полу, а сам Лешка как ни в чем не бывало стоял на столе и весело поглядывал на Александра Ильича, точно говоря: вот какой я молодец и как у меня все это здорово получилось!

Все это вспомнила Таня, перевязывая Лешкино плечо.

Лешка мотал головой и беспокойно топтался. Таня ласково уговаривала его. Приложив свинцовые примочки и заклеив рану полосками пластыря, она отвела Лешку на конюшню. Там было темно и прохладно.

— Тут к тебе мухи поменьше приставать будут, — сказала Таня.

Выйдя из конюшни, она прислушалась. «Хлоп! Хлоп!» — четко отбивали подошвы сапог по утопанной дороге. Идут солдаты?

— Подравняйся! — раздался молодой, почти мальчишеский голос, и через минуту между деревьями показались автоматчики. Их вел вчерашний лейтенант.

Когда солдаты поравнялись с домом управления, лейтенант начальнически крикнул:

— Стой!

«Хлоп! Хлоп!» — отбили подошвы. Солдаты остановились.

— Располагайтесь, ребята! — совсем другим — простым, домашним — голосом сказал лейтенант и, увидев Таню, как и вчера, помахал ей фуражкой.

— Здравствуйте, девушка! — сказал он, подходя к ней. — Как бы мне вашего папашу повидать?

— Здравствуйте, юноша! — насмешливо улыбнулась Таня. — Между прочим, меня зовут Татьяной, если, конечно, это вас устраивает...

Лейтенант покраснел.

— Лейтенант Сергей Голубцов! — взяв под козырек, представился он. — Извините, раньше не догадался! — Он весело засмеялся. — Так как же, Таня, насчет папаша? Мы, знаете, с ребятами к вам в музей на экскурсию пришли. Просим поспособствовать!

— Ну что ж, — сказала Таня, — папа будет очень рад. Пойдемте к нему, он на огороде.

## 20

Однако на огороде Александра Ильича не оказалось.

Едва они со Степаном подошли к управлению, как послышался шум моторов, автомобильные сигналы, разудалая песня — и из лесу выехали три грузовика. Два из них были нагружены тесом, в третьем сидели люди.

— Принимайте гостей, товарищи! — спрыгивая на ходу, весело закричал немолодой, худощавый человек в очках, с висячими запорожскими усами. Все болталось на его тощем теле: болталась коричневая ватная телогрейка, болтались кирзовые, с широченными голенищами сапоги, очки — и те, казалось, подпрыгивали на его горбатом, хрящеватом носу. Это был директор пиханской школы, отличный биолог, так хорошо поставивший у себя преподавание биологии, что в пиханскую школу приезжали учителя со всех концов России, чтобы, как они сами говорили, «уму-разуму поучиться».

Приехавшие обступили Александра Ильича. Большею частью это оказались знакомые люди: бухгалтер райпотребсоюза, два бригадира из колхоза

«Путь Ленина», несколько рабочих из шиханского депо и наконец колхозный пастух Мухачез, старик, чрезвычайно гордившийся своим сходством с Карлом Марксом.

— Добро пожаловать, добро пожаловать! — пожимая приехавшим руки, говорил Александр Ильич. — Таким гостям всегда рады!

— Ну, рады не рады, а принимай! — с трудом вылезая из кабинки, весело рассмеялся Волохов, но тут же закашлялся, махнул рукой и стал заворачивать астматоловую папирску.

На десятиминутном совещании был намечен план действий. Грузовики отправлялись обратно, потому что по тем тропинкам, что вели к Афонину Ключу, они все равно не прошли бы. Тес решили подвозить на лошадях. Маловато оказалось землекопов. Конечно, можно было бы позвать колхозников, но всюду кипела уборка картофеля и свеклы и отрывать от этого людей не хотелось, да и не каждому можно было доверить место партизанского убежища.

Тес быстро разгрузили. Под ним оказались длинные, тяжелые зеленые ящики.

— Ого! — восхищенно крикнул Александр Ильич. — Вот это арсенал!

— Не в игрушки играть собираемся, — вздохнул Волохов. — Эх, брат, какой у тебя тут дух легкий!

Он жадно вдыхал свежий смолистый запах осеннего леса.

— Пожить бы хоть с недельку в этой благодати.

— Вон вы о чем! — засмеялся Александр Ильич. — Ну, это удовольствие вам, кажется, скоро будет предоставлено... в партизанском отряде!

— А что? Ей-ей, вот погляди, в два счета пройдет моя хрипучка!

Вошел Галкин и доложил, что тес погружен на телеги, можно отправляться.

— Вы-то не поедете с нами? — спросил он Волохова.

— Обязательно поеду, — сказал тот, — вот только отдышусь маленько...

Да еще одно дельце уточнить надо.

Волохов вынул из кармана гимнастерки и развернул листок ватмана с ершовским планом.

— Все хорошо, со всем согласен, — обратился он к Александру Ильичу, — но у меня, старик, возникла одна идея. Вот тут, — он взял карандаш и аккуратно поставил точку на чертеже рядом с квадратиком бани, — тут, мне думается, еще один объект поставить надо... Строить, так строить!

«Ну, — с досадой махнул рукой Степан, — гигант разрастается, удержу нет!»

— Так, значит, мы ждем, — берясь за ручку двери, сказал он.

— Давай, давай! — рассеянно бросил Волохов.

Степан потихоньку вышел в сени. Уже во дворе он услышал раскатистый хохот Александра Ильича.

— Удружил! — кричал старик. — Вот за это, товарищ Волохов, спасибо!

Вскоре из ворот усадьбы по направлению к Афонину Ключу потянулись подводы. Впереди шли Волохов и Галкин. Размахивая своей неизменной травяной папирской, Волохов что-то объяснял Степану.

А в дверях управления стоял Александр Ильич. Улыбаясь, глядел он вслед удаляющимся подводам. Чистая, радостная слезинка, сорвавшись с ресницы, поползла по морщинистой, загорелой щеке. Александр Ильич вынул платок и смахнул слезинку.

— Просто гениально! — сказал он вслух. — Да как же мне-то, старому ослу, эта мысль в голову не пришла?

## 21

Бойцов пришлось разделить на две группы: всем сразу было бы очень тесно.

В музее стояла тишина. В стеклянных шкафах виднелось множество чучел зверей и птиц.

— Вот, — сказал один боец, — как тихо! Даже и непохоже, что в тридцати километрах война!

Бойцы ходили, негромко, как всегда в музеях, переговариваясь между собой. Александр Ильич сиял: за последние полгода это была первая экскурсия.

— Товарищи! — позвал он. — Давайте сюда, ко мне. Я хочу вам рассказать, как создавался наш заповедник.

И он рассказал бойцам, что много лет назад, еще в прошлом веке, шиханские леса принадлежали одной из великих княгинь.

Огромный участок леса она велела огородить проволочной сеткой, и туда были выпущены десятка полтора европейских оленей, чернобурые лисы, еноты и другие звери.

Княгине очень хотелось развести бобров. За большие деньги княгиня выписала бобров из Польши, их выпустили в реку. Однако весной Шиханка разлилась, как никогда, половодье разрушило сетку, и бобры ушли из зверинца.

После Октябрьской революции лес был объявлен заповедником.

— Так что, дорогие товарищи, — улыбаясь, закончил Александр Ильич, — заповедник наш, знаете ли, княжеских кровей, не как-нибудь!

Кто-то из солдат, указывая на звериные чучела, спросил:

— Неужели все эти звери живут в вашем заповеднике?

— А как же! — воскликнул Александр Ильич. — Все! Но самые замечательные у нас — бобры и олени. Знаете, какая это ценность для государства? Золото! Валюта! Вот поглядите, какие мастера!

Он подвел бойцов к огромной витрине, за стеклом которой стояли срезанные бобрами на конус осиновые пни, стволы деревьев и тонкие осиновые стружки.

— А это что за стружки? — спросил лейтенант.

— Это, дорогой товарищ, бобры себе на подстилку строгают, вот ведь как у нас! — И Александр Ильич так самодовольно поглядел на солдат, точно он сам нагрыз эти стружки.

— Вот дровосеки! — восхищенно сказал тот боец, что удивлялся музейной тишине. — Занятные зверюги, жалко, что в наших краях они не водятся.

— А ты откуда? — спросил его товарищ.

— Я из Саратовской области. Там, брат, у нас все больше степь и особого зверья нету, но вот этих бродяг — хоть отбавляй!

И он стукнул ногтем по стеклу, за которым, оскалась, сидел рыжеватый степной волк.

— Ну, это не диковина! — сказал пожилой солдат с усами соломенного цвета. — Волк, он везде бывает. У нас в Сибири их тоже полно, — нестоящий зверь и вредный. А вот это, — он указал на куницу, — мал золотник, да дорог!

— Нравится? — спросил саратовец.

— Мало сказать — нравится, — ответил сибиряк, — когда я даже спец по этому зверю. У нас все село, почитай, охотники. Мы зимой на целые месяцы в тайгу за пушниной ходим.

Возле большого чучела оленя, отбивающегося от волка, собралась кучка солдат. Они спорили: одолеет его волк или не одолеет?

— Нет, не одолеет! — сказал молодой, чернявый солдат с широким улыбающимся лицом. — У нас на севере тоже олени, только наши другие, наши маленько покосматей. Олень-рогач, знаешь, как дерется? И рогами, и ногами — беда как дерется!

Бойцов было очень много, и собрались они из разных концов советской земли. И каждый, глядя на знакомых зверей и птиц, радостно вспоминал свою родину, говорил о ней, мысленно переносясь в свои родные места.

— Очень интересный музей! — искоса поглядев на Таню, вздохнул лейтенант. — Вот закончим войну, приеду сюда, тогда разгляжу все по-настоя-

щему... Ну, спасибо вам, товарищ начальник! — пожимая Александру Ильичу руку, сказал он.

— Одну минутку! — остановил его саратовец. — Я хочу спросить: а что, когда мы погоним фашистов на запад, будут у нас на пути еще заповедники?

— Обязательно! — воскликнул Александр Ильич. — Очень даже будут! Например, Беловежская Пуца в Белоруссии...

— В Белоруссии? — оживленно переспросил голубоглазый солдат. — Так я же сам, товарищи, из-под Минска! Обязательно побываем, раз в Белоруссии!

В это время в дверях показался боец из второй, оставшейся во дворе, группы.

— Ну, вы скоро? — спросил он. — Ребятам ждать надоело.

— Да поди ты со своими ребятами! — отмахнулся саратовец. — У меня товарищи, есть предложение: записать в музейную книгу...

— Правильно! Правильно! — шумно поддержали солдаты.

Таня принесла книгу записей.

— Пиши, лейтенант! — сказал саратовец.

Лейтенант подумал и написал:

«Группе бойцов энской части очень понравился музей заповедника, и они считают, что только советские люди могут так беречь и улучшать природу».

Он прочитал написанное солдатам и спросил:

— Правильно?

— Правильно-то правильно, — сказал саратовец, — но только минуточку...

Он взял у лейтенанта перо и приписал:

«И бойцы энской части клянутся, что они прогонят фашистских волков из пределов нашей прекрасной советской Родины и с победой дойдут до Берлина. Да здравствует наша Родина!»

## 22

То, о чем юный лейтенант под великим секретом сообщил вчера на огороде Александру Ильичу, собственно и было причиной появления саперов на дворе центральной усадьбы. Этой причиной был приказ командования о наведении моста в районе усадьбы управления через узкую, но довольно глубокую в этом месте Шиханку.

Готовился сокрушительный удар по хозяйничавшему в городе неприятелю. Крупные танковые соединения стягивались к этому участку фронта, и, чтобы обмануть бдительность немецкой авиации, решено было провести танки не по шоссе, где они представляли отличную мишень для бомбардировщиков, а по узким, глухим дорогам заповедника, на которых было трудно и даже невозможно их обнаружить.

Вот для этого-то расположенная в Шиханах саперная часть и получила задание: в очень короткий срок построить прочный деревянный мост. И тихая усадьба заповедника превратилась в шумный, веселый лагерь строителей, с дымящейся походной кухней, со звонким перестуком топоров и с песнями под баян на короткой сентябрьской вечерней зорьке.

Два солдата были выделены лейтенантом Голубцовым для работы на огороде, и благодаря их помощи с огородом было покончено в три дня. Этими солдатами оказались саратовец по фамилии Белянин и якут Петр Силкин — тот самый, что рассказывал солдатам, как здорово дерутся олени-рогачи. Веселые и работящие, они пришлись по душе всем. Александр Ильич полюбил их за ловкую и веселую работу. Максим Федорыч глядел на них с отцовской лаской: и тот и другой чем-то напоминали ему сына. Леонтию же Иванычу Белянин и Силкин были милы уж одним тем, что они — солдаты, и он, покуривая их легкий табачок, с наслаждением врал про свои боевые похождения на трех войнах.

Один Тимоша оставался все таким же равнодушным, как и прежде, и хотя каждый день аккуратно приходил на работу, по вечерам не засиживался,

а поровил поскорее уйти к себе на кордон. Его оставляли ночевать, но он отказывался.

— Коза! — бегая бесцветными глазами по сторонам, говорил он. — Кабы не коза... А то не поена, недоена... Он ведь, волк-то, он, знаешь, ночью с ней шутить не будет, с козой-то.

Александр Ильич слышал, что возле Тимошиного кордона появился волчий выводок. Как-то раз за обедом он сказал Тимоше:

— А задерут они, брат, твою козу-то!

— Очень просто, — охотно согласился Тимоша, — задерут за мое почтение!

— Ну, коза — ладно, — задумчиво продолжал Александр Ильич, — коза — дело десятое. А вот оленей-то, поганцы, как бы зимой не обидели, а? Как думаешь?

Тимоша промолчал.

— Да что ж до зимы дожидаться-то? — вступил в разговор Потехин. — Вон у нас солдат сколько: позовем двух-трех, да и айда, Тимоша, к тебе в гости — только дым от волков пойдет!

Тимоша и на это ничего не сказал, а на другой день принес в мешке четырех убитых волчат.

— Ты гляди, герой! — удивился Александр Ильич. — Сам, значит, ликвидировал?

— А то солдат буду звать! — кривясь розовым шрамом, ухмыльнулся Тимоша. — Аккурат ночью прихватил одних и логовище ихнее спалил!

Он никому не стал рассказывать, какого страха натерпелся он на этой ночной охоте. «Ведь налетит волчиха, — холодея от ужаса, думал он, — каюк!»

Однако волчиха, верно, была далеко, все сошло благополучно. Ох, это сказать легко: благополучно! А полугодовалые волчата тоже не шутка, — ростом с хорошую собаку, да зубы волчьи... Страшно вспомнить, как, прижавшись к сосновому выворотню, ляскал зубами раненый волчонок, как, рыча, кидался он на Тимошу, какими огоньками вспыхивали волчьи глаза. Да что ж говорить, натерпелся Тимоша в ту ночь! Тогда только и вздохнул свободно, как вбежал в свою избушку да крепко, на все задвижки и щеколды, запер за собою дверь.

И вдруг глубокой ночью его разбудил близкий, чуть ли не под самыми окнами кордона, полный отчаяния и злобы вой. Коза, ночевавшая в избе, заметалась под лавкой.

— Тимош! Тимош! — испуганно зашептал из чулана проснувшийся Штокк. — Вы слышит? Что есть это?

— Это, ваше благородие, волчиха, наверно, сволочь. Я у ней нынче волчаток побил, вон они в мешке под печкой-то...

— А! — облегченно вздохнул немец. — Но, боже мой, ужасно это!

Тимоше было слышно, как он чиркнул зажигалкой и закурил. Сладковатый дым нерусского табака приятно защекотал ноздри.

В это время волчиха оборвала свой страшный плач. На минуту наступила тишина. И вдруг на крыльце неожиданно послышалась возня, загремел стоявший на лавке жестяной бидончик, затарахтела щеколда: видно, волчиха, поддев лапу под дверь, пыталась ее отворить.

Дрожащими руками схватил Тимоша заряженную крупной дробью двустволку. Скверно ругаясь, он выскочил в сенцы и разрядил оба ствола в самый низ двери — туда, где, как он думал, была волчиха. Ему, видимо, удалось попасть, потому что волчиха взвизгнула по-собачьи и опроретью скатилась с крыльца.

Тимоша постоял, послушал. Взвизгивание отдалилось. Слышно было, как зверь напролом кинулся в щазу.

На всякий случай Тимоша подпер дверь лопатой и, послушав еще немного, воротился в избу.

— Ушла! — сказал он. — Спи, ваше благородие, теперь не придет.. У, шалава! — поддал он ногой продолжавшую в страхе метаться козу. — Ты еще тут, наказание господне!

Он лег на лавку, кряхтя натянул на голову полушубок и, пробормотав: «О, господи, Иисусе Христе», стал задремывать.

— Послушайте, — сказал вдруг немец. — Зачем вы убивали маленькие вольшата?

— Да ведь, ваше благородие! — плачущим голосом сказал Тимоша. — Как же не убить? По мне бы, мать их за ногу, нехай жили. Да вишь ты, хотели к нам сюда солдат прислать, а они нам с тобой дюже нужны, солдаты эти? Вот я утресь отнесу волчаток в управление и — порядок!

— О! — воскликнул Штокк. — Вы очень умны шеловек... Русский зольдат нам не надо!

## 23

Давным-давно в глухой и непроходимой чаще леса, на берегу звонкого ручья, поселился неведомо откуда пришедший старик Афоня.

В описываемые незапамятные времена леса эти принадлежали той самой княгине, которая вздумала разводить бобров, и Афоня был нанят княгининым управителем в караульщик.

Жил он ни с кем не водясь, одиноко, но службу свою справлял так старательно и так чутко слышал стук топора, что окрестные мужики стоном стояли от его усердия.

Нехорошие слухи ходили об Афоне. Говорили, что двадцать лет каторги у него за плечами; что прикончить человека ему все равно, что куренку голову свернуть; что десять лет отслужил он на Сахалине палачом, до смерти засекая кнутом тех, кто попадался ему на расправу.

Много рассказней ходило об Афоне, и где была правда, а где выдумка — никто, конечно, не знал.

Так, верой и правдой, ненавидя и преследуя мужиков, прослужил Афоня у княгини шесть лет, а на седьмой год поздней осенью, когда в лесу сиротливо завывали ненастные ветры и редкие неопавшие дубовые листья страшно шептались долгими ночами, шиханские мужики нашли Афонию висящим на кривой старой яблоне, верстах в двух от его избушки. Наскучила ли ему его, бесприютная одинокая жизнь всеми проклятого отщепенца и сам накиннул он себе на шею петлю из старых вожжей или придушили его ночью мужики — так и осталось неизвестным.

Со временем все забыли об Афоне, и лишь звонкий, говорливый лесной ручей, на берегу которого стояла Афонина сторожка, кто-то окрестил его ненавистным именем, и имя это — Афонин Ключ — так и осталось на долгие годы. Лесная избушка не намного пережила своего хозяина — сгорела. Сколько-то лет еще чернели следы пожараща, но со временем окаянное место так заросло крапивой и лопухами, что угадать, где стояла сторожка, могли только два-три самых древних из шиханских стариков.

Вскоре после революции на Афонином Ключе поселились бобры. Год за годом, расширяя ручей и переселяясь с места на место, строили они свои плотины. Семь плотин, одна за другой, стали порогами по течению ручья. Все берега были изрыты норами, всюду торчали осиновые пеньки. Огромные кучи обглоданных веток делали совершенно непроходимыми и без того непролазные дремучие дебри Афонина Ключа. Здесь всегда стояла тишина и, казалось, конца не будет этой ленивой, вековечной тишине.

И вдруг однажды послышались человеческие голоса, дымок от костра поплыл над зеркалом ручья, застучали топоры, зазвенели задорные песни. Застрекотала разматываемая рулетка, правый, высокий берег расчищался для построек. Потом в ход пошли лопаты, земля зашестрела котлованами, и аккуратно вычерченные Александром Ильичем квадратики стали превращаться в незатейливые жилища будущего партизанского отряда.

Разбуженный шумом, выплыл из потайной своей норы старый бобер. На секунду показалась из воды его круглая черная голова, потом, точно выстрел, раздался могучий всплеск: бобер нырнул и поплыл, оставляя за собой на воде длинный, расходящийся к концу след.

## 24

Стояли сухие, теплые дни. Однако дело шло к осеннему ненастью, и люди напрягали все силы, чтобы в срок управиться с постройкой. Каждая минута была дорога.

Еще чуть брезжил рассвет, когда из крайней палатки раздавался густой кашель и минуту спустя высовывалась широкая, веником, седая борода старика Мухачева. У него была многолетняя пастушья привычка подниматься до свету. Умывшись у ручья по-осеннему холодной водой, Мухачев вынимал из своей котомки пастуший рожок и, как бывало, созывая на сельской улице коров, играл зорю.

В палатках просыпались.

— Ты, брат, у нас заместо кочета! — шутил Степан. — С тобой не проспишь.

Один за другим шли к ручью, наспех плескали себе на лицо, протирали сонные глаза, и сразу начинали переговариваться топоры, пели проворные острые пилы, дятлами стучали молотки.

К тому времени, когда солнце выкатывало над лесом свой ослепительный золотисто-оранжевый шар, рубахи строителей уже темнели от пота и курильщики делали первый перекур.

Работали споро. Все понимали значительность своей работы, каждый чувствовал себя бойцом-партизаном и каждому было ясно, что, может быть, завтра ему придется держать в руках уже не топор, не лопату, а тяжелый автомат.

Жадные руки Степана брались за все: он то валил деревья, расчищая площадку для конюшни, то обшивал тесом стены землянок, то резал дерн и устилал им крышу той самой бани, к которой сперва отнесся с некоторым пренебрежением. Ему не хватало суток, и он ругательски ругал короткие осенние дни.

Иногда он вспоминал минуты своего малодушия и только качал головой, стыдясь перед самим собой недавнего душевного смятения.

Очень сильный, шутя игравший двухпудовой гирей, он чуть было руки не опустил, да и опустил бы, пожалуй, если б не поддержали. А кто поддержал? Задыхающийся от астмы Волохов, слабый старик Ершов!

Степан не мог надивиться внутренней силе этих людей, их мужественной стойкости, ясному уму и той непреклонной последовательности, с которой они вершили свое дело.

Когда в первый день пришли они с Волоховым на Афонин Ключ, Степан не удержался и спросил у секретаря, что это за новый объект, который он посоветовал нанести на план.

Волохов не спеша развернул бумагу и показал на маленький, рядом с баней нарисованный карандашом квадратик, под которым стояло написанное рукою Волохова слово: ферма.

— Это какая же ферма? — удивился Степан.

— А та самая, — серьезно сказал Волохов, — из-за которой Ершов в эвакуацию не поехал.

Степан только затылок почесал.

— Н-да... — протянул он. — Вон оно что...

И понял, что эти люди — хоть весь свет вверх дном перевернись, — будут спокойно продолжать и завершать начатое и твердо идти к намеченной цели.

И когда он понял и оценил богатырскую душевную мощь этих людей, он и в себе почувствовал такую силу, о которой до сих пор и не подозревал.

Проводив Степана на Афонин Ключ, Наташа весь день, как обычно, провела на ферме и огороде. За делом быстро промелькнуло время, вечер подкрался незаметно. И только в сумерках, подойдя к дому, она вспомнила, что Степана нет и что ей придется ночевать без него.

Наташа не была трусихой, ей и прежде не раз случалось, когда Степан уезжал в командировки, оставаться одной. Но, во-первых, это происходило на старом, привычном кордоне, где они со Степаном прожили без малого одиннадцать лет и где все, до последней щепочки, было знакомо и перезнакомо, а во-вторых, тогда в лесу стояла тишина. Сейчас же...

Наташа остановилась у крыльца и прислушалась: оттуда, где догорал печальный закат, слышались приглушенные расстоянием тревожные вопли сирены — воздушные разбойники кружились над Шиханами.

С тяжелым сердцем переступила Наташа порог своего дома и, не зажигая огня, легла на скрипучую деревянную кровать. Однако заснуть оказалось не так-то просто. Не прошло и десяти минут, как началось обычное: вздрагивала земля, дребезжали стекла, возле склада выла собака.

Наконец все утихло, сверчок завел свою вековечную домовитую песню, и Наташа забылась в беспокойном, полном отрывочных видений сне.

Внезапный шум разбудил ее: за тонкой бревенчатой стеной испуганно, дурными голосами кудахтали куры.

Накинув телогрейку, Наташа выскочила во двор. По краю побледневшего неба пробивалась узенькая полоска зари. Над рекой висели белые хлопья тумана.

В предрассветных сумерках было еще плохо видно, но Наташе удалось разглядеть, как от маленького, пристроенного к избе сарайчика, где ночевали куры, не спеша пробиралась чернобурая лиса. В зубах у нее билась белая курочка. Лиса, видно, неловко ухватила ее, — курица отчаянно хлопала крыльями и пронзительно кричала. Лиса остановилась, перехватила курицу половчее, и курица тотчас замолкла.

Пораженная наглостью чернобурки, Наташа, оцепенев, глядела, как на ее глазах воровка преспокойно расправлялась с беленькой, помеченной фиолетовыми чернилами курицей. Когда же Наталья, опомнившись, запустила в лису поленом и закричала: «Брось! Брось!» — лиса оглянулась и, как показалось Наташе, насмешливо поглядев на нее, ленивой рысцой побежала и скрылась в кустах.

Придя к Ершовым, Наташа рассказала про ночное происшествие.

— Ну, матушка, — рассмеялся Александр Ильич, — это старая история! У нас, если хочешь кур держать, собаку заводи. Не то чернобурки одолеют. Могут наперед сказать: коли проноухала лиса, так передумит всех твоих курочек!

— Так что же делать-то? — растерялась Наташа.

— Да их, кур-то, у тебя, — спросил Потехин, — кажись и всего-то три штуки?

— Теперь две, — вздохнула Наташа.

— Ну, так чего ж тут раздумывать, — руби им головы да в лапшу! Отнесешь своему Степе, спасибо скажет.

— Правильно! — поддержал Потехина Александр Ильич. — Самое разумное решение!

«Нет, погожу, — подумала Наташа, — ни с того, ни с сего — и вдруг вот тебе — рубить».

Но этой же ночью лиса уволокла вторую курицу. Тогда Наташа послушалась Потехина, сварила из последней курицы лапшу и, отпросившись у Александра Ильича, понесла ее Степану.

Дорога шла такими зарослями и была так нехороша, что, отойдя километров пять от усадьбы, Наташа уморилась и села отдохнуть. Солнышко ласково пригревало. Перевернувшись на веточке кверху лапками, в двух шагах от Наташи звонко тенькала синичка. Стояла такая тишина, что было слышно, как отрывается желтый лист и с легким шумом падает на землю.

Наташа стала дремать. Она, может быть, и заснула бы, но какие-то странные звуки заставили ее насторожиться.

Где-то совсем близко по-шаловному, точно на ежа, отрывисто брехала собака. Потом затрещали ветки валежника и жалобно замычал теленок, и снова раза два визгливо брехнула собака.

Наташа поднялась и тихонько, стараясь не наступить ногой на сухую ветку, пошла в ту сторону, откуда доносились непонятные звуки.

Путь ей преградил огромный сосновый выворотень. Наташа осторожно обошла его и вскрикнула от неожиданности: на небольшой полянке стояли оленуха и теленок. Малыш прижимался к дрожащей матери, та испуганно топталась на месте, а вокруг них прыгал лобастый матерый волчина. Он, видно, был сыт и забавлялся: взвизгивая по-собачьи, он то отскакивал от оленей, то кружился возле них, то, вдруг подпрыгнув, ударял оленуху лапой по морде. А та не смела вступить с ним в борьбу, но не могла и убежать, бросить своего детеныша. Она не двигалась с места и только время от времени жалобно мычала.

При виде такого безнаказанного разбоя, забыв про то, что у нее в руках одна лишь тоненькая хворостина, Наташа выскочила на поляну и сердито закричала на волка:

— Пошел прочь! Ишь привязался, поганец!

Волк обернулся на крик и, отойдя от оленей, сел, слегка хмурясь и удивленно поглядывая на неизвестно откуда появившуюся женщину.

— Кому говорят! — храбро наступая на волка, Наташа замахнулась хворостиной. — Вот я тебя!

Волк оскалился, однако нехотя поднялся и, поджав хвост, поплелся прочь.

А оленуха, выйдя из оцепенения, робко подошла к Наташе и, ласково пофыркивая, стала облизывать теленка.

Наташа же вдруг почувствовала такую слабость в коленях, как будто она после тяжелой болезни впервые встала на ноги.

В это время на дороге послышался стук колес. Оленуха кинулась в сторону, за ней, смешно взбрыкивая задними ножками, побежал теленок.

Наташа вышла на дорогу. Скрипя и ныряя в глубокой колее, по дороге тащился хлебный фургон. Старик Мухачев, сидя на передке, посвистывал на такого же седого, как и он, здоровенного ребрастого мерина.

— А я слышу — ктой-то воюет, — здороваясь с Наташей, сказал Мухачев, — а это вон кто! Ты, девка, как сюда попала?

Все еще волнуясь и чувствуя противную дрожь в коленях, Наташа рассказала старику о своей неожиданной встрече.

— Ну, девка! — воскликнул пастух. — Это ты не иначе, как в рубахе родилась, ей-богу! Ведь это что: волка хворостиной пужать вздумала!

Партизанский поселок рос на глазах. В горячей, дружной работе день проходил, как час.

Ранние сумерки окутывали лес, наступал вечер. И потому, что не разжигали костров, осенний вечер этот казался особенно длинным и как-то надо было его коротать, как-то скрашивать темное, тревожное безмолвие.

Вот тут-то неожиданно и раскрылся талант старика Мухачева.

В первый же вечер, когда, поужинав, все разбрелись по своим палаткам, у мухачевского шалаша раздался взрыв смеха: Мухачев рассказывал соленую

сказку. Вскоре возле него собрались все строители, время пролетело незаметно.

На следующий вечер кто-то из молодежи спросил его:

— Дед, а нынче будешь рассказывать?

— Брехать не пахать, — ответил Мухачев, — вот дай только поужинаем.

А потом так и пошло: как вечер — все к мухачевскому шалашу.

— Прямо артист народный! — посмеивался Степан и шел вместе со всеми слушать бесконечные мухачевские сказки.

На третий или четвертый день своего пребывания в должности прораба Степану пришла в голову такая мысль: почему это так гладко все идет у них в работе? Почему и материалы доставляются вовремя, и среди рабочих нету ни склоки, ни брани, ни жалоб на усталость или, скажем, плохие условия?

Ведь вот в мирное время ему пришлось заниматься постройкой собственного кордона, так батюшки мои! То того не хватает, то другого! То в районе пороги околачиваешь, то в области! И, казалось бы, все в порядке: и решения всякие на руках, и резолюции, и накладные — ан не тут-то было! Водокита заедала. Это в мирное-то время, когда все было налажено, когда по всяким там конторам спокойно сидели аккуратные граждане в пиджачках с нарукавниками, чтобы костюм не марать; от часу до двух шли они на перерыв, и уж не было в мире такого стихийного бедствия, какое бы заставило их минутой раньше, чем кончится перерыв, раскрыть свои картотечные ящички или крутануть ручку черного арифмометра. Снаружи поглядеть — конторская машина на полном ходу, а, боже мой, что иной раз творилось! Из-за какой-нибудь несчастной железной скобы раз десять придешь, до хрипоты накричишься!

И вдруг — вот тебе: война, казалось бы, все в смятении, но, между прочим, работают, как часы! Этакая дружелюбность в людях появилась, прямо родственность какая-то!

И вот однажды, сидя возле мухачевского шалаша, Степан высказал эту мысль вслух.

— Очень простая вещь, — отозвался из темноты Мухачев. — Тут вся причина, что вот именно спокойная жизнь кой на кого вредно действовала. Народ, в общем-то, в одну точку нацеливается, как Владимир Ильич указывал, а которые из этих свистунов, так они вроде тоже за коммунизм, какой завтра наступит, а, между прочим, норовят от нынешнего дня какой послаже кусок себе в личное пользование отхватить! Такому вся забота об себе, а на общее дело ему начихать. Так на шута ж ему твоя скоба, когда у него все мысли по своей конуре ползают! Да я вот, к слову пришлось, расскажу тебе про одного такого субчика, у нас в колхозе годов десять назад случай был...

Все придвинулись к шалашу. В черной его глубине сыпались искры: старик раскуривал трубку.

— Был у нас такой орел, — начал Мухачев, — такой делега, все на своем огороде копался. Колхоз пашет, колхоз сеет, а он, знай себе, поливает салаты — ему не до колхоза, у него с бабой одна забота: продукцию на рынок определить.

Вот однава бежит он к председателю: «Дай лошаденку!» Ну, тот дал. Они, конечно, с бабой, отвезли овощу на рынок, расторговались, посчитали барыши — все хорошо, все в порядке.

Но день ли, два ли проходят, продукция поспела, опять везти надо. Он обратно насчет лошади. Председатель говорит: «Ладно, дам, шут с тобой, только больше, извини-подвинься, не рассчитывай. Хватит, мол, торговать, работать надо, а то чистый грех с тобой получается!»

Вот едут они с бабой из города, старик и говорит: «Ну, баба, пред сказал — не дам больше лошадей!» — «Как так?» — «Да так, работать, мол, надо, буди, говорит, спекулянничать!» — «А что ж овоща-то, стало быть, нехай гниет?» — «А это, милка, — объясняет старик, — понимай как хочешь».

Ну баба, конечно, его научила. Пошел старик в колхоз, дня два поработал, а баба обратно все со своими салатами. А как продукция поспела, она и

говорит: «Иди, — говорит, — проси лошадь». — «Да ведь не даст!» — «У, матюха! Скажи: баба, мол, захворала, в полуклинику везть надо».

— Вот, сволочь, башка! — засмеялся кто-то в темноте.

— Министр! — согласился Мухачев. — Слухай, что дальше было. Обхитрили они на этот раз председателя, опять торганули, ворочаются домой. Вот стали к селу подъезжать, велит баба старику, чтоб тот ее под веретье схоронил. «Это еще зачем?» — «Вот, дурачок! Спросят, где баба, скажи: в больницу положил, через три дня приезжать велели».

В темноте засмеялись:

— Ловко придумала!

— Это что! Ты гляди, что дальше-то! — Мухачев пососал потухшую трубочку, сплюнул и продолжал: — Вот дня через три обратно набили они телегу, пошел старик к председателю, объяснил свою положению. Ну тот, конечно, слова не сказал, дал лошадь, да еще и пожалел старика: вот беда, скажи пожалуйста!

Теперь едут они обратно. «Шабаш! — говорит старик, — не даст больше председатель кобылу!» — «У, дурачок, молчи, бог даст, что ни что придумаем!»

Назавтра велит она своему мужику тесать доски, гроб делать. «Это, мол, с какой стати?» — «А с такой, что велю, то и делай!» Сколотил старик гроб, а тут и овоща подоспела. Обратно посылает баба к председателю. «Так не даст же!» — «У, горе мое! Скажи: преставилась баба, как бы, мол, ее земле предать...»

— Вот сатана! — восхищенно крикнули в темноте.

— А то не сатана! Этот мужик натер теперь глаза луком, слезы по морде размазал, ну прямо хоть в драмкружок, шельма, так свою ролю превзошел! Председатель, конечно, слова не сказал, предоставил подводу, да еще: «Эх, — говорит, — жалко оркестра духовой музыки у нас нету!» — «Ничего, мол, — плачет старик, — мы как-нибудь!»

Набили они с бабой в гроб продукцию, баба опять под веретье схоронилась, мужик едет, сморкается — лучок-то, видать, злой попался! Прохожие встренутся — крестятся, шапки скидают, говорят: все там будем...

Прекрасно. Вот эдак едут они в полном трауре, потихоньку, и вдруг — откуда ни возьмись — из-за кустов-то ка-ак затрещит, ка-ак застреляет! Кобылка, это, взбрыкни да с перепугу в канаву, телега, конечно, набок, а гроб, это, возьми да рассыпья со всей и с морковкой и с луком, словом сказать, вся продукция ихняя... А баба лежит под телегой. «Людишки, — кричит, — помогите! Ножку придавило!»

Дальше — больше образумились, видят: наш, сельский, бригадир Караваев Мишка на мотоцикле остановился, со смеху помирает: баба оживела!

Ну, делать нечего, воротились они ко двору, стали мужика стыдить, а он все на овощу спирает: «Овоща, ну прямо, говорит, в голову засела!»

Тут еще один пошутил: «Гляди, говорит, как бы она у тебя вместо волос на плешине не взошла!»

— Отъездился, значит, старик! — сказал Степан.

— Отъездился, да не совсем: тележку-двуколку справил, впрягутся, бывало, с бабой вдвоем и — айда! Денег они этими базарами нахапали великие тысячи, а от колхоза совсем отбились. Вот однава этак топают они с базара. Мужик, конечно, взопрел от тележки, снял картуз. А тут дождик налетел да и сбрызнул мужикову плешину. Вроде как из лейки полил.

Ну полил и полил. И забыли про это. Но вот один раз стала баба у старика в голове искать — глядь-поглядь, а у него на макушке луковые былки пробиваются!

В темноте давно уже посмеивались, но тут поднялся такой хохот, что работавшие неподалеку бобры испугались и с шумом попрыгали в воду.

— Ох, — вытирая выступившие от смеха слезы, сказал Степан, — да и здоров же ты, дед, брехать!

— Брехать не пахать, — невозмутимо отозвался Мухачев, — а ну, ребята, что, в самом деле, разгулялись, спать пора!

И, натянув на голову рваный ватник, Мухачев стал укладываться.

Наконец строительство было закончено. Приехали Волохов и Александр Ильич.

— Принимайте работу! — здороваясь с ними, сказал Степан. — Смотрите, как и что...

Волохов ходил, дымя своей папироской, и хоть помалкивал, но всем своим видом выражал одобрение. Александр же Ильич прямо побежал к ферме.

— Ну, молодцы! Ну, герои! — громко восхищался он. — С такими орлами от десяти гитлеров отобьемся! Ей-богу! Гляди, гляди, товарищ Волохов, что они тут понаворочали! И вольеру на ручье поставили... Ах, черти!

— Спасибо, товарищи! — сказал Волохов. — Все очень хорошо.

— Да как же не хорошо, — подал голос Мухачев, — коли для себя делали, знамо дело, хорошо! Только я, товарищ секретарь, так соображаю, что еще лучше, кабы...

Мухачев запнулся.

— Ну, что «кабы»? — спросил Волохов. — Договаривай!

— Да кабы господь привел не пользоваться этим, хорошим-то.

Все засмеялись.

В сумерках старый бобер вынырнул и огляделся. На берегу была прежняя тишина. Он не поверил ей и, громко шлепнув хвостом, ушел под воду. Минут через пять он показался снова. Сомнения не было: люди ушли.

Тогда бобер не спеша поплыл к берегу, вылез, отряхнулся и, присев возле самой воды, стал охорашиваться.

*(Окончание следует.)*



Вадим Шефнер

*Рис. Б. Федорова.*

### Дом в Ульяновске

Пока земля землей пребудет,  
С волнением под этот кров  
Входить земные будут люди  
И гости дружеских миров.

В музеях — прошлое, бывшее,  
Все то, что было и прошло, —  
А здесь живое, здесь жилое  
Охватывает нас тепло.

Здесь, где он жил и рос когда-то,  
Весь мир вобрать в себя спеша,  
С истоком юности крылатой  
Соприкасается душа.

Здесь будет все без изменений,  
Здесь все — навеки, навсегда.  
И с той же силой ощущений  
Мой сын и внук войдут сюда.

Для всех времен неиссякаем  
Его идей живой родник...  
Так с предстоящими веками  
Нас гений Ленина роднит.

И, комнаты покинув эти,  
Мы позабыть не в силах их, —  
Как бы увидев даль столетий  
Глазами правнуков своих.

### Короткая гроза

Над самым берегом реки  
Шли тучи, как грузовики,  
Везя косматые тюки  
Невоплощенного дождя.

Шли, интервалов не блюдя, —  
И сгрудились, столкнулись вдруг,  
И потемнело все вокруг.

Гром — будто лопнувший баллон,  
Помноженный на миллион,

И тонны ливня — под откос,  
И пламя бьет из-под колес.

Вдруг — тишина. И гром забыт,  
И влажен радостный покой.  
Рессора радуги висит  
Над нивами и над рекой.

Подсолнух в синий океан  
Наводит золотой экран  
И ловит солнце в небеси,  
Вращаясь на своей оси.

## Девушки Ленинграда



Широкий ров пересекает луг,  
Осенние в него сбегают воды.  
Он кажется не делом чьих-то рук,  
А давним порождением природы.  
Я вспоминаю сорок первый год.  
Здесь заняли мы свой рубеж когда-то.  
Но этот ров у склона двух высот  
Копали не саперы, не солдаты.  
Здесь девушки работали. Они,  
Совсем не по-военному одеты,  
Пришли сюда в те роковые дни.  
Я помню их платочки и береты.  
И голоса их в памяти звучат...  
Они, покинув этот луг зеленый,  
Отправились не в тыл — а в Ленинград,  
На ближние объекты обороны.  
Они ушли, бесстрашно молоды,  
На плечи взяв тяжелые лопаты,  
И каблучков их легкие следы  
Оттиснулись на глине синеватой.  
...Летят послевоенные года  
Над миром, над страной, над Ленинградом.  
Мы их, наверно, видим иногда, —  
Тех девушек,

в трамваях ездим рядом.

Мы их среди других не узнаем, —  
В ту пору мы не вглядывались в лица.  
Они ж молчат о подвиге своем:  
У всех — дела, и некогда гордиться.  
Но есть другие — те, которых нет,  
Которых повидать нигде не сможем.  
Они не встретят над Невой рассвет,  
Гулять не выйдут вечером погожим.  
Они в свои квартиры не вбегут,  
Даря улыбки и рукопожатья, —  
Лишь матери седые берегут  
В своих шкафах их выпускные платья,  
Да у подружек школьных, у друзей  
Еще по старой памяти хранятся  
Их фотоснимки довоенных дней —  
Шесть на девять и девять на двенадцать.  
Они ни встреч не помнят, ни разлук,  
Ни голода, ни пламени, ни дыма —  
И смотрят на стареющих подруг  
С улыбкой ясной и неповторимой.





Ч. Ефремов  
Афанесор,  
двор Ахархемена  
Рассказ

Рис. С. Спицына.

**П**ламя убогого костра мерцало. Огромная равнина — рег<sup>1</sup> Аматорр, обдутаая, казалось, до последней пылинки, все же доставляла ветру достаточно песка, чтобы испортить скромный ужин. Маленький лагерь геологов прижался к склонам песчаных холмов на краю сухого русла — уэда. Тонко звенели, напевая унылую песню, пучки сухого дрина — жесткого злака Сахары. По склонам дюн с шуршанием скатывался песок, смешанный с кристалликами гипса. Шестеро людей растянулись вокруг костра в одинаковых позах — прикрыв лицо от ветра локтем согнутой руки. Только один, закутанный в просторные складки темной одежды, лежал на животе, высоко подперев голову, и смотрел не мигая в темную даль над костром. Отблески слабого пламени плясали в его больших и темных глазах, едва различимых под покрывалом, надвинутым на лоб и закрывавшим рот. Узкая рука с длинными пальцами лениво перебирала застежки подложенной под голову седельной сумки.

— Тирессуэн! — окликнул его низкорослый, плотный человек в защитной рубахе. — Будет ветер ночью? Надо ли ставить палатки?

— Не надо, капитан! — ответил Тирессуэн. — Ветер утихнет через час. Капитан удовлетворенно хмыкнул и щелкнул портсигаром.

<sup>1</sup> Объяснение берберских и арабских слов см. в конце рассказа, стр. 142.

— Почему ты так уверен? — спросил юноша, лежавший рядом, поднимая угловатые брови и щуря от пыли бледно-голубые глаза.

— Дрин прощается с ветром, — отвечал, не поворачивая головы, Тирессуэн, — он поет гуще тоном. Послушай сам!

Юноша приподнялся и громко обратился к капитану, перейдя с арабского языка на французский:

— Не могу поверить, что этот важный черт действительно прав. Очень он уверен и быстро находит на все ответ...

— Полегче, Мишель, туарег знает наш язык!

— Как бы не так! Он говорит с нами только по-арабски или на своем ужасающем тамашеке.

— Туарег без крайней необходимости не будет говорить на языке, которым плохо владеет. Гордость и застенчивость этих детей пустыни еще надо понять, — скороговоркой ответил капитан, искоса поглядывая на неподвижного, как темно-синяя статуя, туарега. — Наш проводник кончил начальную школу в Тидикельте и, без сомнения, знает французский. Новые веяния коснулись его: видишь, он курит сигареты и не таскается с вечными копьём и щитом. Но уж что касается Центральной Сахары, тут нам очень повезло. Для поисковой экспедиции такой проводник — клад! Знает всю страну, много ходил с экспедициями, — следовательно, понимает, где могут идти автомобили...

— Мне не верится, чтобы такую проклятую богом местность можно было помнить во всех ее подробностях, убийственно однообразных...

— Однообразных? Только на ваш взгляд, Мишель. Но не для сахарского кочевника и даже не для меня. Здесь судьба каждого путника и каравана всегда зависит от точности следования по маршруту. Впрочем, устройте пробу, убедитесь.

— Каким образом?

— Ткните пальцем в первое попавшееся место карты и спросите о нем Тирессуэна.

— Интересно! Я сейчас.

Юноша пошел к машине, угрюмо черневшей в стороне, и вернулся с кожаной сумкой.

— Тирессуэн, можно тебя спросить? — вкрадчиво начал по-арабски Мишель, прижимая указательный палец к смутному узору горизонталей, в то время как другой геолог подсвечивал карманном фонариком.

— Спроси, я отвечу, — не меняя позы, согласился туарег, — если смогу.

— Ты был в Анахаре?

— Был.

— Знаешь ли там гору Исседифен?

— Горы Исседифен нет, — спокойно сказал Тирессуэн, — есть гора Исседифен против адраара Незубир в центре Анахара и есть гурд Исседифен, южнее, в Хоггаре, на юге адраара Тенджидж...

Растерявшийся Мишель увидел широкие улыбки своих товарищей и вспыхнул от необъяснимой злобы.

— А дальше? — пробормотал он.

— Дальше на юг? — переспросил туарег. — Там будет широкое тассили...

— Какое тассили?

— Тассили Тин-Эгголе.

— Ты что, и там был?

— Был, шесть лет назад. С профессором Ка-По-Рэ... — Тирессуэн замолчал и замер, прислушиваясь.

Французы насторожились тоже.

— Мотор, — первым нарушил молчание Мишель.

За черным обрезом низкого плато разливалось туманное облачко света. Вот оно стало ярче и превратилось в два пучка желтых лучей, ударивших

в звездное небо. Машина поднималась по крутому северному склону плато. Еще несколько минут, и глухое урчание мотора сменилось грохотом колес по гальке. Лучи фар пронесли над головами ожидавших, метнулись вниз и слепящим пятном пробили темноту. Огромный белый грузовик, завывая и тяжело переваливаясь, вполз на бугристые пески, окружавшие лагерь, и замер в полусотне шагов от костра, дыша жаром натруженного двигателя, запахом горячего масла и резины. В широкой кабине зажегся тусклый свет. Оттуда, устало потягиваясь, вылезли трое людей. Самый высокий и тучный бодро зашагал к костру, и к нему устремился капитан.

— Кто это? — на ходу спросил его Мишель.

— Археолог, профессор Ванедж, кто ж еще, — вполголоса буркнул капитан.

— Кого ждали?

— Черт вас возьми, конечно! Скажите Жаку, чтобы он развертывал рацию. Сообщить о встрече наших отрядов! Рад встретить вас, господин профессор!..

— А я еще больше! — громко и весело заявил археолог. — Я кружил в лабиринте тассили и уж боялся не найти вас. Но вы оказались точно в намеченном на карте пункте.

— Мы с Тирессуэном.

— Это очень важно. Вы говорили с ним... предварительно?

— Нет, ждал вашего прибытия. Успеем. Хотите ужинать? Но вода плохая...

— Благодарю, мы ели три часа назад. Могу вас угостить холодной содовой или лимонадом. Сегодня из отеля месье Блэза!

— О, вы — посланец небес!

— Всего лишь Сахарского комитета исследований!

Долговязый радист Жак возился у радики, устроившись на широкой плите песчаника, наполовину погруженной в дно узда. Разноязычный говор, треск, внезапные музыкальные аккорды — вся сумятица эфира, пронизанного десятками тысяч звуков, в суровом молчании пустыни казалась жалкой. До костра достигал лишь неясный шум. Профессор и капитан негромко разговаривали, прибывшие с археологом делились новостями. Туарег устроился поодаль от французов. Вытянувшись во весь свой длинный рост и глубоко задумавшись, он неторопливо курил, освободив лицо от покрывала и поднося ко рту сигарету плавными движениями обнаженной до плеча руки. Кожаный браслет — дань старине, прежде служивший защитой от сабельных ударов, — охватывал его руку выше локтя.

— Интересно, о чем он может думать? — спросил Мишель, глядя на проводника, когда новости и сплетни были исчерпаны.

— Что тебе за дело? — лениво заметил один из собеседников. — Мало ли о чем может думать туарег!

— Он молчит, пока едем, молчит на привалах. Но не спит и не дремлет — очевидно, о чем-то думает. Я наблюдаю за ним.

— Мишель, у вас странный интерес к Тирессуэну, — вмешался вдруг капитан. — И, мне кажется, с изрядной долей неприязни. Смотрите, чтобы дело не кончилось каким-либо конфликтом. Мне не хотелось бы лишиться... вас!

— Ах вот как! — вспыхнул Мишель, но сдержался и, стараясь казаться спокойным, добавил: — Честное слово, капитан, я только любопытствую. Я впервые в Сахаре, и этот народ интересует меня: прежде знаменитые разбойники и рабовладельцы, неведомый никому язык и тифинарская письменность, которую хорошо знают у них только женщины. Женщины у них главенствуют в роде, свободны и не закрыты — не то, что у окружающих мусульман. Туареги живут в самом сердце Сахары и вместо того, чтобы превратиться в дикарей, усвоили манеры под стать нашей аристократии — смотрите, сколько важности в Тирессуэне! А помните — там, на юге, юлемиддены, так кажется зовут это племя. У них отняли рабов, так они — ха-

ха! — пасут коз сами, подгоняя их своими длинными мечами. Смешно! А мне хочется знать, о чем все думает наш проводник! Об оставленной где-то в пустыне жене или о былом раздолье грабежей?

— Вы не представляете, молодой человек, — внезапно сказал высоким голосом археолог, — какой богатой фантазией обладают эти сыны пустыни. В их шатрах — кстати, у них не арабские шатры, а кожаные палатки, — вы услышите такой букет сказок, легенд, притч и пословиц, какого не найдешь, пожалуй, у других кочевников мира, тоже немалых фантазеров. Вот хорошее дело, если хотите послужить науке и сами прославиться: изучите язык туарегов — тамашек — и займитесь сбором этого фольклора. Я писал в Академию наук, что надо немедля браться за это дело: туареги, по-моему, быстро исчезнут, отдельные племена уже сейчас насчитывают по несколько десятков человек, — например, кель-а-нет — их осталось двадцать три человека. И на каждого примерно по тысяче квадратных километров пустыни! Или вот Тирессуэн — он соседнего с ними племени тай-токов, их не более ста человек вместе с их имрадами — вроде наших вассалов, что ли...

— Будь я проклят, если когда-нибудь... — начал Мишель и осекся под осуждающим взглядом ученого.

Тирессуэн не прислушивался к болтовне беспокойных и, на его взгляд, истеричных европейцев.

Он думал об Афанеор и о том, как совершить для нее невозможное. Афанеор — луна, богиня со странной властью над бесконечными просторами пустыни. Знакомые с детства места становятся какими-то другими с ее появлением на небе, да и само небо приближается к земле и сливается с ней. Холодный свет луны ложится покровом тайны на любую местность. Даже безрадостный Танезруфт кажется серебристым морем, а черный панцирь танере становится призрачной сокровищницей — необозримой россыпью кусочков серебра. И Афанеор — девушка, его избранница — тоже обладает непонятной властью над ним, как луна над землей. В ее присутствии он меняется, открывая в себе необузданные мечты, звучащие песнями, томящие жаждой прекрасного, не менее острой, чем жажда в пути сквозь песчаную бурю.

Не колдунья ли эта невысокая девушка? Она происходит из племени тиббу, родом из южного Фецдана, но воспитана туарегами — злой старухой могущественного племени кель-аджеров.

На юг от Фецдана, не в душных оазисах, а среди низких разрушенных скал и в горах Тибести живут «люди камней» — тиббу, потомки очень древнего народа гарамантов, непокорных волшебников и наездников, которых боялись и старательно истребляли древние римляне и арабы. Кель-аджеры тоже считают себя потомками гарамантов, но у них он не видел ни разу такого цвета кожи, как у Афанеор и ее соплеменниц — светлой красно-коричневой с характерным металлическим отблеском...

Тирессуэн достал новую сигарету и покосился на своих французских спутников: те следили за радистом, который быстро выстукивал ключом позывные. Перед мысленным взором кочевника пустыни, цепко схватывающего малейшую подробность местности, пронеслась картина первой встречи с Афанеор.

В стороне от торных троп и дорог пустыни, в малоизвестной впадине стоят развалины древнего города. На каменистой равнине, окруженной изрытыми ветром холмами, неожиданным лесом поднимаются остатки колоннады и обрушившиеся стены. На окраине поля развалин находится большой, выложенный камнем квадрат, обрамленный белыми плитами. С северной стороны на плитах уцелело восемь колонн из белого камня — высоких, необыкновенно стройных и красивых. Некоторые колонны еще и сейчас поднимают в бледное слепящее небо свои резные верхушки, подобные распускающимся вершинам молодых пальм.

Здесь, куда съехались на ахаль — музыкальное собрание — окрестные туареги кель-аджер, случилось быть и ему, одинокому тай-току.



В ярком лунном свете между светившимися белизной колоннами расположились темные закутанные фигуры мужчин — зрителей и гостей, потому что собранием руководили женщины и они же первыми начинали выступления. Мать Тирессуэна советовала ему при всех удобных случаях посещать эти собрания.

— Эти песни, музыка и танцы объединяют и поднимают женщин, — говорила она, — а вас, мужчин, учат любви. Туарегская женщина не проста, и если ты хочешь долгого счастья, умей обращаться с ней, сделай совместную жизнь легче и... интереснее. У нас, кочевников, много свободы, много времени на мечты, сказки и песни. И твоя подруга жизни должна быть товарищем в мечтах, а не только работницей или наложницей, как у других народов. Посещай же эти школы любви, где бы ты ни был!

Тирессуэн, как и всякий туарег, привык почитать простую и добрую материнскую мудрость.

Женщины — благородные ихагаренки, бедно одетые имрадки и даже темнокожие рабыни в своих белых одеждах — составляли немногочисленный

оркестр, играя на амзатах, флейтах и отбивая ритм на маленьких барабанах. На середину квадрата вышла высокая девушка. Ее гибкая фигура в синем плаще четким силуэтом вырисовывалась на серебристо-белых камнях плит и колонн.

«Песни дрина!» — подумал Тирессуэн, примостившись поудобнее и стараясь не шуршать своим жестким плащом о шероховатый ствол колонны. В самом деле, как в зарослях дрина, звенящих под ветром в уздах, музыка казалась хором колокольчиков, то приближавшихся, то удалявшихся... Звенел высокий чистый голос девушки, как стебель дрина, гнулась ее тонкая фигурка в темных складках свободной одежды. Медленно тянули флейта и скрипка грустную монотонную мелодию. Изредка глухо ударял барабан. В ответ ему руки девушки вздымались плавными взмахами крыльев большой птицы, начинающей свой полет и еще плененной тягой земли. С надменной важностью переступали ноги в цветных, украшенных бусами сандалиях...

Ласковая грустная песня, медленные движения убаюкивали Тирессуэна. Он оперся затылком о колонну и, следя за певицей из-под опущенных век, впал в приятное оцепенение. Четыре женщины сменили выступавшую. Они выстроились в ряд и то приближались к сидевшим у колонн зрителям, то пятились назад, к хаосу белых плит и камней, оставшихся от римского города. Женщины пели в унисон ритмическую былинку о небесных людях-звездах, слетающих ночью к бесстрашным воинам на их длинном и опасном пути через пустыню. Тирессуэн знал эти стихи с детства и, слушая их, уносился воспоминаниями к матери: так пела и она, склонившись над его детской постелью в тихие вечерние часы, когда смолкает бляение коз, удаляются от палаток верблюды и замирает на закате вечный спутник кочевника — ветер.

Должно быть, он проспал какое-то время и очнулся от наступившей тишины.

Произошла заминка — женщины кончили выступления, а мужчины еще не воодушевились на свои воинственные танцы. Там, в тени выступа обрушенной стены, где сидели женщины, послышалась возня. На залитой луной площадке появилась среднего роста девушка в одежде, не похожей ни на длинное темное одеяние благородной ихаггаренки, ни на светлое покрывало имрадки, оставляющее открытыми плечи, ни на тонкую дешевую хламиду рабыни-харатинки...

Грубое шерстяное одеяние, по-видимому темно-голубого цвета, подхваченное на бедрах узкой перевязью, спадало широкими складками до щиколоток. Выше перевязи одежда разделялась на две широкие полосы, закрывавшие грудь и спину и соединенные на плечах большими серебряными кольцами-застежками. Руки и бока девушки оставались открытыми, маленькие, белые от пыли ноги были босы. Густейшие черные волосы, схваченные шелковой головной повязкой, низко спускались на широкий лоб. Тонкие, прочерченные прямыми линиями брови. Узкие, продолговатые глаза. Прямой нос, небольшой рот, приятная округлость лица, — в нем не было ничего от сухости черт туарегов. Девушка казалась чужеземкой. «Не арабка, не кабилка...» — заинтересованно думал Тирессуэн, разглядывая ее из-под покрывала. Девушка повернулась, отвечая кому-то позади себя, и подняла правую руку жестом шуточной мольбы, блеснув в лунном свете гладкой, как полированный металл, кожей, показавшейся Тирессуэну очень темной. Линии ее рук, очертания сквозившего в разрезах одежды тела были чеканны, как у французских бронзовых статуэток, виденных им в Таманрассете, и так красивы, что у Тирессуэна захватило дух. Он выпрямился. Дробно и нервно запели струны, засталось тронутые смятенной рукой. Голос девушки, сильный и глубокий, заставил туарега вздрогнуть, потянул, повлек за собой. Песня — полная противоположность только что слышанному! Скачущая, мятущаяся, почти неуловимая мелодия, звенящие болью и тоской вскрики, угрюмо зовущие страстные и низкие переливы, тревожные зампи-

рания... Гулкий и зловещий грохот неведомо откуда взявшегося большого барабана, тупые и отрывистые удары маленьких. От этого странно замирает сердце, нарастает дикое желание вскочить, рвануться куда-то!

А волшебство ее голоса все сильнее томило и волновало Тирессуэна. Песня металась, как преследуемый беглец в поисках выхода. Торжество, призыв, дикая радость сменялись яростными и тревожными вскриками, стихавшими в мелодии тихой беспомощностью; и опять выросло яростное сопротивление в резкой смене высоких и низких нот. В такт этой бурной, мятежной и страстной песне, отвечая быстрым спадам и переходам мелодии, двигались руки девушки, раскачивалось и изгибалось ее тело.

«Что это? — думал Тирессуэн. — Куда мчится эта песня юной жизни? Что хочет она, кого зовет с собой? Или как вырвавшаяся в пустыне арабская лошадь, она несется, не разбирая куда и зачем, наслаждаясь своей силой и быстротой скачки?..»

Ошеломленные незнакомой песней, мужчины не успели опомниться, как певица исчезла в тени. Тирессуэн не мог более оставаться в неведении. И с началом мужского танца он незаметно скользнул за обрушенную стену...

— Тирессуэн, тебя зовет начальник! — Эти слова вернули туарега к действительности. Костер догорел. Капитан и профессор, сидевшие у затихшего ящика радиостанции, казались суровыми и величественными в свете высокой поздней луны. Туарег уселся на предложенный складной стул и стал ждать. Что-то нужно французам! Они не звали бы его так торжественно только для обсуждения завтрашнего пути...

— Тирессуэн, — начал капитан, после того как туарег зажег предложенную сигарету. — Профессор Ванедж — знаменитый ученый не только в нашей стране, но и во всем мире. — Капитан сделал паузу, собираясь с мыслями.

Профессор оказался нетерпеливым, как того и ожидал туарег от европейца — новичка в Сахаре.

— Слушайте, Тирессуэн, — вмешался он на отличном арабском языке, — вы можете оказать большую услугу Франции и всему миру... науке. Как-то вы обмолвились капитану, что знаете в глубине Танезруфта, в месте, где не бывал никто из европейцев, древние развалины города. Надо думать — это ключ к древней истории Сахары, всей Северной Африки. Мы проверяли эти сведения, никто не смог подтвердить или отвергнуть их. Но такой знаток Центральной Сахары и такой проводник, как вы, Тирессуэн, не мог ошибиться, и мы хотим, чтобы вы провели нас туда. — Профессор выпалил всю тираду одним духом, словно боясь, что Тирессуэн не будет слушать, и выжидающе умолк.

— Мои познания о Танезруфте малы, — спокойно возразил туарег. — Я не был там и не видел города. А развалины древнего города — есть такие рассказы... Но где в Сахаре не говорят о развалинах?

— Вы проведете нас к тому месту, о котором говорят! — настаивал археолог.

— Я не могу вести к месту, которого не знаю. Танезруфт — слишком далеко от воды. Опасно.

— Тогда покажите на карте, где эти развалины. Мы... — Профессор осекся от резкого толчка капитана.

Наступило неловкое молчание.

— Теперь говорю я, — начал капитан на ахагарском диалекте тамашека. — Пятую экспедицию мы делаем вместе, Тирессуэн. И до этого ты ходил с хорошими людьми, большими учеными моей страны. Ты проводил наши машины далеко на запад и на юг. В стране Эль-Масс у горы Таманат, близ гурда Дьявола, вы нашли залежи соды. Еще дальше от гурда Дьявола, в семистах километрах отсюда, ты прошел опасный путь через себхру Мекер-

ране весной, когда сменяются наводнениями страшные бури песка. Вы тогда пересекли ее по всей длине до уэда Ин-Рарис. Со мной ты работал в Тефедесте от Тин-Фидияджа до Амсимассена. Мы с тобой четырежды пересекали Аретхум, и в сердце Ахагара — Атакоре — мы ходили в Тахат и Таэссу и нашли ценную руду всего в одном переходе от Таманрассета. А помнишь тяжелый путь в Танезруфт в прошлом году? У нас сломалась машина в Тассилитан-Адрар, но мы на верблюдах пошли в Тахальру и потом на юг до уэда Танеруэльт... Ох и досталось нам тогда!

Улыбка осветила суровые глаза Тирессуэна, прятавшиеся в тени покрывала.

— В Танезруфте мы работали успешно лишь благодаря тебе, твоему опыту, уму и отваге. И ты не бывал еще в Танеруэльте. Скажу еще: ты взялся вести ученых в Тибести — крепость племени тиббу. И вы нашли эннери с красными землями и скелетами огромнейших слонов и этим открытием прославились на весь мир.

— И я тоже? — с оттенком наивности спросил туарег.

— И ты, конечно, — не моргнув, солгал капитан. — О тебе записано в книгах.

— Я что-то не слышал! — равнодушно сказал Тирессуэн. — Тогда мне обещали много — медаль, деньги, как это? — выкуп, нет, по-другому... — Он запнулся по-детски беспомощно, и оба начальника увидели, что этот знаменитый проводник еще очень молод. — А ничего так и не прислали, — продолжал Тирессуэн, — даже фотографий...

— Люди бывают разные и здесь, в пустыне, и у нас, — нахмурился капитан. — Я говорю и вспоминаю это потому, что ты сможешь, если захочешь, вести экспедицию туда, где сам не был. Ты понимаешь местность, ты знаешь, как идут автомобили, а не только верблюды. Тебе за это платят много денег, больше, чем другим проводникам. И мы хорошо заплатили бы... очень хорошо!

— Мне зачем много денег? — беспечно ответил туарег. — У моей матери есть все, что нам нужно.

— Действительно, чем их соблазнишь? — негромко спросил по-английски археолог. — Автомобиля или особняка с клочком земли им не надо... Если бы он был оседлым, тогда...

— Тогда он не знал бы Сахару! Но ты неправ, Тирессуэн, деньги всегда понадобятся. Знаю, у тебя нет жены, но будет. Может быть, ты захочешь поехать к нам во Францию, Европу, посмотреть все чудеса нашего мира, увидеть Париж, театры, рестораны, миллионы красивых женщин, поехать на море!

Внезапно глаза туарега блеснули.

Капитан опять слегка толкнул профессора и, протягивая Тирессуэну сигареты, закончил:

— Подумай над этим, Тирессуэн, завтра скажешь свое решение. А сейчас надо пользоваться прохладой ночи, она, увы, коротка!

Туарег закурил, слегка поклонился и в задумчивости пошел к холмику, где, поодаль от лагеря, он расстелил свою нехитрую постель.

Лукаво улыбаясь, капитан посмотрел ему вслед, а профессор радостно хлопнул начальника по плечу:

— Ну, кажется, вы проняли невозмутимого сахарца! Неужели им всем так хочется в Париж или Ниццу?

— Поверьте мне, никто из них не может устоять перед тягой города. Где здесь, в Сахаре, эти простодушные и симпатичные дикари смогут увидеть всю мощь соблазнов нашей цивилизации? Я изучил кочевников за десять лет скитаний по пустыне. Но действовать с ними надо осторожно, вы чуть не испортили дела. Они медленно живут и медленно соображают, а наша обычная спешка кажется им просто безумием. Вот почему я дал затравку и предложил подождать с решением. И нам, я думаю, тоже лучше отложить все до завтра! Спокойной ночи...

Вопреки мнимой прозорливости капитана, туарег и не думал мечтать о Париже и прелестях европейской культуры. Растянувшись на тонком тю-фяке, положенном на коврик, тканый из жесткого верблюжьего волоса (защита от «слюны злого духа» — скорпионов и фаланг), Тирессуэн закрыл глаза. Волнение не давало ему заснуть, и он опять закурил. Как это он не догадался раньше! Слова капитана о жене, мгновенно вызвавшие образ Афанеор, совпали с предложением поездки в Европу. Только тогда Тирессуэн сообразил, что мечта Афанеор, может быть, не так уж невозможна. Ему следует попытаться. Ценой похода в безжизненный Танезруфт — гигантскую мертвую равнину в центре Сахары — он может выполнить желание Афанеор.

Он поведет французов в Танезруфт, через который есть только два пути, и оба они совсем рядом — автомобильный и караванный, пересекающие его с севера на юг. Когда-то очень важная караванная дорога для вывозки соли из Тауденни в Судан, ныне она заброшена, как почти все важные караванные пути прошлого. Лишь тысячи скелетов погибших животных, а подчас и людей отмечают белыми пятнами эти занесенные песком старые дороги. Умерла слава азалаев — огромных сахарских караванов, снабжавших страну черных драгоценной солью и доставлявших хлеб и просо не знавшим земледелия кочевникам. Умерла и доблесть туарегов, защищавших караваны от своих же собратьев и облагавших данью купцов, караванчиков и оседлых жителей оазисов, выращивающих в поте лица сладкие прозрачные финики. Теперь огромные автомобили привезут все нужное откуда угодно, а на долю верблюдов осталась лишь доставка от торговых складов и баз поближе к временным стоянкам кочевых племен. В Сахаре появилось больше пищи, уже не грозят смертью голодные годы, хотя по-прежнему женщины собирают мелкие беловатые зерна дринна и по-прежнему в Атакор съезжается чуть не весь народ Ахаггара в период созревания тауита — низкорослых пучков травянистого растения с мелкими, как манная крупа, зернами. Собирают и терфас — род подземного гриба, вырастающего ранней весной, после зимних дождей. Хлеб из пшеницы гораздо вкуснее, чем даже просынная каша, но за него надо платить! Где возьмешь денег, если рабы освобождены французами, военная дань прекратилась после замирения племенной вражды силой французских броневиков и самолетов, а верблюды становятся не нужными для перевозок?.. Французские власти всячески препятствуют караванным перевозкам, справедливо видя в них объединяющее людей Сахары дело. Мир туарегов — суровый, бедный и свободный — умирает под пятой наступающего нового мира, непривычного и неприятного... Так говорила ему и Афанеор!

Вторая встреча с Афанеор произошла в исконных кочевьях племени кель-аджеров — необъятном лабиринте обрывов, ущелий, останцов и плоскогорий Тассили дез Аджер. Окончив экспедицию в Аире, он поехал на север по уэду Тафассасет. От палаток к палаткам нес его высокий белый мехари, нагруженный всем нехитрым скарбом путешественника пустыни. Чем ближе, по уверениям местных туарегов, становилось кочевье старухи Лемта, тем большее нетерпение охватывало Тирессуэна. Его мехари Агельхок — один из знаменитых в Хоггаре бегунов — часами неся, мерно покачиваясь по плотным, как цемент, глинам солончаков — себхр, осторожно ступал по раскаленным черным камням и щебню, покрывающим плоскогорья, нырял и скользил по склонам песчаных холмов в узких проходах — таяртах. Жестокий пламень полудня, режущие холодом ночные ветры, бесконечное одиночество странника, идущего напрямик не по принятым путям, — все это, столь привычное для туарега, совсем не замечалось Тирессуэном. Он сетовал лишь, что верблюд не обладал неутомимостью автомобиля. Впрочем, какой автомобиль мог бы пройти так? Путь удлинился бы на тысячу километров, и в конечном итоге неизвестно, кто пришел бы к цели раньше.

Наконец он достиг впадины Тирхемир и указанных ему трех палаток у подножия горы Амарджан.

Какое вешее чувство предупредило Афанеор о его приезде? Он ехал так быстро, что устная почта пустыни не могла обогнать его. Но едва он завидел вдалеке черные точки палаток и верблюдов стал подниматься на пологий каменистый склон, как девушка возникла перед ним из-за груды каменных глыб. В пламенном свете солнца ее блестящая кожа была теперь совсем светлой. Синие цветы камнеломки, воткнутые над ухом, оттеняли иссиня-черный цвет ее волос, а узкие глаза смеялись и блестели. Блестящие жемчужины пота выступили над чертой бровей, когда Афанеор, учащенно дыша, подбежала ближе. Тирессуэн с удивлением заметил у нее в руках пучок мелких цветов горячего красно-оранжевого цвета. Мехари возвышался над девушкой, как боевая башня, и туарег сильно перегнулся в седле. С неизвестным чувством удовольствия он принял редкие в Сахаре цветы из рук Афанеор — подносить их воинам было не в обычаях туарегов. Тирессуэн почувствовал, как запах цветов смешался с ароматом кожи и волос девушки — чистым и солнечным, жарким, как могучий полдень пустыни, заставляющий людей склонять головы и прятать глаза под навес покрывала.

Три недели оставался Тирессуэн гостем палаток Лемта. Все сильнее становилась его любовь к Афанеор, вспыхнувшая так внезапно на музыкальном собрании у римских развалин. Женщины туарегов, владевшие языком и тайнами тифинарского письма лучше мужчин, превосходные воспитательницы детей, были гораздо выше арабских женщин — все еще узниц женской половины шатра, нежестственных, придавленных тяжким гнетом религии. Сыны Сахары женятся на женщинах своего народа или дочерях родственных берберских племен — кабиллов, но избегают женитьбы на чужеземках, инстинктивно чувствуя, что им нужна возвращенная пустыней ее гордая и неприхотливая дочь. Афанеор была чужеземкой из страны Тиббу. Однако Тирессуэн видел, что она ни в чем не уступает женщинам туарегов. Она даже превосходила их по количеству странных познаний, которые казались волшебными.

Откуда были эти познания — он не успел еще расспросить ее, больше рассказывая о своей жизни. Он родился в исконной земле тай-токов — Ахенете, в Тассили де Тарит. Потом, когда колодцы Ахенета иссякли и дыхание смерти пронеслось над страной, тай-токи ушли вместе со своими имрадами на юг — в Ахаггар и Адрар-Ифору. Но его родители, у которых он остался единственным сыном, переехали в Тидикельт, где маленького Тирессуэна выучили западной мудрости и языку в начальной школе. Едва подростки, Тирессуэн начал скитальческую жизнь вместе с отцом — проводником караванов, который научил его всей древней мудрости путей через пустыню. Отец так и погиб в дороге, и Тирессуэн заступил его место. Отец был из тех гордых тай-токов, которые не считали себя ни владельческими ихаггаренами, ни подневольными имрадами. Таких бедных, свободных, трудно живущих туарегов насчитывалось в небольших племенах по несколько десятков. Добывая средства к существованию тяжелой работой проводников или перегонщиков стад на новые далекие пастбища, они становились закаленными и не уступали даже людям племени тиббу с их сказочной выносливостью в беге, езде и охоте.

— Но Тирессуэн — не имя? — лукаво спросила Афанеор.

— Не имя, название места, — признался он. — Это для французов.

— А настоящее имя? — настаивала девушка.

— Иферлиль.

— Мне нравится оно. Мое имя мне тоже нравится, и жаль, что это всего лишь прозвище... Его придумала старая Лемта, когда меня взяла.

— Тебе хотелось назваться древней богиней луны нашего народа?

— Вовсе нет. В честь Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Ахархеллена, большого вождя кель-аджеров? Я слышал о нем!

— Да, он правил здесь пятьдесят лет назад. И у него была дочь Афанеор, прекрасная и мудрая девушка. Первая женщина туарегов, которая стала

думать о прекращении исконной вражды каль-аджеров и кель-ахаггаров и вообще всех племен туарегского народа, белых и черных...

— Разве это было возможно?

— Французы сделали это, унизив нас. А если бы мы сами? Нет нигде народа, подобного туарегам. Несмотря на войны, на древние обиды и кровь, разве не считают себя туареги потомками мудрой царицы Тин-Хинан, могила которой в уэде Абалесс и сейчас, полторы тысячи лет после ее смерти, священна для всех племен? Разве не считают себя и тай-токи и юлемиддены одним народом? Туареги — путники и воины, не привязаны к домам и вещам, глядят широко в мир — вот за что я люблю наш народ. Наша жизнь не сходится в одном месте, где есть вода и растут пальмы или просо, где жили родители и предки...

— Ценой трудной жизни в пустыне мы приобрели большую свободу, — ответил Тирессуэн, не понимая, к чему клонит девушка.

— Да, ушли в сердце пустыни, чтобы сохранить свободу. А вокруг сражались, покоряли один другого, избивали друг друга разные народы — на плодородных, удобных для жизни землях, на берегах моря и больших рек. Но чтобы жить в пустыне, надо было воспитать себя для этого — вот в чем было преимущество и сила туарегов.

— Было? — быстро спросил Тирессуэн.

— Да, его теперь нет. Автомобили и самолеты дают возможность проникнуть в глубину Сахары любому европейцу. Изнеженные французские женщины посещают теперь страшный Тефедест — когда-то недоступное непосвященным обиталище духов — и пьют ледяные напитки у черных скал с загадочными рисунками и письменами. Чужая жизнь, совсем не похожая на нашу, ломится в пустыню, и ей нет преграды.

— Может быть, наша сила в том, что мы рассыпаны по необъятной пустыне, не зная болезней, тесноты и мелководия оазисов. «Отдадите ваши шатры, приблизьте ваши сердца» — хорошая старая пословица! — рассмеялся Тирессуэн. — Все равно владеем пустыней мы.

— Напрасные слова! Рассеявшись, мы потеряли силу! Нас становится все меньше, детям жить становится труднее, чем отцам. Теперь европейцы заразили нас желанием легкой жизни. Но, добывая деньги, мы потеряли половину стада. Даже топлива не стало в пустыне — сожгли, приготавливая дорогую пищу на кухонных кострах...

— Плохое будущее! — Тирессуэн нахмурился. — Я тоже его вижу в своих скитаниях. Но зачем затеяли мы этот разговор? Будто нет слов о другом?

— Я вспомнила об Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Зачем? Умерший человек — высохший агельман.

— Нет! Пройдут дожди, и агельман наполнится водой, придет нужда, и человека вспомнят! Старая Лемта сказала мне... — Девушка осеклась, чуть было не обмолвившись о тайном союзе женщин, который создавала Афанеор. С их помощью хотела умная дочь Ахархеллена возродить древнее единство туарегов времен царицы Тин-Хинан.

— Сказала тебе? — повторил Тирессуэн.

— Она рассказала мне об Эль-Иссей-Эфе, об Афанеор и о великой северной стране. И я решила, что всю жизнь буду искать человека, который сможет побывать там.

— И ты его нашла?

— Еще нет, — протянула Афанеор, отвернувшись от туарега.

— О какой стране говорила старуха? — нетерпеливо спросил Тирессуэн.

— Не она одна! Есть предание... Поедем на могилу Афанеор, к горе Атафайт-Афа. Хорошо? — Внезапно девушка обвила руками шею Тирессуэна и притянула к себе так сильно, что он уперся ладонью в землю, чтобы не упасть.

Молодой туарег забыл про невзгоды и удачи. Все необъятное пространство пустыни исчезло в глубине темных глаз, широко раскрывшихся навстречу его взгляду.

... Два верблюда мерили размахистой вихождью пустынное плато, начисто сожженное солнцем. Ярко-желтые песчаники, плитами выступавшие из-под крупного гравия и щебня, покрылись коричневой блестящей коркой. Мехари осторожно обегали эти уступы, скользкие для их широких мозолистых ступней. Афанеор, закутанная до глаз в темно-синий плащ, казалась незнакомой и отчужденной. Молча всматриваясь в какие-то ей одной известные приметы, она ни разу не заставила мехари замедлить свой бег. Гора приближалась. Верблюды пошли по твердому дну крутого узда, лавируя между остроугольными обломками скал. Гора вознеслась над уздом отвесной стеной, расщепленной посередине будто врубом гигантского топора. Вздрыбленные и отогнутые назад пласты плотного темного камня выступали на отвесной груди горы грубыми продольными ребрами, срезанными и стертymi наверху многими тысячелетиями песчаных бурь. Моряк сравнил бы выпуклую стену горы с надутым парусом, но туарегу она казалась крепостью злых духов, властвовавших здесь в незапамятные времена. Перед зловещей горой всадники на высоких верблюдах казались ничтожными букашками. Ветер ударял с разлету в ее накаленную беспощадным зноем стену и упруго отскакивал назад, закручиваясь вихрем на дне узда и на усыпанной обвалом каменных глыб подошве. Гора отбивалась от людей, приближавшихся, несмотря на вихри песка и раскаленное дыхание темной стены. Афанеор повернула мехари, поднялась со дна сухого рула и въехала на закругленный бугор. Отсюда пологий склон плавно спускался на северо-запад к просторному регу, границы которого тонули в зыбкой дымке горячего воздуха, струившегося по раскаленной равнине. Холмик гладких, одинаковой величины камней, обнесенный овалом из синевато-серых плиток кварцита, увенчивал бугор. Столбообразная глыба базальта, несколько палок и сучков, украшенных выгоревшими, истрепанными ветром лентами, были надгробием на могиле Афанеор, дочери Ахархеллена. Другая Афанеор встала в седле и, легко миновав очень высокую, украшенную крестом луку, прыгнула с верблюда, даже не заставив его согнуть колени. Тирессуэн придавил поводья тяжелой глыбой и осторожно подошел к могиле. Девушка достала пучок разноцветных лент и стала обновлять убранство. Туарег принялся помогать ей и получил в благодарность полную любви улыбку.

— Теперь садись и слушай. — Афанеор ловко поднесла зажженную на ветру спичку к его сигарете.

И Териссуэн узнал старинную легенду о путешественнике Эль-Иссей-Эфе, приезжавшем в страну туарегов более семидесяти лет назад из очень далекой и холодной северной страны России. Он был врачом и художником, жил в Гадамесе и отсюда совершал поездки по пустыне, где и подружился с туарегами кель-аджер. По их приглашению он совершил тайную поездку в глубь Сахары, и впервые кочевники пустыни увидели европейца, не преследовавшего никаких иных целей, помимо знакомства с народом пустыни и с ее природой.

Русский врач пришел, полный уважения к туарегам, к их обычаям и суровой жизни. Он отличался удивительной для чужеземца глубиной понимания и чуткостью. С ясной и высокой душой, он, слабый и непривычный, одолевал трудности дорог через пустыню, завоевывая путь к сердцам кочевников. Эль-Иссей-Эф скоро уехал в свою страну. Осталась легенда о том, что далеко на севере живут люди, не похожие на других европейцев, но обладающие всей мудростью их, более добрые к чужим народам, которых они считают себе равными. Память о русском враче сохранилась в народе, и неудивительно, что, когда в гости к могущественному Ахархеллену прибыл другой русский путешественник — писатель, по имени, кажется, Немирдан, то Афанеор позвала его на ахаль и сама пела ему. После музыкального собрания Афанеор долго говорила с чужеземцем и окончательно уверовала в легенду об Эль-Иссей-Эфе. Далекая и недоступная кочевникам пустыни страна стала для Афанеор и ее друзей той страной мечты, какая есть у каждого, хоть сколько-нибудь знающего мир человека.

Дочь Ахархеллена и ее отец понимали, что прежняя жизнь кончается, что народ туарегов не сможет вечно скрываться в пустыне, убегая от культуры Запада. Но помочь в овладении этой культурой могла лишь та страна и тот народ, намерения которого чисты и бескорыстны, иначе вместе с чужой культурой придет и гибель туарегов как народа.

Афәнеор мечтала сама увидеть Россию, но умерла, не выполнив намерения. Эта мечта продолжала увлекать тех женщин и девушек, которые знали легенду. Так же увлекла она и новую Афәнеор...

— Известно, — закончила девушка, — что никто из туарегов или других народов Сахары еще не был в России. Но это нужно сделать! Я тоже поклялась в память дочери Ахархеллена просить своего будущего любимого побывать в этой стране. Мне посчастливилось — меня полюбил самый лучший проводник Сахары. — В голосе девушки зазвучала гордость. Она подняла голову и сделала шаг к Тирессуэну. — Перед могилой Афәнеор я прошу тебя: поезжай в страну русских, посмотри этот народ, расскажи нам, есть ли правда в легенде об Эль-Иссей-Эфе.

Необыкновенная сила убеждения была в словах девушки. Тирессуэн вздрогнул. Ему почудилось, что с ним говорит не его порывистая и задорная возлюбленная, а сама дочь Ахархеллена, вышедшая из могилы, чтобы заставить его исполнить ее желание. Туарег смущенно отступил и пробормотал:

— Никто из нас не был в этой стране. Даже если смогу я добраться туда, что я увижу и пойму в чужой жизни? Без знания языка, обычаев, природы я пройду там тенью, не в силах даже расспросить тех людей, ибо не знаю, что спрашивать.

Афәнеор опустила на землю перед Тирессуэном и обняла его ноги.

— Теперь не то, что было во времена дочери Ахархеллена. Люди летают быстро на большие расстояния, страны приблизились друг к другу. Приезжают из Франции люди, знающие не только арабский, но и наш язык. Может быть и в России ты встретишь таких людей. Но главное — даже не владея языком и не зная обычаев, просто заглянуть в душу русских, почувствовать силу, знания, искусство этого народа! Я — женщина, я не могу поехать, потому что бедна и невежественна, потому что это не в обычаях даже европейцев — они считают нас темными затворниками ислама! — Слезы покатались по гладким щекам Афәнеор, а глаза на поднятом вверх лице смотрели с такой мольбой, что сердце Тирессуэна сжалось. Он сделал еще попытку образумить девушку:

— Но ты сама даже не принадлежишь к нашему народу. Что заставляет тебя страдать с ним вместе, думать о нем и посылать меня в такой путь, какого не проделывал еще ни один из туарегов?

Девушка медленно поднялась.

— Я сирота, вскормленная туарегами, живущая одной с вами жизнью, одними стремлениями. Только, может быть... — голос девушки дрогнул, — мои чувства просто сильнее ваших. Как и моя тяга к широкому миру без вражды и невежества, к ласке и красоте...

— Я вижу, — ласково сказал Тирессуэн, — но я вспомнил, что мне говорили французы. Страна русских стала другой, там правят свирепые люди, захватившие власть и угнетающие народ. Эта страна грозит сейчас всем, и европейские страны должны вооружаться, чтобы не попасть под тиранию русских...

— Почему же ты веришь французам? А говоришь, что тебя и нас всех они часто обманывали. Может быть, обманывают и с Россией?

— Может быть, — согласился Тирессуэн; поискал, что бы возразить, и, ничего не найдя, умолк.

— Ты, наверное, считаешь меня безумной, — воскликнула Афәнеор. — Едем!

Низко поклонившись могиле Афәнеор, девушка поставила своего мехари на колени. И перед тем как взобраться на седло, обернулась к Тирессуэну. Ее правая рука поправляла повод на шее верблюда, левая подбирала складки

одежды. Спина прикоснулась к шелковистому белому боку мехари, голова откинулась назад. Туарег навсегда запомнил печальный и полный надежды взгляд Афанеор. Еще миг — и ее верблюд рванулся с места; у Тирессуэна был превосходный мехари, но мехари девушки не уступал ему...

Тирессуэн вернулся сюда, в геологическую экспедицию капитана. И вот судьба идет ему навстречу! Недостойно война прятать лицо и убегать от нее. Завтра он согласится вести ученого в Танезруфт!

Весь следующий день капитан и профессор потратили на то, чтобы уговорить нелепого туарега отказаться от его желания. Тирессуэн был непреклонен, требуя письменного условия. Капитан уверял, что в Алжире идет война, что власти не разрешат кочевнику Сахары ехать в страну смутьянов. Да и сами русские никого не выпускают к себе без особой надобности, — какова же надобность у Тирессуэна? Угрюмый туарег спокойно говорил одно и то же: русские несомненно впустят его.

Истратив все красноречие, капитан зло плюнул и приказал радисту связаться с Таманрассетом, а туарег величественно удалился в тень под обрывом, не замечая насмешливых взглядов и оживления людей обеих экспедиций. Особенно ярился Мишель, предлагая арестовать Тирессуэна, доставить в Таманрассет и держать, пока тот не укажет дорогу к развалинам.

Никто не знал, какой ответ пришел от больших начальников, но только капитан заключил с проводником письменное соглашение, по которому Комитет сахарских исследований обязывался вознаградить туарега туристской поездкой в Советский Союз.

Обе автомашины взяли курс на Таманрассет. Шоферы ехали по знакомой дороге, и машины уверенно ныряли в рытвины и сухие русла, петляли между каменными глыбами, ускоряли ход на гладких талаках.

Часами металась фара по бесконечному щебню и песку, вырывая из теплой тьмы скалистые, присыпанные песком холмы или заостренные скалы из отшлифованных ветром черных пород. В широких сухих руслах появились правильные ряды деревьев — тамариски и колючие акации — тальхи. На холмах торчали кустарники. Машины углублялись в горную страну Ахаггар. Уныло завывали передачи на тяжелом подъеме по широкому уезду, стиснутому хаосом острых скал и осыпей растрескавшегося камня. В отдалении высились конические черные горы, как гигантские кучи сгоревшего угля. Черные хребты Ахаггара становились все выше, все чаще попадались груды каменных обломков, между которыми извивалась дорога, то спускаясь, то поднимаясь. Угольно-черные горы сливались с мраком ночи в единую бесконечность каменной бездны, поглотившей машины.

Внезапно с последнего неровала вспыхнули сотни электрических огней; они сверкали далеко внизу, в огромной долине, окаймленной хребтами, пиками, плоскогорьями и острыми, как иглы, вершинами, обрисовывавшимися в тусклом свете поднимавшейся луны.

Тирессуэн постучал по кабине, подавая сигнал остановки.

Капитан распахнул дверцу и с подножки заглянул в кузов.

— Ты хочешь сойти, Тирессуэн?

— Да! — ответил туарег.

— Поедем с нами в город. Тебе дадут комнату в отеле, охлажденную льдом, где в самое жаркое время дня будет прохладно, как ночью. Ты сможешь пить ледяные напитки, есть много мяса, по-туарегски жаренного над углями. Там можно получить и отличный кус-кус со свежими овощами и крупной цельной пшеницей! Тебе придется шагать в темноте несколько километров, пока найдешь палатку. Здешнее племя дагхали бедно; возможно, у них не окажется еды... Почему ты боишься города?

— Я не боюсь, капитан. Подумай сам: если я привыкну к охлажденной комнате, к обильной еде — как пойду я отсюда в зной и пламень Танезруфта? Я не смогу более делать длинные переходы, не выдержу знобящих зимних

ночей. Мне не захочется больше возвращаться в пустыню, и тогда кто я? Презренный бродяга, ничего не умеющий, живущий воровством или подачками в грязи городских стен. Воздержанность моего народа не суеверие и не прихоть — это его жизнь. Прощай!

— На рассвете третьего дня приходи в гостиницу! — крикнул капитан в темноту, в которой мгновенно исчез туарег.

Таманрассет — новый город в центре Сахары, на месте, где когда-то стоял маленький форт-бордж и часовня миссионера. Множество красных и оранжевых построек выросло в кольце бесплодных гор, посреди искусственно орошаемой долины. Всегда яркая зелень ее полей поражает путника контрастом с морем черных скал Хоггара. Каждое строение, спланированное военными архитекторами, вливается в общий ансамбль особенного, модернизированного стиля старинных городов Судана. Широкие улицы чисто выметены, без единой соринки, как просторные дворы, обрамлены высокими красными зубчатыми стенами. Свежая поросль небольших акаций, обложенных кольцевыми решетчатыми стенками из больших кирпичей, зеленеет в каждом дворе, на каждой площади. Но еще более разительна передая тень высоких деревьев, выросших за несколько лет под жарким солнцем, кажущаяся совсем черной на залитых ослепительным солнцем площадях. Этот городок — удобное и тщательно содержащееся жилище французских офицеров, просторные виллы которых составляют большую часть городских строений.

Вернувшись возрожденными из плавательного бассейна, профессор и капитан наслаждались в отличном отеле отдыхом, едой, новостями большого мира. Археолог, попивая кофе и покуривая, в несчетный раз возвращался к загадочному желанию проводника:

— Туарег — и Советская Россия! Немыслимо! Откуда могло явиться у нашего Тирессуэна такое несуразное, а главное — настойчивое желание? Держу пари, что он не слыхал про Советскую Россию и не знает, кто такие коммунисты, да и русского-то не видел даже на картинке. Чуть какая-то; ха-ха-ха!

— Напрасно смеетесь! — сердито возражал капитан. — Это слишком нелепо и потому серьезно. Кто-то его распропагандировал!

— Агенты Кремля в Сахаре! Капитан, вы образованный, умный человек! Как же вы можете верить в эти сказки для новобранцев и фашиствующих юнцов?

— Э, не с того конца, профессор. Идеи самоопределения народов стремительно разносятся по всей Африке. Пришло время, и с этим ничего не поделаешь — знамение века. А умная политика Советов делает так, что все они смотрят туда... И вот вам самое убедительное доказательство — туарег! А я бы голову дал на отсечение, что туареги меньше всех знают о том, что делается в мире.

— И вчера потеряли бы ее! Но как же будет с поездкой Тирессуэна? Обмануть его мы не можем — потеряем всякий кредит на слово у туарегов...

— Не можем. Что-нибудь придумаем... Неизвестно, какие там еще будут развалины. Да по-моему что — пусть едет, только ненадолго: ничего не сможет понять сахарский кочевник в столь чуждой стране. Скоро зима, пусть там промерзнет как следует... Войдите! — прервал он свою речь.

Щеголеватый адъютант вытянулся, перешагнув порог, и, козыряя, протянул пакет. Капитан извинился и вскрыл тщательно запечатанное короткое сообщение.

— Прошу передать — явлюсь в назначенное время!

Адъютант вышел.

— Что-нибудь важное? — спросил обеспокоенно археолог.

— Не знаю. Через час буду знать, а пока — допьем кофе и черт с ним, с Тирессуэном. Есть интересные новости в «Ла трибюн де насъон».

Капитан вернулся через полтора часа другим, — угрюмым и встревоженным — и резко постучал в номер профессора.

— Так и знал, — упавшим голосом встретил его тот, — что-то случилось, и мы не едем!

— Вы отгадали! Мне придется направить свою экспедицию в другое место. Выезд сегодня ночью. Я вынужден покинуть вас. Поверьте, я огорчен не меньше и еще более встревожен. У меня совсем отказала радиостанция, и я не смею не выполнить приказа, но и ехать без радио нельзя!

— Может быть, возьмете мою?

— Черт возьми, это спасение для меня, профессор! Однако вам ехать в Танезруфт на одной машине без радио рискованно. Не будь у вас такой хорошей машины и главное — Тирессуэна, я ни за что не воспользовался бы вашей любезностью. Но с таким проводником есть возможность рискнуть, если хотите...

— Конечно, хочу! А что это за внезапное назначение?.. Простите за бестактность, я часто забываю, что вы военный геолог.

— Видите, теперь без Тирессуэна вовсе не обойтись, даже знай мы место развалин. Пусть едет хоть в Японию, хоть в Тибет, все равно! До свиданья, профессор, я должен идти. Примите еще раз мои искреннейшие сожаления и самую горячую благодарность. За радиостанцией подъедет Жак.

Капитан вышел, проклиная все на свете отборными словами сахарских сержантов. Полученное из Парижа распоряжение не только нарушало все его собственные планы — оно было противно ему, человеку, всем сердцем привязавшемуся к пустыне. Небольшая экспедиция получила сверхсекретное, почетное в глазах записных вояк поручение — наметить и предварительно обследовать место для ядерных испытаний, запроектированных в Сахаре французским правительством.

В разговоре с генералом уже определилось это место — рег Амадрор, огромная мертвая равнина в семь тысяч квадратных километров к северу от Атакора, там, где он обрывается крутым уступом на тысячу метров. Но капитан предложил более изолированное место — пустыню Тенере. Это абсолютно голая и безжизненная равнина, простирающаяся на двести пятьдесят километров между Ахаггаром и Аиром. Даже в Танезруфте в руслах уэдов изредка встречаются тальхи или пучки чахлой травы и редкие антилопы, но на тысячах квадратных километров Тенере вряд ли можно отыскать признаки жизни.

Тенере дальше от населенных мест и дорог, чем Амадрор, и гораздо больше его по площади, — вот чем руководствовался капитан, предлагая перенести испытания в эту местность. Однако сила взрывов современных термоядерных бомб так велика, возникающая радиоактивность так сильна и рассеивание ядовитых продуктов распада так широко, что испытания безусловно нанесут вред всей Сахаре.

Это казалось капитану преступлением, недостойным человека высокой культуры — европейца, в добрую миссию которого он верил. И сам он, выполняющий хотя бы самый начальный этап отвратительного дела, чувствовал себя предателем. Да, он тоже предаст этот свободный мир, широко раскинувшийся в горячем пламени солнца и мягкой ласке поразительно ярких звездных ночей. Мир, который он, как и все обитатели пустыни, чувствовал похожим на небо, близким вечному сиянию космоса. Капитан лихорадочно обдумывал возможность отказаться от поручения или саботировать его. И, как бесчисленное количество раз до этого во все времена и во всех странах, услужливая мысль подсказала ему, что он не сможет задержать даже на день то, что совершается. Не он, так другой, третий, десятый, двадцатый, — у военных начальников и у правительства было даже слишком много людей, которые были готовы на все: одни — по узости взглядов, другие — борясь за личное благополучие...

И еще задолго до зари машина геологической экспедиции покинула чистенькие улицы Таманрассета и направилась к юго-востоку, туда, где за горами Хоггара и живописными зелеными долинами Аира распростерлась

мертвая Тенере, скрытая крутящимися вихрями горячего воздуха и призрачными стенами миражей.

Через день большой белый автомобиль профессора, глухо ворча, одолевал длинный подъем на хребет к западу от Таманрассета. Тирессуэн беззаботно восседал на своем обычном во всякой экспедиции месте — у передней стенки кузова, над открытым окошком водителя, готовый в любой момент указать направление.

Острые черные пики Хоггара медленно отступали назад, сменялись более светлыми, округлыми — будто гигантские валуны — горами. В ущельях прекратились каменные потоки с крутых склонов. Твердое дно сухих русел стало рыхлым. Грохот сильного мотора гулким эхом доносился со всех сторон — даже от далеких хребтов.

Машина раскачивалась, ныряла, содрогаясь всем корпусом, на сыпучих песках, отчаянно колотилась и дрожала на мелких рытвинах. Пассажиров мотало, бросало и раскачивало, но это был привычный народ, с телами, приобретшими ту автоматическую способность приспосабливаться к любым рывкам машины, какая присуща бывалым морякам.

Широкими ступенями спускалась к Танезруфту горная страна. Алый сгонь восхода вспыхнул над стеной гор, и от него устремились вниз гигантские косые потоки света — розовато-пепельные внизу, на дне ущелий и у подножий уступов, все более яркие и чистые вверху. По мере того как поднималось солнце, розовый свет, заливший пустыню, бледнел, как бы выцветая от знойного дыхания дня. Совершенно черные плато из лав перемежались с утесами красноватых гранитов. Темные вулканические пики горели фиолетовым светом в лучах зари. Путешествие всегда менее утомительно, если местность разнообразна. Скалы Атакора с причудливыми фигурами выветривания, фантастическими обрывами и утесами давали волю фантазии незанятого в медлительном пути ума. Казалось, странные лица, застывшие в своей враждебности к захватившим сюда людям, смотрят с обрывистых стен; на поворотах ущелий внезапно вырастают чудовищные звери, заколдованные башни; осыпающиеся склоны кажутся развалинами неведомых городов. В знойном солнце черные камни раскаляются, как чугунные котлы. Горячий воздух струится над ними синеватыми озерами-призраками, а его восходящие потоки заставляют предметы расплываться зыбкими, неверными очертаниями, в которых глаза, уставшие от слепящего света, могут увидеть невероятные вещи. И европейцы — те, которые приходят к кочевникам Сахары внимательными друзьями, — не перестают удивляться беспредельной фантазии туарегов, для которых природа родной страны — неиссякаемый источник вдохновения.

Пески были уже не такими плотными, чаще попадались обширные конусы размывов глин, сцементированных жаром солнца. Становились ниже, отходя назад, горные края. Казалось, что каменные щупальца горного массива, тянувшиеся вдогонку за путешественниками, бессильно погружаются в море рыхлых песков, мелкого щебня и пестрых глин со сверкающими выпуклостями горьких солей. Утопающие в пустыне щупальца-кряжи расходились все шире, пока не разделились на отдельные увалы и останцы, каменными островами поднимавшиеся на равнине. Пояса рассыпавшегося в щебень камня окружали эти острова как свидетельство жестокой борьбы твердой формы с бесформенной, рыхлой массой.

Жара усиливалась, высокое солнце изливало потоки света, сиявшего настолько, что он казался серым и ощущимо тяжелым, как свинец. Свинцовой тяжестью он оседал на головы путешественников, сопротивлявшаяся ему кровь бурно стучала в висках, теснила череп нестерпимой болью. Глаза выкатывались из орбит, яркие цветные пятна кружились перед темными стеклами защитных очков. Водитель и профессор были вынуждены с усилием прогонять этот цветовой бред перегретого мозга, чтобы следить за дорогой.

Но страшная мощь солнца застилала дали завесой горячего воздуха, то отбрасывавшего в небытие, то неправдоподобно приближавшего отдаленные холмы, гряды и песчаные дюны. Все мелкие рытвины, впадины и промоины казались однообразной серой поверхностью, стелившейся ровным ковром. Это затрудняло выбор пути. Машина моталась и завывала, а сила перегретого мотора падала с каждым часом пути, несмотря на радиатор двойной емкости и восьмипластный вентилятор.

Вняв жалобам водителя, профессор обратился к Тирессуэну, как ни в чем не бывало покуривавшему на своем посту в кузове:

— Не пора ли остановиться и подождать спада жары?

Туарег покачал головой.

— Надо беречь машину, — воскликнул профессор, — почему мы не можем ехать вечером?

— Вечером сюда придет сильная буря, — отвечал Тирессуэн. — Вода в бочках будет высыхать, и придется стоять на месте. Нужно сейчас ехать дальше!

— Почему ты знаешь, что будет буря?

— Здесь всегда бури. Такое место. Горы Ахаггара сражаются здесь с Танезруфтом.

Профессор приказал водителю ехать дальше, углубляясь в Танезруфт.

Танезруфт — страна жажды, гибели и миражей — расстелился необъятной равниной. Когда-то доступный караванам не во всякое время года и лишь по единственной дороге через колодцы Ин-Зиза и эрг Афарат, страшный Танезруфт оказался удобным путем для быстроходных автомобилей. Правда, автомобили в Судан ходили по той же старой караванной дороге, снабжаясь водой на промежуточной станции Бидон-Пять. Одинокая машина археологической экспедиции несла в двух белых бочках солидный — в триста литров — запас воды и могла не заходить на станцию. Неглубокое сухое русло к концу дня приютило путешественников, растянувшихся на песке под машиной. Это была единственно возможная в Танезруфте тень — маленький прямоугольник, которого едва хватало на пять человек, и было жутко отойти от нее на шаг в неистовствующий пламень солнца. Будто все живое исчезло с лица земли, и пятеро путешественников остались последними людьми в море слепящего зноя на песке, сверху присыпанном мелким серым щебнем.

Пустыня огнем веяла в лица пришельцев; от ее дыхания трескались губы, лопались кровеносные сосуды в глазах и в носу, становилось все труднее поднимать отяжелевшие веки. Во рту появилось отвратительное ощущение — точно язык, покрытый ранами, касался сухой бумаги или ткани. От смачивания водой боль проходила, но вскоре появлялась снова. Люди были испуганы Танезруфтом, но слишком отупели и измучились, чтобы роптать на судьбу, как это делают европейцы во всех трудных случаях своей жизни...

Незаметно бесконечный день перешел в вечер, и ярость опустившегося солнца наконец ослабела. Машина выбросила длинную тень, в которой укрылось бы полсотни людей, но теперь в ней не было нужды. Все кругом приобрело отчетливость очертаний, стали видны и пологие волнообразные всхолмления пустыни, днем размытые в сероватом тумане раскаленного воздуха. Вялые и ослабевшие люди расселись по своим местам, и водитель, проклиная день и час своего рождения, запустил мотор. Белый грузовик принялся покачиваться и нырять по пологим буграм. Проплыли мимо узкие уэды с одной-двумя тальхами в половину человеческого роста или редкими пучками иссохших трав. Экспедиция углубилась в Танезруфт, — вокруг не было ничего, кроме уплотненного бурями песка, иногда прикрытого полосами и клиньями темноватого гравия и дресвы. Насколько хватал орлиный взор туарега, насколько хватал десятикратный бинокль профессора, стелилась равнина, тонувшая вдали, у горизонта, в пылевой дымке...

Внезапно люди встрепенулись. Очень четкая, совершенно прямая линия прорезала равнину Танезруфта на всем ее видимом протяжении от север-

ного края горизонта до южного. Ближе линии разбежались, разъехались, как пути на железнодорожной станции, и превратились в широкие следы могучих машин. Профессор остановил автомобиль. Путешественники невольно застыли перед величественным зрелищем.

Что такое след автомашины на избитых дорогах между деревнями и заводами родной Франции? Совсем обычное дело, не привлекающее ничего внимания! А на асфальтовых или бетонных шоссе след машины едва заметен и нужен разве лишь расследующему происшествие специалисту. Но здесь, в глубине страшной пустыни!.. Вот главный след, глубоко раскатанный широкими шинами тяжелых автобусов и грузовиков, с четкими рисунками протектора. Он уносится вдаль — узорчатый, прямой и непреклонный. Две его колеи постепенно сближаются и наконец сливаются в одну узкую ленточку там, у мутнеющей ровной грани пустыни и неба. Рядом идут еще следы, более старые, частью уже сглаженные ветром. Кое-кто из неведомых водителей предпочитал свой собственный путь — тогда, отделенный полосой нетронутого песка от главной колеи, тянулся неглубокий, но отчетливый во всех деталях протектора след, уносящийся через Танезруфт к невидимой цели. Вся мощь нашего времени, казалось, сосредоточилась в этих стремительных, слишком прямых линиях — знаках победы машины над пустыней, над самой недоступной и опасной частью Сахары, которая не смогла ни задержать, ни замедлить бег железных верблюдов двадцатого века!

Машина археологической экспедиции, постояв немного, пересекла путь транссахарских автомобилей и здесь, на ровном участке, пошла печатать свой след, такой же прямой и четкий. Одинокая машина долго шла во мгле заката, затем по узкой дорожке света от фар в непроницаемом море ночной тьмы. Короткий ночлег, и снова путь с остановкой под высоким обрывом у начала большого эрга Аземнези задолго до наступления жаркого времени дня. Отсюда дорога сделалась тяжелой — рыхлые пески покрыли всю площадь эрга. Машина продвигалась на подстилаемых «лестницах» из связанных цепью деревянных плашек и сделала за вечер лишь несколько километров.

На утренней заре грузовик, словно отдохнувший за ночь, быстро вылез на сыпучий подъем окраины эрга. Дальше на запад местность была усеяна конусовидными холмами песка, тупо срезанными на верхушках и покрытыми удивительной рябью — сеткой чашеобразных углублений. Тирессуэн повел машину в обход этих холмов, на подъем к каменной гряде, внезапно возникшей среди песчаного пространства.

— Далеко ли развалины, Тирессуэн? — окликнул проводника профессор, с тревогой подсчитывавший в уме, сколько литров бензина ушло на борьбу с песчаным дном эрга Аземнези.

— Уже близко, там. — Туарег показал на юго-запад, где на пологом скате гряды виднелось множество закругленных ветром черных глыб, издалека казавшихся толпой каких-то черепахообразных существ.

Ученый вздохнул с облегчением.

— Почему здесь такие странные холмы? — спросил он, указывая на конусы песка с их скульптурной поверхностью.

— Ветер, — лаконически сказал туарег, описывая рукой несколько кругов, и все поняли, что он говорит о крутящихся вихрях, вздымающих столбы песка на высоту в полкилометра и сокрушающих все, что не камень или не вросшее в землю двадцатиметровыми корнями растения пустыни...

Снова медленно ползут, уподобляясь ходу машины, часы. Опять свинцово-серая мгла тяжкого зноя, звонкий стук пальцев перегретого двигателя, едкий дым горящего масла. Но вот машина поднялась по твердому скату. Круглые глыбы, пирамидальные навесы, острые выступы сменялись стенами, башнями, воротами... Тревожная догадка заставила профессора встрепенуться. Невежественные и фантазирующие сыны пустыни иногда принимают за развалины похожие формы выветривания скал! Неужели и его

экспедиция сделается жертвой подобной ошибки? Ох, ублюдок дьявола, так и есть!

Туарег властным жестом остановил машину в тот момент, когда водитель собирался заявить профессору о необходимости остановиться и переждать жару.

Вне себя от ярости, жары и тяжелой дороги, археолог выскочил из кабины.

— Куда мы приехали? Где развалины? — завопил он.

Глаза Тирессуэна, едва видные под навесом головного покрывала, блеснули гневом. Неторопливо подняв левую руку с широким кожаным браслетом, за который был заткнут кинжал с крестообразной рукоятью, туарег показал вниз.

Машина остановилась на краю плато, заваленного сплошной каменной россыпью. Черными контрфорсами спускались сглаженные ветром обрывы, прорезанные глубокими и короткими оврагами, придававшими всей скалистой стене фестончатый контур, будто выполненный рукой человека в затейливом архитектурном замысле. Под обрывом стелился небольшой серир — равнина, покрытая обломками отглаженных ветром кремнистых сланцев с углублением древнего озера, от которого осталось круглое пятно островерхих дюн.

А на равнине, отчетливые даже в дымке горячего воздуха, виднелись обрубленные стены, сложенные из глыб красного камня, какие-то пересекающиеся выступы, проходы ворот и улиц. Вот и несомненные башни — только кретин может их спутать с нерукотворными созданиями ветра! Площадь развалин была невелика, но постройки очень массивны и несомненно древнего происхождения.

Французы закричали. Секунду назад готовые смотреть на Тирессуэна как на идиота и преступника, они наперебой хвалили проводника.

— Зачем же стоять здесь? — воскликнул профессор. — Осталось несколько километров. Развалины совсем близко! — И археолог перевел для Тирессуэна свой вопрос по-арабски.

Проводник объяснил, что дальше дорога очень плоха. Лучше пойти к развалинам пешком и осмотреть их.

— Нам не смотреть их надо, а изучать, — возразил археолог. — Надо побыть там дня три, сколько хватит воды...

— Лучше посмотреть, потом приезжать снова. Привозить запас воды, пищи...

— Сначала надо выяснить, стоит ли. Бессмыслица — ходить отсюда по жаре, будто мы на курорте... — Профессор спохватился, что туарег не понимает его и смотрит с вежливым, чуть снисходительным любопытством.

— Надо подъехать. И сейчас же окончательно расположиться на месте исследования. Незачем терять время на остановку, — настаивал археолог. Туарег послушно полез на свое место у кабины. Машину долго заводили, и наконец она тронулась. Проводник, умело выбирая путь, повел ее направо, где плато плавно понижалось и фестоны крутых ущелий превращались в широкие углубления промоин.

Визжа тормозами, машина спустилась по плитам песчаника в углубление, крупный щебень заскрежетал под массивными шинами. Грузовик пересек промоину. Форсируя мотор, водитель кинулся на штурм подъема. Гром мо-





тора, вой низшей передачи и обычное раскатистое эхо... Вдруг стрелка масляного насоса упала налево, к нулю, слабый хруст послышался в недрах двигателя, и побелевший шофер выключил зажигание. Машина покатилась вниз, замерла, схваченная тормозами, и стала оседать, скользя на крупном песке, катавшемся под неподвижными колесами, как дробь. Все метнулись к бортам, боясь, что грузовик опрокинется. Но машина медленно сползла к промоине и задержалась, упершись в выступ каменной плиты.

— Что, что случилось? — выдавил из себя археолог. Ответственность начальника, до сих пор существовавшая лишь в плане исследования, вдруг перед лицом опасности стала огромной. — Попробуйте... — начал он.

Водитель мотнул головой и, запустив мотор, сразу же выключил его. В гнетущем молчании все сгрудились около машины, в то время как шофер полез под капот. Тирессуэн уселся на камнях и переводил взгляд с одного лица на другое, стараясь понять случившееся.

Скоро выявилась вся серьезность повреждения. Маленькая шестеренка масляного насоса разлетелась на куски, повредив вторую. Ошибка ли, небрежность изготовления или плохое качество материала, угрожавшие там, во Франции, лишь волочением на буксире или несколькими часами ожидания, здесь, в Сахаре, для одинокой машины стали смертным приговором. Только профессор и радист знали, что они отдали радиостанцию капитану, понадевшись на прочность своей машины и обилие запасных частей. Но среди всех этих частей не было нужной, ибо поломка масляного насоса — редкий случай для современного автомобиля...

Пока сотрудники экспедиции осознавали положение — с проклятиями, молчаливой тоской или в трусливом смятении, — профессор и туарег, согнувшись над картой, старались как можно точнее установить место аварии. Самое близкое и самое надежное — линия транссахарской дороги, которую они пересекли. Это сто сорок километров на восток. Если идти прямо в Бидон-Пять — сто восемьдесят — сто восемьдесят пять километров. Зато

там можно достать шестеренки или вызвать срочную помощь. Но европеец в Танезруфте вряд ли пройдет и шестьдесят километров. Это значит: если за эту попытку не возьмется туарег, то все они погибли.

Шумные и нетерпеливые, заносчивые и мелочные, европейцы теперь стали медлительны и суровы. Полные тревоги, они зорко следили за Тирессуэном.

Так мелкие хищники сидят вокруг льва в ожидании, какое решение примет могучий зверь. Так следят обвиняемые за судьей, вышедшим огласить приговор.

Туарег курил, бросая мимолетные взгляды на карту и снова уходя в неподвижное созерцание чего-то, проходящего перед внутренним взором. Участники экспедиции догадывались, что Тирессуэн призвал на помощь всю свою колоссальную память, весь свой опыт, все рассказы товарищей и старинные предания, чтобы решить, куда идти. Сто восемьдесят километров — это было слишком много и для табу, не только для туарега, но Тирессуэн считал себя равным этим замечательным властелинам пустыни — властелинам, завоевавшим ее без технической мудрости европейцев, единственно с помощью своего выносливого тела и стойкой души!

День клонился к вечеру. Тирессуэн словно очнулся. Он откинул назад головное покрывало, тяжело вздохнул и застенчиво улыбнулся. И европейцы увидели, как еще молод и добр этот суровый кочевник, становившийся таким грозным в своих темно-синих одеждах, с закутанным лицом.

— Пойду на Бидон-Пять! — объявил туарег. К нему бросились, пожимали руки, заискивающе хлопали по плечу, предлагали любые консервы, вино и сигареты.

Туареги не едят ни рыбы, ни яиц, ни птицы, и Тирессуэн опасался консервов. Он согласился взять флягу с водой, немного шоколада и соленых галет, а также набил пазуху сигаретами.

— Возьмите мой компас, Тирессуэн, — предложил шофер, но кочевник отказался и от карты и от компаса. Звезды и солнце — вот безошибочные путеводные маяки туарега, а небо пустыни почти никогда не бывает закрытым.

— Мы так благодарны тебе, Тирессуэн! — воскликнул растроганный профессор. — Мы, если спасемся, никогда не забудем, что ты делаешь для нас...

— Я еще ничего не сделал. — Туарег снова стал суровым. — И не для вас — ведь я спасаю и самого себя. Если я буду ожидать счастливого случая, то погибну наравне со всеми. Воды — на пять дней... Что случится за это время?

— Да, да, конечно, — поспешно согласился археолог. Сомнение метнулось в его глазах, следивших за Тирессуэном, губы дрогнули. На лице стоявшего рядом шофера отразился еще более откровенный испуг. Тирессуэн понял. Как все мелкие люди, считающие себя проникательными, они думали прочесть в Тирессуэне собственные мысли и скрытые чувства. Они боялись, что туарег просто сбежит.

Подозрение спутников рассердило Тирессуэна, но, поборов себя, он сказал:

— Теперь надо спать — до наступления ночи.

Отойдя за каменный выступ, он принялся расстилать плащ на маленьком пятнышке тени. Не успел он сделать этого, как услужливые руки раскинули брезент, положили мягкий тюфяк. Спутники ходили тихо, разговаривали шепотом. Туарег лежал и думал: почему европейцы могут хорошо относиться к жителям пустыни лишь когда приходит беда и необходимость в их помощи? Европеец становится по-настоящему человеческим в тисках жестокой нужды, — это туарегу казалось низостью.

Тирессуэн проснулся, как назначил себе, — в вечерних сумерках. После молитвы, напившись вволю и немного поев, он повернулся к востоку и неторопливо зашагал в своих широких сандалиях, напутствуемый ободряющими криками.

Профессор долго смотрел туда, где растворилась в прозрачной темноте высокая фигура проводника. Снедаемый опасениями, он в сотый раз клялся

щедро наградить туарега, если тот вернется... Но ведь если он не вернется, некому и не за что будет награждать. Их найдут, конечно, но какое это будет иметь значение для всей его небольшой экспедиции!.. И снова археолог проклинал себя, что поддался на просьбу капитана, поверив в его опытность и уверенность. Никакая опытность не может противостоять случайности, и это он как ученый должен был бы знать! К дьяволу эти терзания — радиостанции-то нет!

Неслышно приблизился молодой ассистент профессора:

— Ваши распоряжения на завтра, шеф?

— Подъем до зари. Отправимся на развалины — надо же осмотреть это трижды проклятое место! Огюст, шофер, останется с машиной и приготовит обед. Пойдем мы трое — вы, я и Пьер.

Развалины отстояли дальше, чем казалось профессору. Они были к тому же захватывающе интересными, и когда археолог спохватился, что пора возвращаться к машине, солнце поднялось уже высоко. Обратный путь оказался профессору настоящей пыткой. Борясь с желанием выпить весь остаток воды во фляжке, грузно шагая по хрустящему грубому песку и перекатывавшемуся под ногами черному щебню, археолог чувствовал, что его тело ссыхается, как в палящей печи. Мысли метались, назойливо возвращаясь то к ледяной шипучей воде отеля в Таманрассете, то к сказочному разнообразию напитков на любой из улиц Парижа, то просто к холодным ручьям и рекам, которыми он так пренебрегал в Европе, не подозревая, какую живительную силу таят в себе эти потоки обыкновенной воды... Воды! Профессор громко произнес это слово, слегка всхлипнув от воображаемого зрелища холодного и чистого горного потока, чудесно журчащего по камням!

— Сюда, шеф! — окликнул его молодой помощник, указывая на небольшой песчаный холм с обрывистым восточным склоном. Растянувшись на земле, за этим склоном можно было укрыть в спасительной тени голову и плечи.

Ассистент посмотрел через плечо на горный уступ, где засел автомобиль, взвесил на руке фляжку и со вздохом положил ее обратно, под бок.

— Кажется, мы никогда не дойдем, — промямлил студент-радиотехник Пьер, перехватив взгляд ассистента. — И с каждым шагом теряешь силы. Знал бы, взял на плечи ведерный термос...

— И тащился бы с тяжестью еще медленнее! — возразил ассистент.

— Зато пил бы! Пил! Представляешь, сейчас литра два холодной воды...

— Довольно! — оборвал его сердитый окрик профессора. Археолог лежал ничком, и его голос шел будто из-под земли. — Я запрещаю разговоры о еде, о лимонадах, о Париже с его кафе и пивными, где на каждом шагу можно пить сколько угодно. Хватит болтать о реках, о купанье!

Молодые люди переглянулись. Никто из них и не думал говорить ничего подобного. Ассистент покрутил пальцем у своего виска.

— Где-то сейчас Тирессуэн? — вдруг спросил студент. — Что он делает? Нам идти осталось километров шесть, а сколько ему?

Профессор повернулся набок. Он отчетливо представил себе высокую синюю фигуру, безмерно одинокую среди палящего океана Танезруфта, такую хрупкую перед чудовищной силой пустыни...

— Пойдемте, мальчики! — твердо произнес он, вставая.

— А что там, профессор? — вдруг спросил студент, показывая на запад.

— Очень далеко до помощи! Огромные себхры, древняя караванная дорога в Тимбукту и знаменитые соляные копи Тауденни, в которых обитает кучка людей.

— Соляные копи в центре Сахары! Кто же копает там?

— Раньше рабы, а теперь и свободные люди, соглашающиеся прожить там от одного каравана до другого.

— А если караван опаздывал?

— Все погибали, что и случалось не один раз. Погибали и караваны в пути из Тимбукту в Тауденни. Например в 1805 году караван из тысячи восьмисот верблюдов и двух тысяч людей погиб весь, до последнего человека. Никто не спасся! Небольшая ошибка проводников или пересохшие от бурь колодцы — и все...

— Золотая соль доставляется в страну черных!

— Вы правы, соль прежде ценилась на вес серебра. Чернокожие люди защищены от ультрафиолетового излучения солнца, зато получают больше нагрева от инфракрасного и сильнее потеют, чем белые. Потребность в соли у них выше. Многие путешественники описывают страшный соляной голод, который мучил чернокожих земледельцев и в лесах и в саваннах...

Ассистент, жадно прислушивавшийся к разговору, остановился:

— О, я понял важную штуку, шеф. Вот почему наш Тирессуэн и все туареги закутаны в свои темно-синие покрывала. Они белокожие, и им надо защищаться от вредного сахарского солнца!

— Совершенно верно! И добавлю: знаете ли вы, что есть так называемые белые туареги? Это чернокожие, которые носят белые покрывала, защищенные для ультрафиолетовых лучей, которые им не страшны, но отражающие инфракрасные тепловые лучи, которые слишком нагревают темную кожу. Прежде эти чернокожие были рабами. Им закон запрещал носить синее, и они ходили в белом — то, что им и было нужно. Пусть-ка поразмыслят над этим господа медики, они мало думают о таких вещах...

Последние сотни метров по крупному булыжнику у подножия обрыва были настоящей мукой. Вода уже была выпита, терзала жажда, заволакивало красным туманом глаза. Хватая ртом раскаленный воздух, три исследователя вскарабкались на обрыв, одолевая его на четвереньках, и повалились в тень машины, пока Огюст торопливо наливал большие суповые чашки. Жажда — не голод, и напившийся человек быстро оживает. Остается лишь клонящая в сон усталость. Охотники за древностями задремали в тени тента, который Огюст растянул у борта грузовика. Это была уже реальная защита от солнца Сахары, и европейцы скоро приободрились. По обе стороны промоины, в которой засела машина, высились закругленные склоны утеса из белого песчаника. Камень покрылся темно-коричневой, почти черной корой, блестящей на солнце, как броня. Остывание скал в холодные ночи избородило склоны широкими трещинами, по которым черная корка отслоилась исполинской шелухой. Ослепительно сверкали белые камни там, где отваливался черный покров. От резкого контраста блестящей, как черное зеркало, коры и спящих белых пятен рябило в глазах. Бескрасочный серый свет над пустыней тоже не давал отдыха зрению. Только глетчерные очки спасали европейцев. Они лучше стали понимать, что обычай туарегов-мужчин чернить краской веки возник вовсе не как требование моды или своеобразной эстетики.

Ночью путешественники оживали после дневного отупения. Если день казался океаном зноя и слепящего света, то необъятная звездная ночь Сахары становилась бездной бесконечного неба, уносившего человека в такие глубины и дали чистой, прозрачной темноты, что невзгоды, опасности и даже сама смерть начинали странным образом казаться чем-то незначительным.

В Европе кончалась осень. Здесь она выразилась лишь в наступлении холодных ночей, казавшихся ледяными после адского дневного пекла.

Было невыразимо отрадно лежать на спине, закутавшись в шерстяное одеяло, и отдаваться гипнотизирующей власти бездонного неба, погружая свой взор в звездные рои Млечного Пути.

Украдкой подступали мысли о Тирессуэне. Туареги не взял с собой одеяла, и если он не сгорел в огненной печи дня, то неминуемо должен был замерзнуть ночью. А тогда исчезнет и возможность легкого спасения для тех, кто остался у бочек с водой, под спасительным тентом, кто укрывался теплыми одеялами в злобящие ночи...

Только на третий день стоянки исследователи стважились на вторую экскурсию к развалинам. Двадцать четыре километра пути туда и обратно были бы не страшны для ночного похода. Но изучать развалины ночью, как на грех — безлунной, было невозможно. Волей-неволей археологи задерживались до знойного полдня, и поход становился для них мучением. Решено было отправиться на развалины к вечеру, поработать там немного, переночевать и использовать время от утренней зари до девяти часов, когда следовало быть у машины.

Никогда исследователи не решились бы повторить подобную ночевку. На свет костра из развалин выползли тысячи скорпионов и ядовитых пауков — фаланг. Все это скопище ринулось к расположившимся на ночь людям. Костерчик из жалких стеблей, принесенных с собою щепочек и бумаги быстро догорел и люди остались во тьме в неравной борьбе с ползучей и ядовитой гадостью. Единственным спасением было поспешное бегство в лагерь, как можно дальше от развалин. Всю ночь в шорохах ветра людям чудились ползущие скорпионы. Опять не хватило питья, хотя Пьер и ассистент сдержали обещание и тащили в заплечных мешках большие термосы. В третьем походе, снова днем, профессор получил легкий тепловой удар. Его молодые помощники одни ушли в четвертый поход на развалины, а ослабевший ученый лежал под тентом. Молчаливый Огюст хмуро поил его бульоном из концентратов. Несколько раз археолог заставлял его измерять воду в последней бочке и с ужасом убеждался, что в походах сквозь палящий зной Танезруфта они израсходовали ее слишком много.

Профессор бросил взгляд на восток. Черная россыпь обточенных ветром пирамидальных камешков полого поднималась к серому, угрюмому, без единого облачка небу, сокращая видимость восточного горизонта до нескольких километров. Туарег должен был появиться оттуда неожиданно — через несколько минут или дней — или не появиться совсем. Профессор вспомнил свои опасения, что Тирессуэн может бросить их на произвол судьбы, но все, что он знал об этих детях пустыни, противоречило такому предположению. Но Тирессуэн мог погибнуть, как безусловно погиб бы любой из них, отправившись в подобный поход. Если туарег погиб, то все равно идти придется, идти всем! Даже если проводник не вернется через два дня, надо бросать все, кроме воды, и шагать по следу своей машины. Археолог представил себе этот безнадежный путь и внутренне содрогнулся.

Свинцовое небо душило его, угасавший после полудня ветер шумел по камням назойливо и безотрадно. Край тента размеренно хлопал по застывшей машине, — застывшей безнадежно, как эти источенные ветром и почернелые от солнца скалы, как весь этот сожженный и мертвый мир, поймавший в западню его экспедицию.

Пятый день! Никто уже не ходил к развалинам — сэкономили воду. Люди валялись, курили, без охоты играли в карты. Профессор заметил, что во всех разговорах старательно избегали одной темы — о Тирессуэне. Видимо, слишком серьезен был этот вопрос для каждого из путешественников, чтобы обсуждать его в праздно болтовне. Лагерь, автомашина, все окружающие предметы создавали привычную походную обстановку, ничем не напоминавшую о беде. Но пустыня вокруг, угрюмо шуршавшая ветром, стояла настоительно враждебной, словно готовясь к решительной атаке на горсточку привязанных к машине людей. Будто они перенеслись на другую планету — настолько непохоже здесь было все на мир, с детства привычный европейцу. Раньше в быстрых автомобильных маршрутах пустыня воспринималась ими как некая нереальность. Теперь же, окружая маленький бивак, она, стояла, казалось, как вечная угроза всему живому. Никак нельзя было поверить, что на востоке, всего в полтораста километра от лагеря, бегут через пустыню быстрые машины. Любая из них перенесла бы путешественников туда, где их жизни не будут более качаться на зыбких весах случайности. Там пролетают аэропланы. Стоит любому из них немного отклониться от обычного пути, и их заметят с воздуха — помощь придет через несколько часов!

Шестой день — последний день возможного ожидания. Готовясь к губительному походу, молодежь не выдержала. Люди крепко напились, пытаясь успокоить нервы и легче свыкнуться с неизбежным.

Начавшийся день был особенно жарким, точно пустыня, предчувствуя наступающий период прохладных ночей, изливала днем весь запас своей огненной ярости. Профессор, еще не вполне оправившийся от теплового удара, лежал в полузабытьи. Медленно, точно увязая в жаркой смоле, ворочались мысли. Его спутники, измученные зноем и тяготевшим над ними сознанием обреченности, противно храпели, сопели, тяжело вздыхали, беспокойно дергаясь во сне. Мрачный Огюст изредка стонал, а Пьер жалобно всхлипывал.

Профессор приподнял тяжелую, словно чугунную, голову и огляделся. Он ничего уже не ожидал от изученного до отвращения ландшафта. Вдруг археолог дернулся, провел рукой по лицу, прогоняя сон. Поодаль от машины, на заваленной черными камнями плоском дне промоины росла небольшая тальха. За ней виднелось что-то высокое, белое... Неужели? Да, это мехари! Громадный верблюд приближался к лагерю, неся закутанную в обычное темное одеяние фигуру. Переметные сумы из узорной кожи свисали с убранного серебром седла с лукой в форме креста. К левому боку верблюда была приторочена винтовка, дулом вниз...

Комок, подступивший к горлу профессора, помешал ему закричать. Археолог вскочил на ноги. Мехари подошел вплотную. Никогда не думал

археолог, что туарег на верблюде окажется таким гигантом. Величественная фигура рыцаря пустыни наклонилась с высоты мехари. Он, Тирессуэн!

Внезапно раздался крик над ухом археолога. Это проснувшийся ассистент увидел туарега. Его товарищи, не успев подняться, завоили, точно орда людоедов. Все побежали навстречу туарегу, который опустил верблюда и медленно, видимо от большой усталости, слез с седла. В ответ на молчаливый вопрос путешественников Тирессуэн порылся за пазухой и протянул на раскрытой ладони две маленькие шестерни, завернутые в промасленную бумагу. Огюст схватил их, всхлипнул, потряс руку туарега и бросился к машине, так ничего и не сказав. За ним поспешил его всегдашний помощник Пьер. Минуту спустя они уже открыли капот и полезли под машину.

Тирессуэн устало потянулся, уселся под тентом и закурил обычную сигарету. Будто и не было серьезного несчастья, не было шести тяжких дней, полных тревоги и опасности. Туарег по обыкновению ожидал, пока его спросят.

— Бидон-Пять? — Профессор показал на восток.

— Да.

— Как дошел, тяжело было?

— Да. Много солнца. Горопился.

— Устал?



— Да.

— А верблюд откуда?

— Ездили со станции на машине в кочевье знакомого. Взял доехать. Археолог прекратил расспросы и предложил Тирессуэну отдохнуть. Через час Огюст и Пьер, сгорая от нетерпения, попытались завести машину, но профессор яростным жестом запретил им. Только когда солнце начало склоняться к горизонту, проводник проснулся. В тот же миг заревел мотор, будто тоже очнувшийся от долгого сна. Все путешественники, не исключая и профессора, принялись поспешно свертывать лагерь, а Тирессуэн долго пил теплый чай, заедая финиками, которые он отламывал от комка, извлеченного из седельной сумки, и совал по обыкновению под лицевое покрывало, чтобы не показывать рта. Французы подошли приласкать спасшее их животное и отшатнулись. От мехари исходил отвратительный запах. Тирессуэн заметил недоумение спутников.

— Если верблюд долго идет по жаре и не пьет — он пахнет очень плохо! Я должен был ехать днем, зная, сколько у вас воды.

Профессор испытывал желание крешко обнять Тирессуэна, высказать ему горячую благодарность за выручку, за тяжелый поход. Но туареги сидели с прежним спокойным достоинством, будто ничего не случилось. Археолог чувствовал перед ним смущение, заставившее его сдержаться.

— А как же верблюд, Тирессуэн? — подошел к проводнику шофер.

— Да, совсем забыл, как же мехари? — спохватился профессор.

— Напоите верблюда, дайте мне запас воды и отправляйтесь, — ответил туареги.

Медленно, обходя каждую выбоинку, грузовик поднялся на плато и повернул на восток по собственным следам. Огюст ехал с предельной осторожностью, твердо решив ничем не рисковать, пока они не выберутся из этой западни и не наполнят водяные бочки. Сверху они еще раз увидели белого верблюда и едва заметную фигуру туарега, улегшегося в тени скалы в ожидании ночи. Тирессуэн находился на пределе усталости, и его европейские спутники опять ощутили угрызения совести за поспешность. Но после всего пережитого казалось невозможным остаться здесь лишний час. А туареги?..

Что ж, для него пустыня — родной дом. Их женщины ездят в гости к подругам за двести-триста километров, а мужчинам ничего не стоит провести несколько суток в пути, чтобы услышать новости... Все это так, но если бы это произошло в другом месте, а не в Танезруфте, тогда бы они уехали со спокойной совестью.

Но машина перевалила за гребень плато, проклятое место скрылось из виду, и оставшийся позади проводник перестал смущать совесть европейцев. В конце концов до Бидона-Пять, где они должны его дожидаться, не так уж далеко для быстрходного мехари!

— Я прошу вас срочно связать меня с министерством, генерал!

— Полно, профессор, стоит ли вам так волноваться из-за какого-то туарега с его бешеными претензиями!

— Поймите, что я и вся моя экспедиция обязаны этому вовсе не какому-то, а замечательному человеку жизнью!

— Он только выполнял свои обязательства!

— Я тоже только выполняю свои. Это для меня — вопрос чести. У вас, военных, есть свой кодекс чести, у нас, ученых, — свой. Позор, что проводник третью неделю ждет разрешения пустякового вопроса. Болтается где-то около Таманрассета. Хорошо еще, что туареги терпеливы, он не надоедает мне. Наш брат француз...

Генерал поморщился:

— Вопрос вовсе не пустяковый, профессор. Поймите, что у нас непопулярная война в Алжире, чуть ли не с родственниками Тирессуэна...

— Положим, арабы и туареги — мне ли вам говорить...

— Есть еще одно обстоятельство, неизвестное вам. Под честное слово, профессор! Ни одному человеку, ни при каких обстоятельствах...

Заинтересованный ученый согласно наклонил голову.

— В Центральной Сахаре проектируются испытания нашей, французской, водородной бомбы! Понимаете всю сложность обстановки, которая возникнет, как только секрет станет известным? А он неминуемо станет известен! А мы — отправим туарега в Советскую Россию!..

— Испытание... Здесь, в Сахаре! — Археолог был ошеломлен и потерял все возобновленное после возвращения из Танезруфта достоинство. — Вы будете проводить испытания!

— Да, где же еще нам найти столь подходящие условия, черт возьми! Ну вот вы теперь сами убедились! Еще бокал, профессор?

Археолог молчаливо выпил придвинутый ему аперитив, закурил и решительно выпрямился в кресле.

— Я все же буду настаивать, генерал!

— Что ж, я предупредил вас, профессор! — кисло усмехнулся губернатор и позвонил адъютанту.

Профессор вернулся в свой комфортабельный номер с чувством досады, большим, чем того стоило упрямство генерала. На полированном столе лежали куски древней керамики из развалин в Танезруфте. Археолог задумчиво поднял тяжелый кусок изделия двадцатипятивековой давности чтобы в сотый раз полюбоваться находкой, предвкушая сенсационное сообщение в печати. Но странное дело — победные результаты экспедиции чуть было не оказавшейся роковой, как будто потускнели. Преподобности исследователя, открывшего для мира новое, у археолога не было. Ему показалось, что поездка туарега в Россию почему-то для него важнее древности, извлеченной из забвения в глубине пустыни. Заинтересованный этими новыми для него ощущениями, ученый вытянулся в кресле и зажег сигарету. Может быть, дело в том, что подсознательная благодарность Тирессуэну еще очень сильна после пережитых испытаний? Нет, не в этом дело! И не в том, что совесть человека науки, поставившего целью жизни раскрывать и отстаивать истину, была более неуступчивой, чем у политика и военного. Генерал пытался сыграть на его патриотизме. Он, сын Франции, любит ее не меньше, чем этот властный генерал! Но не к лицу ему, человеку мыслящему и к тому же историку культуры, дешевая демагогия — высокие слова о миссии европейца, несущего культуру дикарям-туземцам. Вторая четверть двадцатого века наглядно показала человечеству, что все это — навоз для почвы, на которой пышно зреет фашизм. И тут еще эта бомба — готовится великое отравление Сахары! В этом случае судьба сахарских кочевников, и без того трагическая, станет попросту ужасной! К дьяволу эти мысли! Если он может помочь, то Тирессуэну, но не туарегам вообще. И тиббу, и западным берберам, и арабам севера! Он только археолог, не политик, не финансист, не военный... Ага, пожалуй, вот в чем дело — у него тоже была с детства лелеемая мечта, сказочная страна детских книг, потом романов и кинофильмов, потом и строгого научного интереса — Северная Африка. Родом из департамента Нор, он неудержимо стремился к заветной стране, казавшейся ему — что уж скрывать от самого себя! — гораздо прекраснее, чем он нашел ее, впервые попав сюда тридцатилетним человеком. Может быть потому, что он был немолод, получил уже от жизни изрядную долю усталости и скептицизма? Но туарег молод и тоже стремится в свою страну мечты... Чепуха, что он подвергся пропаганде каких-то таинственных коммунистов в центре Сахары! Как ни мало еще он знает туарегов, бессмыслица очевидна. Может быть, у Тирессуэна есть возлюбленная, такая же необузданная фантазерка, как и он сам? Она говорит ему о загадочных странах Севера, о самой таинственной для Сахары, далекой и холодной России, просит поехать туда... Она готова на разлуку, на опасность, на долгое ожидание. Все может быть, и он поможет Тирессуэну не только из-за

данного обещания, не в благодарность за спасение, но прежде всего как человек, знающий, что такое мечта!

Судьба покровительствовала археологу (или, может быть, Тирессуэну). Министерские знакомства сделали свое дело, распоряжение из Парижа одолело сопротивление сахарских военных. Профессор вручил туарегу билет на трансафриканский самолет Аулеф — Марсель и квитанционную книжку туристского агентства. В зимнее время туристские группы в Россию ездили редко. Туарега должны были присоединить к торговой делегации, отправлявшейся в Ленинград на четыре дня для участия в пушном аукционе. Хватит с него! — так звучало решение власть имущих...

Мехари, сильно раскачиваясь, продолжал свой неутомимый бег, как будто Афанеор только что начала долгий пятисоткилометровый путь. Это был лучший беговой верблюд старухи Лемта; его имя Талак (глина) отвечало светло-желтому цвету его короткой шерсти.

Незримая почта сахарских кочевников передала Афанеор зов Тирессуэна. Девушке предстояло разыскать его на окраине эрга Афаараг. Она не знала, что помешало Тирессуэну вернуться к ней после приезда из России.

Каменистое пустынное плоскогорье — тассили — было сплошь покрыто воронками, вырытыми хозяином пустыни — господином ветром. Дальше тассили, понижаясь, переходили в аукер — лабиринт обрывов, промоин, останцов и отдельных крутых, как стены, гребней. Это означало близость большой впадины — эрга. Афанеор никогда не бывала здесь, но выбирала дорогу, ориентируясь безошибочно, с тем подсознательным чувством, которое кажется европейцу чудом. На самом же деле кочевник Сахары, с детских лет странствуя по пустыне, приучается выбирать наилучший путь при одном взгляде на местность. Этот путь выберут также и другие кочевники, — вот почему туареги легко находят след другого туарега, не говоря уже о проходе целой семьи со стадами и вереницей груженных верблюдов. Несколько самых общих указаний о местопребывании Тирессуэна было достаточно для девушки, выросшей в кочевье.

Красными воротами, пробитыми в сиянии солнца, потянулось вперед глубокое ущелье. Массивные каменные столбы, словно высеченные древними волшебниками, шли чередой по обе стороны ущелья и загораживали весь мир своим гигантским частоколом. Косые выступы почерневших твердых плит перерезали каждый столб примерно на середине его высоты. Девушке казалось, что это стоят арабские воины, одетые в красные бурнусы, с патронными перевязями через плечо... Заколдованные воины замерли в молчании — сюда, на дно ущелья, не доходил неизменно свистевший по пустыне ветер. На каждом повороте вставали новые воины, и в этом их обязательном появлении было что-то угрожающее, невольное действовавшее на Афанеор. Она возвращалась к мыслям о том, что же случилось с Тирессуэном, что он не смог примчаться к ней на своем Агельхоке. Что-то случилось! Тирессуэну надо удалиться от людей и дорог... Может быть, он провинился перед властями? Может быть, не следовало ему ехать в Россию, а ей — просить его? Скорей бы! Чем ближе к указанному ей месту, тем длиннее кажется путь и тише бег верблюда!

На дне ущелья выступали каменные плиты. При таком крутом спаде ущелье не может быть длинным, это тинрерт — боковой «приток» уэда. Скоро красные стены сменились серыми, более низкими; вот они раздвинулись, и Афанеор выехала в иразер — главное «русло» уэда Тин-Халлен.

Уэд стлался полосой плотного песка, быстро расширявшейся к северо-западу, к впадине эрга Афаараг. Весенние дожди пропитали песок водой — свежая трава, низкая и редкая, покрывала все просторное русло уэда. Издалека ее тонкие стебли придавали дну уэда вид пушистого ковра, испещренного пятнышками синих, оранжевых и розоватых цветов. Ветер свободно разгуливал здесь, налетая могучим валом с запада. Нежная трава не могла

просуществовать и недели под наливающимся злой силой весенним солнцем. Это эфемерное пастбище — ашеб — должно было исчезнуть раньше, чем к нему подошли бы стада. Солнце сильно склонилось к западу и теперь слепило глаза верблюду, по-прежнему бежавшему неторопливой широкой иноходью. Мехари сердился, вскидывая гордую голову с презрительно сложенными губами и пронзительно вскрикивал, давая понять своей всаднице, что надо переменить направление. Но девушка, опустив покрывало на левый глаз, слегка дернула за поводную веревку, и желтошерстый бегун покорился. Ветер дул все сильнее, прижимая мягкую траву к почве. Казалось, что гигантская рука гладит зеленую шерстку узда Тин-Халлен... Низкие, сильно разошедшиеся берега вдруг совсем потерялись — начался эрг Афаарг. Несколько размашистых шагов верблюда, и, будто заколдованная, исчезла зеленеющая трава.

Занесенная песком, изрытая бурями, поверхность эрга казалась на всем огромном пространстве совершенно мертвой. Ветер озлобленно рвал, кое-где обнажая иссохшие корни или переметывая трухлявые остатки стеблей — признаки когда-то зеленевших здесь растений. Ни кустика тамариска, ни пучка дрена, ни тальхи — ничего живого. Жестокая засуха умертвила эрг. Афанеор сообразила, что Афаарг сейчас надежное убежище для человека, не желающего лишних встреч. Солнце садилось в красной пылевой дымке западного горизонта, длинные тени ползли по мертвой равнине, чередуясь с вспышками красного света на острых гребешках песчаных дюн, еще невысоких тут, неподалеку от устья уэда.

Девушка устала и приуныла. Пугающим владычеством смерти веяло от громадного выжженного эрга, чувство одиночества стало гнетущим. Даже презрительный Талак замедлил свой бег, часто озираясь и сбиваясь на рывки. Ветер бросал в лицо горсти песчаной пыли, трепал одежду, бил по щеке краем покрывала. Тягостное предчувствие давило Афанеор. Чтобы отогнать невеселые думы, девушка отвернула лицо от ветра, стараясь перебить веселой песней его унылый свист. Афанеор не могла ехать ночью по незнакомому месту и разыскивать приметы, а ночлег тут, в одиночестве, уж очень печален... Что это с ней? Или пятисоткилометровый путь слишком утомил ее? Где-то здесь должна быть высокая, отдельно стоящая дюна — гурд... Надо ехать на нее и затем правее... О, Аллах велик, это же Тирессуэн!

Белый Агельхок был замечен на бледно-серой поверхности эрга только глазам кочевника. Девушка погнала своего верблюда. Талак, заметив собрата, понесся во весь опор, раскачиваясь так сильно, что моментами казалось, будто мехари свалится набок. Ветер донес зов Тирессуэна. Радостно прозвучал звонкий отклик Афанеор. Не помня себя, девушка спрыгнула на песок, не опустив верблюда. Башней вознесся над ней подлетевший Агельхок. Ноги белого мехари зарылись в песок, и Тирессуэн соскочил с седла. Сильные руки подхватили Афанеор и прижали к патронным сумкам на груди туарега...

Эхен — кожаный шатер из шкур диких баранов со столбом в центре — по обыкновению был обмазан изнутри и снаружи светлой глиной. Надежно укрытый на окраине эрга, шатер Тирессуэна был велик, и девушка сразу поняла, что ее любимый пользовался помощью друзей. Друзья Тирессуэна — кто они? Какие они? Афанеор только сейчас спохватилась, что она не знает никого из близких ее жениха. С кем живет ее Иферлиль — с матерью, родственниками? Девушке было известно, что отец Тирессуэна умер, утонув при внезапном наводнении, какие случаются в Сахаре послеливней.

Коротки были их свидания между поездками Тирессуэна. Она не успела ничего расспросить, слушая рассказы любимого и отвечая на его вопросы! И сейчас — он вернулся из России. Ему угрожает какая-то опасность?.. В конце концов, не все ли равно, какие есть у него родственники и где он живет! Ее Тирессуэну покорна вся пустыня, а для нее нужен только он сам.

Холодная ночь высыпала ворох ледящих далеких звезд. Тусклый огонек маленького костра едва мог согреть скудную пищу. Погас красноватый свет вечерней зари, необъятная пустыня погрузилась в темноту. Двое молодых людей сидели во мраке перед лицом великого нового мира, открывавшегося им в словах и памяти Тирессуэна, в ответном воображении Афанеор. Туарег сбросил свое покрывало. В широкой синей рубашке без рукавов, туго стянутой у пояса, знаменитый проводник казался совсем иным. Горячее возбуждение от воспоминаний об увиденном покрыло темным румянцем его бронзовые щеки, заставило засветиться внутренним огнем обычно непроницаемые глаза.

Туарег говорил о том, как он поехал в Тидикельт через Ин-Салу, в Аулеф, где находился большой аэродром. Огромный самолет, перелетевший море, доставил его в Марсель. Потом его посадили в большой автобус, связанный с двумя десятками таких же. Вся связка неслась с чудовищной скоростью и поразительным грохотом. Он был привезен в небольшую гостиницу на окраине города, превосходившего своими размерами всякое воображение. Гостиница находилась около поля, с целый эрг величиной, на котором день и ночь ревели такие громадные самолеты, что в них поместился бы десяток самых больших сахарских грузовиков. Не в пример другим туарегам, считающим, что всякое закрытое помещение — место пребывания злых духов, Тирессуэн не боялся комнаты. Хотя жизнь в гостинице угнетала его, он ожидал там в уединении и молчании три дня. Потом в одном из огромных самолетов он снова летел, часто поглядывая вниз, но так ничего и не увидел, кроме бесконечного рега из белых облаков, в прорывах которых иногда блистала большая вода. Дважды садился самолет в каких-то неведомых странах, но Тирессуэна не отпускали далеко от самолета. После короткого отдыха снова ревели моторы, и самолет опять поднимался за облака. Путь был совсем недолог — меньше дневного перехода. Самолет опустился в туман и сел на гладкое, как талак, место, покрытое снегом. Стало очень холодно. Приветливо улыбавшиеся девушки, подобно служившим в самолете, только говорившие по-французски медленнее и понятнее, отвели его с пятерыми спутниками в холодный, как палатка, автобус и повезли в громаднейший город. Долго ехали они по улицам, покрытым снегом. Остановились у большого серого дома на площади, украшенной статуей всадника на коне, а поодаль — неопишимо великолепным зданием из полированного серого камня с золотым куполом и высокими колоннами из цельных кусков красного гранита. Тирессуэн привык к домам и уже не задыхался под потолками, в клетке из каменных стен. Все же он не стал спать на мягкой кровати, вделанной в углубление стены, а улегся посреди комнаты на ковре, где было прохладнее и больше воздуха. На следующий день его повезли через весь город к еще большему зданию тоже серого цвета, с широкими лестницами, наполненному шкурами невиданных зверей. Покупать эти шкуры съехались купцы из разных стран, в том числе и те, которые доставили его сюда. Тирессуэн молча сидел в зале такой величины, что туда вместился бы дом губернатора в Таманрассете, наблюдая, как на необъятные столы вываливались связки шкур и седовласый человек что-то кричал, стуча молотком, а купцы писали и тоже кричали. Разве за этим приехал Тирессуэн? Что увидит он здесь, в доме шкур? Туарег медленно встал, оглянулся и, видя, что на него никто не обращает внимания, вышел. На лестнице к нему подскочил какой-то человек, показывая на стоявший поодаль черный автомобиль. Туарег отмахнулся от него и пошел пешком, осторожно и недоверчиво разглядывая встречаемых. Тирессуэн старался запоминать дорогу между хмурыми громадами бесконечных каменных домов, таких высоких, что даже большие кипарисы в ущельях Тассили дез Аджер едва достали бы до крыш.

Прохожие провожали его изумленными взглядами — сразу видно было, что они никогда не видели туарегов. Но взгляды их были приветливы, молодые мужчины и женщины весело улыбались, мальчишки некоторое время бежали за ним, как это делают все мальчишки городов Сахары, Нигерии и Франции.

Его поразила одежда женщин — голову и шею они кутали в меха, оставляя обнаженными стройные, покрытые загаром ноги, не боявшиеся резкого, секущего сухим снегом ветра...

Тирессуэн дошел до огромной реки. Исполинские мосты горбились над ней, позади высилось необычайно красивое желто-белое здание с золотой иглой, возвышавшейся в низкое хмурое небо. Не обращая внимания на ветер, туарег пошел через мост и повернул по набережной. Река покрыта толстым льдом, местами изломанным и торчавшим остроугольными прозрачными глыбами, похожими на кристаллы горного хрусталя, которые находят в скалах Тефедеста. Ниже второго моста река была свободна во всю ширину и быстро несла свою чистую воду цвета стали, подернутую рябью. Туарег облокотился на загородку из глыб красного камня, закурил и начал раздумывать. Громадный город был прекрасен особенной, хмурой красотой. Люди, в нем жившие, казались приветливыми и несердитыми, но крепче всякого забора отделяло от них Тирессуэна незнание языка и обычаев. Кочевник Сахары, тысячи раз пускавшийся в одиночку в самые далекие поездки по мертвым пространствам пустыни, почувствовал себя здесь забытым, чуждым всем и никому не нужным. Даже мехари не было с ним, чтобы разделить его бесконечное одиночество...

Вот она перед ним, легендарная страна русских, мечта его Афанеор. Но что же он расскажет, вернувшись в Сахару? Бесполезен его сказочный путь по воздуху, бесполезны все его усилия.

Французы хитры — они сначала не хотели пускать его, потом разрешили поехать на четыре дня с купцами, засевшими в доме шкур. Они знали, что он ничего не поймет, не узнает, не поговорит ни с одним человеком. Афанеор просто сказала: поезжай, посмотри и расскажи, что увидел! А что он увидел?

Тирессуэн осмотрелся. Город, стывший на морозном ветру, был запылен чистым белым снегом — праздничным цветом Сахары. Там, на юге, белое трудно сохранять таким безупречно чистым: это стоит дорого — белоснежные дворцы и дома, автомобили, ковры и циновки. Самые лучшие мехари тоже чисто белые... А здесь — белый снег щедро сыплется с неба и не тает, придавая всему нарядный и богатый вид. Небо, низкое, будто потолок в большом доме, — сплошная пелена серых туч. Поразительно, но небо здесь — более темное, чем земля в ее праздничном наряде!

Нежный сумеречный свет, рассеянный, будто жемчужный, трогательно мягкий, ласкающий, а не убивающий человека, настраивающий его на тихие, грустные размышления. Ночь наступает здесь рано, тянется долго, но она гораздо светлее, чем ночи Сахары, хотя тяжелые облака лишают ее звезд и луны.

Эта страна — полная противоположность пламенной пустыне, сгорающей в неистовом буйстве солнца, сухой и каменной, ночью тонущей в черной тьме бесконечного пространства под шатром серебристых звезд или сплошь залитой ярким светом луны, накладывающей на все печать волшебства и несбыточных грез...

Тирессуэн закурил снова и повернул к гостинице близ храма с золотым куполом. Туарег заоченел, несмотря на всю его закаленность: одежда была слишком легкой для такой холодной страны. Кончился день — четверть всего срока его пребывания в России. Едва он появился в нижнем зале, как к нему подошла маленькая девушка, служившая переводчицей для приезжавших французов. Широко расставленными глазами и мелкими кудряшками светлых волос она напоминала туарегу молодую овечку. Кочевник, с молоком матери всосавший любовь к домашним животным, никогда не евший их мяса, может быть потому и относился к переводчице с симпатией. Волнуясь, девушка стала говорить Тирессуэну. Она заметила полную отрешенность туарега от торговых дел и поняла, что он приехал просто посмотреть ее страну. Однако он очень плохо знает французский язык, и чтобы помочь ему в знакомстве со страной, нужен человек, знающий арабский. Языка туарегов, прибавила

девушка, может быть, никто здесь не знает. Но ее друг изучает арабский язык, был в Египте и сможет быть полезным Тирессуэну. Обрадованный туарег решил, что сама судьба пришла ему на помощь. В тот же вечер явился молодой веселый человек с рыжими волосами и лицом, усеянным, несмотря на зиму, веснушками. Французские спутники туарега отнеслись к новому знакомству неодобрительно. После ухода студента они до ночи объясняли Тирессуэну козни коммунистов и их умение обманывать и опутывать неопытных людей. Но в конце концов навязанный им туарег только мешал. Они были довольны, что его смогут занять осмотром Ленинграда и они избавятся на оставшиеся три дня от сурового чужака, который не пил вина, ничего не смыслил в еде и почти все время молчал.

На следующее утро студент явился за Тирессуэном. Судьба помогла ему, одинокому и невежественному страннику, хоть немного узнать страну, в которую он попал по просьбе Афанеор...

Туарег замолчал и задумчиво стал подгрребать несгоревшие стебли на середине костра. Ветер упал — подошел самый поздний, предрассветный час безлунной ночи, когда ложится лошадь и встает верблюд. Звезды померкли, будто стихший ветер перестал раздувать их огоньки, и на небе едва обозначилась уходящая за горизонт волнистая поверхность эрга. Афанеор воспользовалась задумчивостью Тирессуэна и задала ему вопрос, который сейчас интересовал ее больше всего.

— Это очень важно, — нахмурился Тирессуэн, — и я должен был бы пояснить тебе ранее, но увлекся рассказом. Большая беда надвигается на нас, худшая, чем голод, засуха или война!

— Что же может быть хуже всего этого?

— Помнишь, у могилы дочери Ахархеллена мы говорили, как туареги сделали владыками пустыни? Ценой отрешения от благ оседлости, закаленным во множестве поколений, привычным к лишениям, скудной пище, жаре и холоду, нам удалось победить пустыню и сделать ее местом своей жизни, недоступным гораздо более многочисленным и могущественным народам. Сравни нас с жителями оазисов, — те изморожены нездоровым воздухом, поголовно больны лихорадкой, запуганы. В тесноте они начинают и кончают свою жизнь. То же я видел на берегах Нигера, и правы наши отцы, говорившие: «Бойся страны без скал, где растут большие деревья, — там ты умрешь, а с тобой и твой верблюд». Теперь подходит расплата: отказавшись от оседлой жизни, мы отбросили и возможность получить большое знание и остались такими же простыми воинами и скотоводами, какими были предки наших предков...

— Но ты ведь учился во французской школе, усвоил их мудрость! — не сдержалась девушка. Тирессуэн рассмеялся и ласково убрал со щеки Афанеор непослушный завиток ее иссиня-черных волос.

— Меня только выучили говорить на их языке, и то плохо. Может быть, я неспособный? Французы не верят нам, они следят за нами, всегда подозревают в чем-то... По-своему они правы! Но все знания о мире и жизни были в их руках, только через них мы узнавали дорогу к человеческой мудрости. Теперь я понял, какая большая беда, если дорога к знанию находится во власти военных начальников, преисполненных лжи и трусости! Мы можем знать лишь то, что разрешат нам! И мы живем на острове невежества среди громадного мира, в котором, как в пустыне после дождей, бурно растет могущество знания.

— Беда в этом беда? — ласково усомнилась Афанеор. — Уйдем с тобой через Ливийскую пустыню к арабам — там, говорят, новые государства, освободившиеся из-под власти европейцев. Там ты получишь знание и... научишь меня. И мы вернемся, чтобы показать этот путь всем. Кто удержит верблюда в песках или туарега в пустыне?

— Беда в другом! Придуманно небывалое оружие — бомба, которую сами европейцы называют адской. Взрыв ее может уничтожить в мгновение ока самый большой город, такой, как Париж или город Ленина, в котором я был

в России. Мало того. После взрыва на сотни и даже тысячи километров разносится ужасная отрава. Она проникает в кости человека, лишает его силы, заставляет его умирать в мучениях. Она делает мужчин и женщин бесплодными, а народившихся детей — уродами. Никто не может спастись от яда — он в земле и воздухе, в огне и воде, в пище и даже в молоке матери!

Афанеор в испуге отшатнулась:

— Это так ужасно, что кажется сказкой о злобных джинах!

— Горе, но это правда! Джинны действительно создали эту страшную штуку. Весь мир в большой опасности, а теперь эта опасность подошла и к нам. Чтобы сделать эти бомбы еще страшнее и ядовитее, они устраивают пробы. Для этого выбирают пустынные, ненужные им места, отдавая их в жертву отраве, и вот французы выбрали Сахару!

— Но ведь не будут делать пробу там, где есть люди?

— Нет, конечно. Я думаю, что они возьмут самую мертвую местность пустыни.

— Танезруфт?

— Нет, там проходит большая автомобильная дорога в страну черных. Они, наверно, выберут пустыню Тенере или рег Амадрор — я не знаю, только думаю так!

— Но там и в самом деле никого нет!

— Но яд разнесется оттуда по всей Сахаре!

Афанеор опустила голову и молчала. Тирессуэн закурил, устремив взор в розовую мглу, заливавшую эрг с востока. Девушка, помолчав, сказала: — И ты, узнав об этом, рассказал другим? И за это военные стали преследовать тебя?

Туарег кивнул, зорко взглянув на Афанеор.

— И ты чувствуешь, что обязан это делать... я сделала бы на твоём месте то же и... буду делать, с тобой или одна!

Тирессуэн порывисто поднялся.

— Ты хочешь мне помочь? Ты будешь со мной? Это так хорошо, что даже трудно сказать. Французы — они думают, что наши женщины такие же пленницы мужчины, какими они представляют себе арабов! Поэтому ты не будешь у них на подозрении, а то, что знают женщины, — будут знать все!

— Да, я постараюсь, и дети узнают от матерей, мужчины от возлюбленных, внуки от бабушек!

— Но ты будешь в большой опасности. Если узнают, то не пощадят тебя!

— А ты что хочешь делать? — упрямо нахмурилась девушка. — Расскажешь всем... а потом? У французов — броневики, самолеты, они сотрут с лица земли горстку туарегов... Неужели возможно сопротивление?

— Сопротивляться безнадежно — пустыня вся открыта с воздуха, и мы на ней для самолетов как на ладони. Но весь народ уничтожить не дадут — это я тоже узнал! Теперь другое время, и каждая страна уже не может делать в своих владениях все, что хочет. Есть собрание союза стран, есть твоя заветная Россия — она уже выступала в защиту арабов. А мы не дадим привезти ядовитую бомбу ни в Тенере, ни в Амадрор! В пустыне есть тайные источники, не отмеченные на французских картах, есть и хорошие убежища. Если Аллах сулил нашему народу умереть, то он умрет с оружием в руках и пойдет в рай, к гуриям — три тысячи каждому, — а не подохнет от страшной отравы, как облезлый пес жителя оазиса!

Девушка прильнула к Тирессуэну, обвивая его шею своими смуглыми тонкими руками.

— Ты дашь мне, — ее горячее чистое дыхание ласково коснулось лица туарега, — это... — Девушка показала на винтовку, прислоненную к опорному столбику шатра. — Я умею стрелять!

— Потом! Сейчас нужнее твое слово и твои песни.

— Я поняла! Но как ты узнал о низком деле, задуманном французами? В России? Поселитесь под крышей в городе, и низость войдет в ваши сердца — как верна старая поговорка!

— Нет! Была верпа для прадедов в маленьком нашем мире! Я узнал обо всем не в России — во Франции. И там есть люди, много людей с чистыми сердцами. Они защищают нас, они пишут, кричат, рисуют — делают все, чтобы не дать отравить Сахару. И еще множество людей во всех странах...

— Тогда почему же не запретят совсем эти адские бомбы?

— Народ — под гнетом власти, тем более сильной, чем выше стало знание и могущество оружия. Когда-нибудь, если смертельная опасность наступит им на горло, — народы поднимутся, презирая смерть, и никакое оружие не спасет зарвавшиеся власти. Найдут самую глубокую на земле пещеру и закопают там навсегда ужасное порождение злых джинов.

— А сейчас?

— Прости их, они не воины! Еще очень плохо — людям так много лгали, что они не верят друг другу более, не верят никому, даже тем, кто пришел открыть им глаза и спасти их. Это самая большая беда для народов Европы.

— О да! Лучше сто раз ошибиться, поверив в благородную сказку, чем отвергать все, стараясь быть умнее сердца! Но что же увидело твое сердце в России? Теперь я знаю о тебе, иду с тобой, но ты мне не сказал еще всего о путешествии...

— Очень поздно. Завтра мы поедем к ихаггаренам твоего племени. Путь длинен, и ты узнаешь все, что я видел!



Верблюды выбрались из узда и пошли по длинной гряде над морем высоких дюн. Острые, изогнутые верхушки песчаных холмов были окрашены солнцем, как тысячи кривых сабель из сверкающего золота, разбросанные по равнине. Горячий ветер немного умерял зной солнечных лучей, лившихся на землю потоками огня. Мехаги не любят бежать рядом. Тирессуэну приходилось напрягать голос, продолжая свои рассказы. Под свист ветра пустыни он говорил о молодом друге из русского города, который не задавал ему назойливых вопросов, какими досаждали ему французские газетчики. Он охранял Тирессуэна от излишнего любопытства, вызываемого его необычным нарядом, и старался лишь показать ему побольше.

Туарег запомнил посещение громадного завода, где люди в промасленных костюмах ловко повелевали непонятными машинами. Металлическая пыль въелась в их лица и руки, отчего все они казались более черными, чем другие люди русского народа. Там, где плавилась сталь, работа показалась туарегу достойной духов ада — джинов. Но там были не джины, а приветливые люди, которые встречали Тирессуэна так просто и открыто, что туарегу казалось, будто он давно знает их.

Тирессуэн запомнил также гигантский дворец, наполненный картинами. Туарег долго шел по бесконечным высоким залам, увешанным картинами

от пола до потолка. Картины походили одна на другую, изображая темными, тусклыми красками людей громадных размеров, почему-то голых, некрасивых, с дряблыми и гылыми телами. Эти люди то убивали друг друга, то униженно валялись в ногах у свирепых владык, то объедались невероятным количеством пищи. Нередко на картинах была изображена только пища — отвратительные груды зарезанных животных, мерзких рыб и больших пауков, фрукты и хлеба...

Недоумевающий Тирессуэн попросил уйти отсюда скорее, но юноша, весело смеясь, повел его дальше. Они проходили по красивым, как в раю, мраморным белым лестницам, между высоких колонн из розового или строго серого серого полированного камня. Он видел комнаты, сплошь отделанные темным деревом или пластинками прекрасного голубовато-зеленого камня, справленного в золото (бронзу, как сказал его спутник-студент). Белые статуи нагих женщин чудесной красоты стояли и лежали в галереях и казались вылепленными из затвердевшего неяркого света, лившегося от серого неба через громадные, наглухо закрытые стеклами окна...

Окончательно примирил Тирессуэна с дворцом северного города зал в самой глубине сказочного здания. Отделанные серебряной краской белые полированные стены казались жемчужными. Высоко вверх уходили круглые арки, с которых свисали сверкающие люстры из тысяч граненых кусочков хрустала, переливавшихся всеми цветами радуги. Блестел гладкий пол из кругов серого и белого мрамора. В нишах справа и слева по резным из мрамора раковинам, вделанным в стены, прозрачными каплями спадала вода. Во всех стенах были вставлены большие зеркала не с обычным резким мертвым блеском, а бледного, чуть сероватого отлива, который дает лишь настоящее серебро. Высокие окна выходили на широкую реку. Простор льда и снега и свет неба за окном соединялись в одно с серебряно-белым хрустально-зеркальным мраморным залом. Это было такое неописуемо чудесное зрелище, что туарег долго стоял в молчании, и его проводник забеспокоился. Тирессуэн почувствовал, что через этот зал он впервые вошел в душу северной страны. Туарег понял неведомых строителей и их великую любовь к этому прозрачному миру бессолнечного жемчужного света, холода и чистоты, такой высокой, что она казалась неземной...

Афанеор вскрикнула от восхищения, и Тирессуэн вернулся к действительности. Далеко вперед уходила золотисто-бурая пустыня, и двумя слепящими пятнами горели поодаль маленькие озера.

— А наши мерая (зеркала), — воскликнула девушка, — отдают тот же могучий свет, какой низвергает солнце нашей страны. И в нем — понятная нам красота и сила...

— У нас свет слишком беспокойный. Он не дает думать, сосредоточиться, чувствовать так же, как и дышать, — глубоко и долго. Здесь человек размышляет, поет, собирает мудрость и счастье по ночам, а там, на севере, это делают днем, и времени на труд и мысли у них больше...

— И потому они достигли большей мудрости и искусства, чем мы! — добавила Афанеор.

Тирессуэн остановил мехари.

— Здесь надо повернуть на восток, туда. — Он показал на отдаленный горный уступ — один из северных отрогов Тефедеста, окутанный в дымку горячего воздуха, невероятно искажавшую его очертания.

— Там проходит автомобильная дорога, — продолжал туарег, — и мы пересечем ее ночью. Сейчас найдем убежище на время полуденной жары. Поедем направо и спустимся в аукер...

Афанеор лежала на жестком верблюжьем одеяле и слушала Тирессуэна под аккомпанемент стонов, вздохов и треска, похожего на хлопанье бича. Это звучали камни, лопавшиеся от солнечного нагрева, — хор жалоб мертвой материи на неумолимое разрушение.

Тирессуэн продолжал говорить о России. Мысленно Афанеор перенеслась за тысячи километров, в страну, где впервые побывал человек Сахары.

В день посещения серебряного зала — третий, предпоследний день его пребывания — к проводнику Тирессуэна присоединились еще трое молодых людей. Они повели туарега вечером на ахаль — музыкальное собрание в особом храме, который был так же огромен, как и все, что встречалось Тирессуэну в городе Ленина. Тысячи людей участвовали в собрании, но только как зрители. На ахалях в России поют и танцуют тщательно обученные и особенно одаренные люди, которые живут на деньги, полученные за право присутствия на собрании.

За Тирессуэна заплатили провожатые и усадили его в белом ящике, отделенном от всего зала обитой красным бархатом загородкой. Провожатые объяснили туарегу, что здесь собрался вовсе не весь город, а меньше тысячной части его взрослых жителей. Количество людей вселяло в Тирессуэна удивление, смешанное со страхом. Если бы собрать всех взрослых людей племени кель-ахаггаров, то они поместились бы в этом белом зале, отделанном резной позолотой и красным бархатом...

Спутник Тирессуэна стал объяснять представление — сказку о девушках, превращенных в лебедей злым волшебником и освобожденных любовью юноши к царице лебедей. Туарег понял из объяснений, что лебеди — это большие белые птицы, похожие на гусей, только более величественные и красивые. Тирессуэну приходилось слышать и видеть диких гусей, пролетавших над западной частью Сахары.

Потух свет. Оркестр из сотни людей с какими-то сильно и красиво звучащими инструментами начал пленительную музыку. Звонким призывом грянули серебряные трубы. Тревожные и тоскливые потянулись в бесконечную даль зовы, будто в самом деле прощальные крики летящих гусей. Они слабели и становились все более звенящими, теперь напоминая Тирессуэну те таинственные, зачаровывающие звуки, означавшие для некоторых людей их смертный час, — пение песков перед сильной песчаной бурей. Слышал их и Тирессуэн — звонкое пение серебряных труб, несущее оцепенение и сознание обреченности. Здесь же могучие трубы подхватывали и несли, как на крыльях, томили ожиданием чего-то прекрасного и тревожного. Скрипки хором поддерживали их стремление и превращали его в вихрь бурных чувств — исканий и непокоя...

Туареги — музыкальный народ, и Тирессуэн, впервые узнав, что на свете есть такая музыка, забыл обо всем.

Насмешливо ожидавший европейского ахалья, думая, что европейцам несвойственно увлечение сказочными фантазиями, распространенными среди кочевников Сахары, туарег был захвачен врасплох и побежден русской музыкой.

Все было необыкновенно в поразительном представлении — и яркие сцены и замечательные декорации, делающие сказку действительностью. Но туарег весь превращался в слух и внимание и не мог отвести глаз от девушек-лебедей и их царицы. Раньше Тирессуэн не мог представить, чтобы искусство танца могло быть доведено до такого совершенства. Стройные девичьи тела в тысячах отточенных движений выражали все оттенки чувств, владеющих человеком. Не надо было даже слышать музыку, чтобы понять происходящее. Тирессуэн видел, что красота человеческого тела может быть такой же чистой и светоносной, как беломраморные создания искусства, виденные им в дворце-музее. Нет, неверно, — во сто раз более прекрасной, потому что здесь сама жизнь в неисчерпаемом богатстве движения ее гибких форм!

Музыка и танец сливались воедино. Протяжное и грустное пение скрипки улетало ввысь, как луч одинокой звезды, и белая девушка-лебедь тоже уносила в бесконечную даль в томлении пробуждающейся любви, в тоске, что не сможет осуществиться запрещенная страсть.

Другая музыка, такая же певучая, но более глухая и низкая, остерегающая проскальзывавшими недобрыми нотами резкого диссонанса, сопровождала танец черного лебедя. Обтянутое черным бархатом точеное тело девушки

изгибалось в призыве темных чувств, прорвавшихся в насмешливо-торжествующей музыке удавшегося обмана. Размеренно стонала и билась в отчаянии мелодия утраченной надежды и обреченности, легкие взлеты скрипок отражали певучие жалобы девушек-лебедей, склонявшихся перед судьбой в голубом лунном свете... И возрождение любви в том же звездном стремлении поющих скрипок, закончившееся победой над глухими диссонансами обмана и насилия...

Тирессуэн был потрясен невиданным музыкальным собранием. Кристально чистую музыку сопровождал столь же совершенный, как граненый самоцвет, танец. Ритмически сменявшиеся позы царицы лебедей чудились туарегу буквами таинственного тифинара, вещавшими ему особенную, полную неожиданностей судьбу. Ему трудно было поверить, что девушки-лебеди — не волшебницы или гурии, ниспосланные с неба в северную страну. Провожатые уверяли туарега, что единственным отличием танцовщиц от всех других людей было лишь долгое — с пятилетнего возраста — обучение искусству танца.

Тирессуэн попросил показать ему одну из этих девушек, и, если это возможно, он мечтает поглядеть на саму царицу лебедей. Провожатые посоветовались и обещали, что попросят ее об этом завтра, но не теперь, после трудного представления. Тирессуэн напомнил, что завтра — конец его пребывания в России. Но молодые люди не обманули его. Туарега пригласили на поездку по пригородам, и сама царица лебедей согласилась принять в ней участие. Тирессуэн изумился, увидев невысокую светловолосую девушку, такую простую и скромную, что с первого взгляда он не мог найти в ней ничего общего со вчерашней волшебницей танца и красоты. Серое толстое пальто, перехваченное в талии широким поясом, задорная детская шапочка на густых и светлых стриженных волосах, большие, чуть грустные серые глаза... Только необычайные изящество и легкость движений, какая-то не покидавшая девушку внутренняя сосредоточенность могли подсказать наблюдательному взору, что перед ним — выдающаяся артистка. Душевный огонь, сделавший девушку царицей лебедей, как бы просвечивал изнутри, выдавая долгие годы физической и духовной тренировки, воздержания в пище и удовольствиях — то, что было близким и понятным туарегу.

Автомобиль шел вдоль неоглядной снежной равнины, как сказали потом — замерзшего моря, под раскидистыми соснами с красно-лиловой корой. Потом гуляли по протоптанным в снегу тропинкам и наконец попали в рощу огромных серебристо-белых деревьев. Всюду, куда только хватал взгляд, стояли белоснежные, украшенные черными штрихами, стволы. Тонкие черные веточки наверху были без листьев. Они опали в долгое и суровое холодное время года...

Внезапно покров тяжелых туч распахнулся, открыв небо очень яркой голубизны. Солнце зажгло миллионами сверкающих искорок крупный, нетронутый ветрами снег.

— Смотрите, смотрите! — воскликнула царица лебедей, и Тирессуэн обернулся, поняв восклицание чужого мелодичного языка. Девушка показывала вверх.

Заледенелые белые деревья начали оттаивать. Высоко в ясном голубом небе их ветви переплелись серебряной, унизанной жемчугом, пряжей. На гибких веточках повисли капли воды — на солнце они горели алмазами над другими темными и колючими деревьями, покрытыми пухлыми тюрбанами снега.

Вдруг сверкающая, шатром раскинутая в бездонной голубизне жемчужно-серебристая алмазная сеть угасла. Низко опустилось закрывшееся облаками небо, более темное, чем земля. Зелень колючих конических деревьев сделалась совсем черной. Призрачными полосами убегали вдаль голые кустарники. Крупные блестящие хлопья падали медленно, крутясь в безветренном воздухе, полные немислимого покоя.

Но ярче созданного морозом алмазного патра засветились серые ясные девичьи глаза, поднятые к Тирессуэну. Снежинки блестящим венцом легли

на выбившиеся из-под шапки волосы, таяли на кончиках длинных ресниц, на алом изгибе губ.

Свежий, особенный запах тающего снега шел от разругавшегося лица, а напоенные морозным воздухом волосы издавали теплый аромат. И туарег, любясь этой чужой и бесконечно далекой девушкой, ощутил контраст между холодной зимней красотой, сотканной бесплотным светом, и человеческой живой прелестью. Теперь Тирессуэн понял все до конца. Бессолнечная и холодная страна, засыпанная снегом, скованная морозом, породила таких же живых, горячих людей, полных стремления к прекрасному и способных создавать его, украшая жизнь, как и пламенная сухая земля юга. Права была дочь Ахархеллена, устремляя свои мечты вслед за Эль-Иссей-Эфс к России. Трудно было жить русским в такой суровой земле, но они не ушли никуда от своей доли, так же как и предки туарегов. Они закалили тело и душу в морозной белизне севера, как туареги — в пламенной черноте гор и равнин Сахары! Вот почему душа русского человека смотрит глубже в природу и чувствует богаче, чем душа иного европейца, вот почему Эль-Иссей-Эф так хорошо понимал кочевников пустыни, а те — его!

Четыре дня в России пролетели мгновенно, но Тирессуэн все же успел почувствовать, понять страну сердцем, а не разумом, как то и советовала ему Афанеор. Он вернулся вестником правоты дочери Ахархеллена!

Тирессуэн умолк и закурил, вновь переживая все, врезавшееся в острую память кочевника. Афанеор молчала, лежа у ног Тирессуэна, пока тот не погладил ее растрепавшиеся волосы. Девушка подняла к нему свои огненные глаза и смущенно спросила:

— Они очень красивы?

— Кто?

— Девушки-лебеди и она... их царица?

Туарег рассмеялся:

— Очень красивы. И в жизни и в музыкальном собрании. Красивы так, что трудно поверить. Но мою черную, насквозь опаленную солнцем Афанеор я не отдам за них всех. Ты сама — мое солнце и такое же пламенное, какое оно здесь на нашей с тобой земле. Ты — моя избранница, а значит лучше всех женщин на земле, хотя их очень много и все они очень разные. Но я люблю тебя и жизнь буду делить только с тобой!

В ответ Афанеор прижалась к Тирессуэну.

Ночь была безлунной и безветренной, как там, на далеком севере. Но воздух пустыни был прозрачен, как темный свет, и вечно безоблачное небо приближало звезды к земле, отчего Земля как будто сливалась с бесконечным пространством. Когда-то очень давно древние египтяне поклонялись всеобъемлющему пространству, называя его Пашт, и всепоглощающему времени — Шебек. Оба божества олицетворялись пустыней. Современные обитатели Сахары не знали об этом, но, как и древние египтяне, чувствовали свою связь с бесконечностью пространства и времени, уносясь взором и мыслью в ночную пустыню...

Белый и желтый мехари, отдуваясь после долгого бега, медленно поднимались на широкий уступ отрога Тефедеста.

— Сегодня ночь холодного огня! — воскликнула Афанеор, прогоя рукой по шее своего верблюда и вызывая этим множество голубых искр.

Электрические ночи нередки весной в горах Сахары. Чем выше поднимались всадники на гору, тем сильнее сыпались искры с шерсти животных и с их собственной одежды. Тирессуэн остановил мехари, сбросил головное покрывало и прислушался. Издалека, с дороги, которую они только что пересекли, нарастал мерный грохот. Разлилось, приближаясь, сияние автомобильных фар. Девушка хотела спешиться и положить верблюда, но туарег остановил ее:

— Они ослеплены собственным светом!

Внизу из-за поворота вынырнула первая машина. Длинная, на шести высоких колесах, с низким корпусом из броневых плит, она отличалась от своих мирных собратьев, как отличается крокодил от рабочего быка. Что-то рептильно-злое и тупое было в ее плоской передней части с горящими, широко расставленными фарами и боковым прожектором. Броневая машина металась по извилистой дороге, хлеща фарами по сторонам, будто выслеживая кого-то. Следом, один за другим, появлялись такие же крокодилообразные броневики; они также металась из стороны в сторону и уносились к югу в клубах золотившейся в свете их фар пыли. Глухо, назойливо и упрямо ревели моторы, громко шуршали по щебню широкие шины, угрожающе торчали вперед дула пулеметов и скорострельных пушек. Сила Запада, непреклонная и безжалостная, тянулась стальной вереницей по пустыне. Афанеор тревожно посмотрела на Тирессуэна и замерла. Голубое холодное пламя обтекало туарега с головы до ног, струилось по верблюду, горело высокими огнями на ушах и носовой палочке мехари. Бронзовое лицо туарега в рамке голубого свечения казалось отличным из чугуна и приобрело нечеловеческую четкость и твердость. Тирессуэн почувствовал взгляд девушки и положил на ее отставленный локоть свою сильную руку. Афанеор взглянула и поняла, что сама облита таким же голубым огнем.

— Не бойшься? — без слов, взглядом спросил ее туарег.

— Нет! — так же ответила Афанеор.

Два светящихся всадника на высоких, как башни, верблюдах стояли на черных скалах, следя за проползавшей внизу вереницей броневиков.

А г е л ь м а н — озерцо с пресной водой.

А д р а р — нагорье.

А з а л а й — большой караван в несколько тысяч верблюдов.

А м з а т — однорунная скрипка.

А х а г г а р — большой горный массив в Центральной Сахаре.

Г у р д — одиночная песчаная дюна.

И м р а д и (ед. число — амрид) — вассалы или крепостные благородных туарегов — ихаггаренов.

М е р а й а (или мерие) — зеркало. Так называются высохшие соляные озера, сильно отражающие свет, а иногда и покрытая кристалликами гипса поверхность.

М е х а р и — порода беговых белых одногорбых верблюдов, отличающаяся крупными размерами и очень высоким ростом.

Р е г — равнина в пустыне, покрытая крупным или мелким гравием и обдугая ветром.

С е б х р (или себха) — засоленная впадина, большой солончак, иногда болото с соленой грязью.

С е р и р — равнина, как и рег, но покрытая галькой.

Т а л а к и — ровные площадки сцементированных солнцем глин.

Т а м а н р а с с е т — наиболее значительный населенный пункт в Центральной Сахаре. Местонахождение военного губернатора области.

Т а м а ш е к — разговорный язык туарегов.

Т а н е з р у ф т — равнинная местность, лишенная воды и растительности, покрытая преимущественно песком. Здесь подразумевается собственное географическое название для гигантской безводной равнины в Южной Сахаре.

Т а с с и л и (по-арабски — хаммада) — каменистое выровненное плато.

Т е н е р е — то же, что и танезруфт, только более ровная местность без воды, совершенно мертвая.

Т е ф е д е с т — высокий вулканический массив в Центральной Сахаре. Прежде считался священным и недоступным обиталищем духов.

Т и б е с т и — горный массив на востоке Центральной Сахары.

Т и ф и н а р — письменность туарегов, восходящая к очень древним временам и не имеющая аналогов в других языках Африки и Европы.

Т у а р е г и — кочевые берберы Сахары.

У э д — сухое русло временного потока.

Ф а л а н г и — большие ядовитые пауки.

Х а р а т и н ы — рабы туарегов и вообще кочевников Сахары.

Э н е р и — сухое русло (уэд) в Тибести.

Э р г — обширная впадина, покрытая песчаными дюнами (барханами).

# Эра великих свершений

## НАШ ГОД

*М. Дудин*

А наше  
Лучше всех времен  
Шагает в ногу с нами.  
И краше  
В мире всех знамен  
Сияет наше знамя!



То, что после поездки Никиты Сергеевича Хрущева в Америку мир стал жить уверенной надеждой о мире, понятно каждому. В мире повеяло весной, и вековая мечта о золотом веке человечества стала ощутимой. В нее теперь можно верить. Ее можно осуществить. Ее надо осуществить, потому что это единственный путь для нашей людской планеты Земля.

Люди знают, что мир завоеван очень дорогой ценой, миллионами жизней — светлых, молодых. Об этом хорошо сказал в своем стихотворении Наум Кислик:

За то, что мы мерзли,  
За то, что мы мокли,  
За то, что мы мерли в бою,  
За то, что никто из нас землю не проклял,  
Жестокую землю свою.

В Новый год всегда хочется загадывать хорошее. Желать хорошего. Читать хорошие книги. Я читаю благородную книгу благородного сына нашего века французского летчика и писателя Антуана Экзюпери. Он говорит: «Кажется, небо начинает светлеть».

Прекрасные слова! Мне хочется в них верить. Мне хочется над всей землей видеть светлое небо. Давно пора, чтобы оно было светлым. Люди заслужили этого.

Моему поколению — ровесникам советской власти, людям, прошедшим через пятилетки невиданных свершений, прошедшим дорогами войны, лю-

дям, выросшим в новом мире, людям, строящим этот новый мир, очень дорога и своя Родина — ленинская разведчица всего нового, и вся земля, братство ее людей.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Эти слова не только на нашем знамени, они у нас в крови, они стали нашей мыслью, нашим делом.

Наша родина первой начала штурм космоса. Мои сверстники-соотечественники заглянули в неизведанный, таинственный мир вселенной. Они работают для людей всей земли, которые могут и должны оплодотворить холодные пустыни вселенной.

Наступает шестидесятый год двадцатого века.

Александр Блок писал:

Век девятнадцатый, железный,  
Воистину жестокий век!  
Тобою в мрак ночной, беззвездный  
Беспечный брошен человек!

.....

Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла...

И все-таки Блок, честнейший художник своего времени, сумел в Октябрьской революции увидеть спасение мира и приветствовать ее восторженными словами:

Революционный держите шаг!

Так пусть же шестидесятый год двадцатого века, сорок третий год нашей революции, будет утверждением нашей победы, мира во всем мире, первого ленинского декрета — декрета о мире.



## ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ — ВЕЧНЫЙ МИР

*Валентин Катаев*



**М**инувший 1959 год, несомненно, войдет в историю как год великих свершений и великих надежд.

Сколько событий поистине всемирно-исторического значения! Достаточно сказать, что в течение одного 1959 года были успешно запущены три космические ракеты, вызвавшие восхищение всего человечества.

Это ли не громадная, потрясающая победа советского гения? Великий 1959 год.

Год советского вымпела на Луне. Год, когда советский фотообъектив по велению советских ученых сфотографировал доселе неизвестную сторону Луны. Год, когда советский премьер Никита Сергеевич Хрущев совершил свою триумфальную поездку в США и от имени советского народа внес в ООН предложение о всеобщем и полном разоружении. Год, когда мир, стоявший на грани войны, наконец сошел с трагического пути, на который его толкали черные силы мировой реакции, и сделал первый шаг к установлению вечного мира между народами земного шара.

В этот год было еще одно событие, может быть, не такое яркое, как визит Н. С. Хрущева в Америку и запуск в космическое пространство советских лунников, но тем не менее тоже весьма значительное: обмен между США и Советским Союзом выставками. Открытие нашей выставки в Нью-Йорке предшествовало визиту Никиты Сергеевича в Америку и было как бы предвестием его появления за океаном.

Советская выставка в Нью-Йорке имела очень большой успех, какого никак не ожидали враги Советского Союза. Выставку посетило свыше миллиона американцев.

Площадь перед советской выставкой всегда была заполнена народом. Целый день к дверям выставки тянулась громадная очередь, огибавшая площадь. А в Нью-Йорке очередь — вещь небывалая. Простые американцы до отказа заполняли выставочные помещения, с жадностью слушая объяснения советских стендистов. До сих пор американский народ не знал правды о Советском Союзе. Эту правду скрывала американская пресса. Но вот открылась выставка и показала американскому народу советскую технику, культуру, науку, искусство.

Американцы были в полном смысле слова ошеломлены.

Мне приходилось выступать перед громадной аудиторией посетителей выставки, и я очень ясно ощущал, что «холодная война» дает трещины. Все

больше доброжелательных улыбок, все больше серьезных вопросов, все больше доброжелательных реплик.

Все чаще слышалось одобрительное «О'кэй!»

Как раз в это время было опубликовано сообщение о предстоящем визите Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты. Весть об этом молниеносно разнеслась по всей Америке и сразу стала в центре общественного внимания.

В эти дни мне пришлось особенно много беседовать с представителями самых различных слоев населения Нью-Йорка. Подавляющее большинство из них высказало ту простую, здравую и для всех ясную мысль, что дружба между США и Советским Союзом есть самая надежная гарантия всеобщего мира.

Я говорил американцам, что в России есть такая пословица: «Худой мир лучше доброй ссоры». Один американец сказал, что это, конечно, прекрасная пословица, но человечеству этого уже мало.

Человечество хочет не худого, а доброго мира при полной ликвидации всякой, даже самой «доброй» ссоры.

Товарищ Хрущев выразил надежды всех простых трудящихся людей земного шара, внося в ООН свое историческое предложение о всеобщем разоружении.

— Из всех наших достижений, — сказал Н. С. Хрущев в своем докладе на сессии Верховного Совета СССР, — самым главным, самым замечательным и самым радостным является небывалый рост политической и трудовой активности, творческого энтузиазма, коммунистической сознательности советского народа, его монолитной сплоченности вокруг Коммунистической партии. В этом мы видим источник всех наших успехов, залог полной победы коммунизма.

Эти слова были встречены бурными, продолжительными аплодисментами. Теперь наша страна вступила в 1960 год.

Что он принесет нам?

Думаю, что он принесет нам развитие всех тех начинаний, которыми был так богат его предшественник, год 1959-й.

Думаю, что он еще больше приблизит человечество к вечному миру и откроет для нашего народа еще более широкий, более сияющий путь к коммунизму.

*Никита Хрущев*



## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОСТАХ

*Н. Качалов,*

*член-корреспондент Академии наук СССР*

**В** новогодние дни почему-то всегда обостряются воспоминания и сильнее мечтается о будущем.

Наверно потому, что смена года — это рубеж, пусть условный, придуманный людьми для отчета собственной жизни, но все-таки рубеж; а на всяком рубеже, как на вершине в горах, хочется оглянуться назад, окинуть взглядом пройденное и заглянуть вперед, на еще неведомые вершины.

Сегодня мне вспоминается один такой рубеж поры моей юности — новогодние дни начала века. Я еду на конке по Невскому проспекту, еду на Васильевский остров, в Горный институт, где предстоит мне получить профессию горного инженера.

Перед Дворцовым мостом конка останавливается. Мост — это подъем, и конке сразу взять его не под силу.

В тот год, встречаясь за новогодним столом, люди, как всегда и всюду, сдвигали бокалы и желали друг другу счастья. Они желали друг другу того счастья, которое казалось им осуществимым в начале нашего века. Это счастье показалось бы сегодня современному молодому человеку неостроумной новогодней шуткой, однако о нем тогда мечтали всерьез; это было время, когда техника подарила петербуржцам небывалое свое чудо — телефон, когда строили первый вагон электрического трамвая и о первом его рейсе говорили и писали, словно о космическом, когда первый петербуржец осмелился подняться на летательном аппарате в воздух (всего на несколько метров!) и этим вызвал в городе подлинный переполох, заставив тысячные толпы собраться на поле в Новой Деревне...

Все это было подъемом, впрочем с вершин наших дней не более крутым, чем Дворцовый мост — для петербургской конки.

Потом наступил год, когда над Дворцовым мостом пролетел и взорвался снаряд военного крейсера. И наступило время иных измерений, иных подъемов, иных темпов. Мост человеческой мечты и пытливого мысли поднимался все круче — в небо. Совсем недавно, в минувшем году, второй его конец опустился в сухую, безжизненную вековую пыль Луны.

Когда наступает новый год, как-то легко и хорошо думать о пройденном пути и смело заглядывать в будущее. Времена меняются, и конка скоро перестанет быть даже публицистическим сравнением, как перестала она служить средством передвижения. Скоро люди будут писать о прошлом, вспоминая смешные паровозы, которые имели трубу, метавшую в воздух клубы гари и дыма, неуклюжие пароходы, которые ползли от Одессы до Батуми... трое суток! Обо всем этом будут рассказывать детям, а те станут

удивляться и посмеиваться, разглядывая все эти диковинки на картинках. Времена меняются, но новогодняя дата всегда будет побуждать людей думать о будущем, и это будущее станет все дальше уходить вперед по великому мосту человеческого знания.

Наступающий новый год будет вторым годом нашей семилетки. В этом его особое значение. Семилетний план — обширную программу жизни и борьбы — наш народ решил выполнить досрочно. Мне хочется пожелать инженерам и рабочим, математикам и физикам, всем советским людям выполнить свои намерения.

Мосты бывают разные. Бывают мосты дружбы. Их не нужно перебрасывать в космические пространства. Ими надо переплести нашу старую планету, чтобы без помех расцветала на ней новая, прекрасная жизнь. Еще один такой мост был возведен недавно, когда Н. С. Хрущев побывал в Соединенных Штатах Америки.

Мосты, как известно, принято охранять. И если у простого железнодорожного виадука стоит один или два человека, то у этого жизненно важного для всех народов моста дружбы должны встать на вахту миллионы людей доброй воли.

Именно об этом мне хотелось бы сказать на рубеже между старым и новым годом, именно этого пожелать людям на обоих полушариях Земли. Это нужно каждому из нас. И это — тот единственный случай, когда я да, наверно, и любой человек согласился бы променять свою любимую профессию на новую — на профессию мостостроителя. Тогда и укрепится на земле то счастье, какого принято желать друг другу в новогоднюю ночь.

*Н. Карамов.*

## ВРЕМЯ ВЫСОКИХ НОРМ

*Мариэтта Шагинян*

**М**ы привыкли к тому, что можно назвать социалистическим ритмом нашего нового общества.

Кто-то один то в одной, то в другой области труда и творчества вдруг выступает вперед, выполнив так много работы и с таким совершенством, как этого не удавалось до него еще никому другому. В первую минуту кажется, что достигнут потолок, выше и больше нельзя. Но вот за первым выходят другой, третий; за единицами поднимаются десятки; за десятками двинулись тысячи. И вот уже то, что показалось исключением, на наших глазах становится обычной нормой для всех.

Но даже и привыкшему к этому ритму человеку приходится испытать легкое головокружение, — так высоко уходит и уходит потолок над нами в истекшем и наступающем году, такие небывало совершенные эталоны в труде и творчестве создают наши люди сейчас и такой высокой требовательностью отзывается совершенство этих эталонов в нашей собственной рабочей совести!

Нельзя нам сейчас плохо работать, нельзя, потому что каждый достигнутый кем-нибудь высокий предел — это ведь по неписаному закону нашей жизни не конечный этап чьей-то чужой гениальной мысли, а веха на нашем общем пути. Весь уровень общества подтягивается к ней; высокая норма обязывает каждого: повысить труд и в своем деле, в своей области, ярче воспринимать, чище отделявать, глубже понимать, — становиться сознательней, поднимая этим всеобщее народное сознание. Ну кому, например, не подскажет собственная совесть, что стыдно быть косным и отсталым в своей области, когда свои же, советские ученые побеждают космос! Как не переживать — сердцем, мозгом, ладонями — чудовищно высокую и так легко выполняемую норму работоспособности, показанную каждому из нас исключительной работой Никиты Сергеевича Хрущева за рубежом и дома. Нельзя не хотеть тянуться за ними, стыдно довольствоваться обычной нормой, когда перед тобой поставлена эта новая, высокая норма труда. Вот это я называю крутыми ступенями лестницы вверх, к коммунизму. И эту лестницу народ наш восходит к завтрашнему дню — от вехи к вехе, от эталона к эталону, с социалистической заповедью нашего роста: что может один, то может каждый — и могут все.



*Мариэтта Шагинян*



## РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА

*С. Н. Ушаков,*

*член-корреспондент Академии наук СССР*

**И**так, первый год семилетки закончен. Он был особенно богат успехами советской науки, поразившей умы людей своими поистине эпохальными свершениями.

Начавшееся всего два года назад завоевание космоса идет от этапа к этапу темпами, превосходящими самые оптимистические предположения.

Эти исключительные достижения воплощают потенциальную мощь советской науки и техники, граничащую с фантастической. Конечно, не только техника обеспечила вступление человечества в космическую эру. В силу своей сложности и комплексности техника космических полетов использует величайшие достижения физики, математики, механики, химии, металлургии и ряда других смежных отраслей.

Мне хочется сказать об одной из них.

Майский Пленум ЦК КПСС 1958 года принял развернутое решение о значении пластиков и других синтетических полимеров — химических волокон, синтетического каучука и других. Для всех отраслей народного хозяйства СССР наметил невиданную по размаху программу научных исследований и строительства соответствующих производств. Это решение буквально революционизирует важнейшие отрасли техники, транспорта и обслуживания народного потребления.

Семилетний план облек эту широкую программу в конкретную форму цифр и сроков, обеспечивающих выход советской науки и техники в области полимеров на первое место в мире. И вот итоги первого года семилетки дали возможность Верховному Совету СССР утвердить в народнохозяйственном плане на 1960 год конкретные и очень стремительные показатели развития производства полимеров.

Наше машиностроение, используя синтетические полимеры, сможет выпускать различные машины меньшего веса и более долговечные. Автомобили и самолеты повысят свои эксплуатационные качества, станут комфортабельнее. Появятся морские и речные суда повышенной грузоподъемности, с корпусами, которые не будут подвергаться коррозии.

Начнется строительство домов из пластиков, что даст возможность создать совершенно новые красивые архитектурные формы и изменить внутренний вид квартир, при этом дома будут весить в двадцать пять — тридцать раз меньше, чем кирпичные здания такого же объема. Особенно большое значение применение пластиков будет иметь для обеспечения населения высококачественными изделиями народного потребления, которые облегчат и украсят быт.

Советские люди оденутся в красивые, прочные и теплые ткани и меха из химических волокон и специальных «нетканых» материалов, получаемых из пластических пленок.

Оценивая успех московской выставки чехословацкого стекла, чехословацкий журналист Адла писал: «Мне думается, что сейчас по Советскому Союзу идет волна здорового стремления к красоте».

Стремление к красоте всегда было характерным для народов Советского Союза. Наглядной иллюстрацией этому служат триумфы советского искусства во всех странах мира, но действительно правильно, что советские люди сейчас имеют возможность обращать большое внимание на красоту материального оформления их быта, и их требовательность в этом отношении, естественно, возрастает буквально с каждым днем.

Общеизвестны успехи, достигнутые советской медициной, использующей все благоприятные социальные условия, создаваемые советским строем, в борьбе с болезнями и в продлении человеческой жизни. Советская медицина должна победить такие недуги, как рак, болезни сердечно-сосудистой системы, различные вирусные заболевания, и вступить в борьбу с преждевременной старостью.

И в этом случае использование синтетических полимеров открывает широкие перспективы. Из полимеров могут быть изготовлены заменители кровяной плазмы, «запасные части» для замены некоторых пришедших в негодность органов человеческого тела, в том числе и таких, как части костей, крупные кровеносные сосуды, включая аорту, и другие. Большие возможности представляются при использовании синтетических полимеров — кровозаменителей направленного лекарственного действия. Такие полимеры предположительно могут быть применены для лечения самых тяжелых заболеваний — туберкулеза и других инфекционных болезней, нарушений сердечно-сосудистой деятельности и злокачественных опухолей и, таким образом, сыграют большую роль в борьбе за продление жизни. Соответственное направление исследования, выдвинутое и развиваемое советской наукой, уже дало первые обнадеживающие результаты.

1959 год ушел от нас не только в блеске великолепных достижений народного хозяйства, науки и искусства нашей страны. Он войдет в историю человечества и как год начала великого перелома в международной обстановке. Потепление отношений между капиталистическим миром и СССР и другими социалистическими государствами было достигнуто в результате последовательной миролюбивой политики советского правительства. Важнейшими историческими событиями на этом пути были поездка Н. С. Хрущева в США, предложения советского правительства о всеобщем разоружении, обращение Верховного Совета СССР к парламентам всех стран. Созданный поездкой Н. С. Хрущева в США «дух Кэмп Дэвида» уже сейчас влияет на все дальнейшее развитие исторических событий, создает уверенность в завтрашнем дне у миллионов людей, населяющих земной шар, и мы вправе гордиться этим, ибо знаем, что именно наша страна идет в авангарде светлых стремлений человечества.





## НА БЛАГО ЛЮДЯМ

· В. М. Вдовенко,

член-корреспондент Академии наук СССР

**Е**ще и года не прошло со времени окончания работы Двадцать первого съезда партии, который для нашего советского государства ознаменовал начало нового

важного исторического периода—периода развернутого строительства коммунистического общества.

На съезде звучало проникновенное слово Никиты Сергеевича Хрущева о величественных задачах, которые ставятся перед советскими учеными, работающими в области физики, химии, металлургии, геологии — в различных отраслях народного хозяйства. Создание материально-технической базы коммунизма требует расцвета науки, активного участия ученых в решении проблем, связанных с дальнейшим всесторонним развитием производительных сил нашей страны.

Какую бы область народного хозяйства мы ни взяли, везде и всюду нужна энергия. Поэтому с особой силой прозвучали в докладе Никиты Сергеевича Хрущева слова о том, что советские ученые будут трудиться над овладением управляемыми термоядерными реакциями с целью получения практически безграничного источника энергии.

Советские ученые занимают первое место в мире в этой области исследований. Это было ярко показано на Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии, происходившей в 1959 году в Женеве.

За современным этапом широкого использования энергии деления тяжелых ядер наступит эра использования энергии синтеза легких ядер, когда на службу человечеству будут поставлены огромные энергетические ресурсы, таящиеся в водах океана.

Но работа над осуществлением управляемой термоядерной реакции не диктуется задачами сегодняшнего дня. Поэтому академик И. В. Курчатов заявил, что он не берет на себя смелости делать предсказания о сроках осуществления этой важнейшей научно-технической проблемы. И все же можно не сомневаться в том, что советские ученые свершат и этот научный подвиг.

Наша родина очень богата энергетическими ресурсами. Член-корреспондент Академии наук СССР В. С. Емельянов приводит такие данные: общие балансовые запасы угля в Советском Союзе на 1 января 1957 года составляли 300 миллиардов тонн, а прогнозные запасы оцениваются в 7400 миллиардов тонн. Только с 1946 по 1951 год выявленные запасы нефти выросли почти вдвое, а в следующем пятилетии — к январю 1956 года — еще в 2,5 раза. Запасы природного газа в стране составляют 1860 миллиардов

кубических метров, а прогнозные запасы оцениваются в 13 тысяч миллиардов кубических метров. Гидроэнергоресурсы только крупных водостоков определяются в 1200 миллиардов киловатт-часов в год, что эквивалентно 137 миллионам киловатт средней годовой мощности.

Таким образом, потребность Советского Союза в энергии обеспечивается огромными запасами органического топлива и гидроэнергоресурсами на достаточно длительный срок. Однако атомные электростанции в ближайшее время будут занимать существенное место в общем энергетическом балансе страны. Особое значение имеет создание новых атомных станций в отдаленных местах и в районах, имеющих развитую промышленность, но ограниченные запасы энергоресурсов.

Современная бурно развивающаяся химия использует уголь, нефть, газы как сырье для многих отраслей химической промышленности, особенно для химии полимеров. Естественно, что сжигание топлива ограничивает сырьевые ресурсы химии. Направив топливо на химическую переработку за счет более широкого использования атомной энергии, советский народ получит много новых ценных продуктов для нашего народного хозяйства, для улучшения жизни и быта советского человека.

Расширение сети тепловых, атомных и гидроэлектрических станций явится мощным фундаментом для создания материально-технической базы коммунизма.

*В. В. Вдовенко*

# В наши дни

С. П. МИТРОФАНОВ,

секретарь Ленинградского областного комитета КПСС

## ШАГАМИ СЕМИЛЕТКИ

**Г**игантские, стремительные шаги первой семилетки вызывают восторг у наших друзей и приводят в ярость врагов. Показательно, что большинство буржуазных экономистов спорит уже не о том, превзойдем ли мы США, а о том, сколько лет нам для этого понадобится.

Успехи социалистического строя слишком очевидны. Партия развивает и обогащает марксистско-ленинскую теорию в соответствии с задачами нового периода. За последние годы в стране осуществлен ряд чрезвычайно важных, подлинно революционных преобразований. Перестроена система управления промышленностью и строительством. Расширены права союзных республик. Изменен порядок заготовок и установлены единые цены на сельскохозяйственные продукты. Реорганизованы МТС. Улучшена работа профсоюзов. Осуществляется закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования». Значение этих коренных изменений для дальнейшего подъема нашего народного хозяйства и культуры, для перехода к развернутому строительству коммунизма переоценить поистине невозможно.

Двадцать первый съезд Коммунистической партии Советского Союза ознаменовал вступление нашей страны в новый период своего развития — в период развернутого строительства коммунистического общества. Съезд выработал программу развития нашей страны на ближайшие семь лет, июньский Пленум Центрального Комитета КПСС определил конкретные пути ускорения технического прогресса на базе современных достижений науки и техники.

Мы живем в эпоху великих открытий науки, поразительных достижений техники. И не случайно именно на этом поприще социалистическая держава добилась небывалого триумфа. Запуск первых советских искусственных спутников Земли ознаменовал собой начало эры освоения необъятных космических пространств. На поверхности Луны водружен вымпел Советского Союза. Впервые в истории человечества были сделаны фотоснимки невидимой стороны Луны. Физики получили в свое распоряжение самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц — синхрофазотрон на десять миллиардов электроновольт. Вступила в строй крупнейшая в мире атомная электростанция. Успешно закончены испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин». Больших успехов добились наши ученые в решении самой важной из современных проблем — управлении термоядерными реакциями.

Самый мощный, крупнейшая, первый в мире... Все это шаги семилетки. Их размах определили контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы, принятые историческим Двадцать первым съездом КПСС. Это глубокий и смелый план нового бурного развития нашего социалистического общества, план ускоренного движения вперед по пути к коммунизму.

В программе семилетки значительное место отводится Ленинграду — одному из ведущих центров технического прогресса страны. К 1965 году объем валовой продукции ленинградской промышленности должен увеличиться более чем в полтора раза. При этом тяжелая промышленность будет развиваться большими темпами, чем другие отрасли, — она вырастет на шестьдесят процентов. Выпуск товаров народного потребления увеличится на сорок процентов.

Примечательны перемены, которые произойдут в ведущих отраслях ленинградской индустрии. Так, энергетическое машиностроение Ленинграда должно будет выпустить за семилетку по мощности столько совершенных и экономичных паровых, газовых и гидравлических турбин, сколько сейчас работает на всех электростанциях нашей страны.

Эта задача будет решена созданием сверхмощных паровых турбин в триста, четыреста и шестьсот тысяч киловатт. Мировая техника еще не знает таких машин. Об их экономическом эффекте достаточно судить хотя бы по такому факту. За счет новых паровых турбин, изготовленных в Ленинграде, только по топливу удастся сэкономить около двух миллиардов рублей.

Еще более разителен рост газового турбостроения. Производством газовых турбин увеличится более чем в семь раз. Будут спроектированы газотурбинные установки мощностью до ста тысяч киловатт в одном агрегате. Это также явится величайшим достижением в технике мирового энергомашиностроения.

Не отстанут и создатели генераторов. Один только завод «Электросила» имени С. М. Кирова за семилетие выпустит генераторов по мощности больше, чем им было изготовлено с начала выпуска этих машин, т. е. за все предшествующие тридцать три года.

Ленинградские дизелестроители создадут технически совершенные дизели с дистанционным управлением и замкнутой системой охлаждения. Их мощность увеличится на одну треть, а весить они будут гораздо меньше.

Многие первоклассные суда отошли в первый рейс от причалов ленинградских заводов. Мастерам корабельных дел предстоит приумножить свою славу. На стапелях будут заложены самые современные в техническом отношении пассажирские суда. Корабли промыслового флота, оснащенные новейшими радионавигационными и гидроакустическими средствами связи, холодильными машинами, установками по переработке сырья, новейшими средствами механизации, ни в чем не уступят передовым промышленным предприятиям.

В станкостроении упор делается на производство станков с программным управлением. Предусмотрен значительный рост выпуска современных тяжелых и прецизионных металлорежущих станков и высокопроизводительного инструмента. Одним из основных направлений работы ленинградских станкостроителей явится изготовление станков высокого класса, автоматов и полуавтоматов, а также специальных станков для ведущих отраслей промышленности.

Намечается широчайшее внедрение передовой сварочной техники. Здесь должен сказать свое слово коллектив завода «Электрик».

Невозможно перечислить все технические новинки, которыми ленинградские машиностроители порадают в текущем семилетии страну. Будут изготовлены более мощные турбозубчатые агрегаты, совершенное оборудование для горнорудной, пищевой, кожевенно-обувной, текстильной, полиграфической и других отраслей промышленности.

Многое предстоит сделать ленинградской промышленности, чтобы выполнить принятую майским Пленумом Центрального Комитета партии программу создания «большой химии». Старые предприятия подвергаются коренному техническому перевооружению. Новая, передовая технология, использование автоматики, замена устаревшего оборудования — все это резко увеличит выпуск химической продукции и особенно пластических масс. Одновременно предстоит организовать комплекс химических производств по переработке местного сырья и природного газа.

В Ленинградском экономическом районе создается новая отрасль — химическое машиностроение. За семилетку должно быть изготовлено большое количество химического оборудования — реакторов, насосов и других машин на сумму более двух миллиардов рублей.

Более чем вдвое возрастет выпуск изделий радиотехнической и приборостроительной промышленности. Будут освоены в серийном производстве свыше тысячи новых приборов и средств автоматизации.

Но не только приборы, станки и механизмы даст ленинградская индустрия. Вдвое увеличится изготовление шерстяных и полушерстяных тканей, в которых наряду с шерстью будет использовано прочное и дешевое искусственное волокно. Резко возрастет выпуск обуви, одежды, белья и других товаров широкого народного потребления. Большую работу предстоит сделать и по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по увеличению производства, расширению ассортимента и улучшению качества товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода».

Огромные задачи, стоящие перед ленинградской промышленностью в ближайшем семилетии, потребуют от нас творческого подхода к их решению, использования всех внутренних резервов производства. Характерным для семилетки ленинградской промышленности является то обстоятельство, что увеличение объема производства должно произойти в основном за счет повышения производительности труда.

Каким же путем идти, как добиться в короткий срок максимального роста производительности труда? Ответ на этот вопрос дают решения июньского Пленума Центрального Комитета нашей партии.

Ключом к решению задач семилетки является технический прогресс, так как главный его результат — рост производительности общественного труда. «Только на пути технического прогресса, — говорил на Пленуме Н. С. Хрущев, — на основе лучших достижений науки и техники, передового опыта можно обеспечить быстрый и неуклонный рост производительности труда, высокие темпы развития народного хозяйства». Только новое, прогрессивное обеспечит успех дела. Вот почему на осуществлении технического прогресса и сосредоточивают сегодня ленинградцы все свои силы, всю волю и энергию.

После июньского Пленума прошло немного времени, но в сознании работников промышленности уже произошел крутой поворот к новой технике, внимание всех приковано теперь к важнейшим проблемам ее создания и внедрения. С широким участием новаторов производства, инженеров, техников были пересмотрены, а в отдельных случаях разработаны вновь планы технического прогресса для каждого участка, цеха, предприятия. Этой работе в значительной степени содействовали созданные на предприятиях по инициативе партийных организаций комиссии содействия техническому прогрессу. Так, например, на Оптико-механическом заводе в пять общезаводских и четырнадцать цеховых технических комиссий вошло более двухсот инженерно-технических работников и новаторов производства. На основании более семисот предложений, поступивших в комиссии, были разработаны планы технического прогресса. Они рассматривались экономическим советом завода и обсуждались на собрании партийно-хозяйственного, профсоюзного и комсомольского актива.

В борьбе за технический прогресс важное значение имеет организация выпуска более совершенных машин, стоящих на уровне новейших достижений науки и техники. Проверка показала, что более одной тысячи основных изделий промышленности Ленинграда устарели и должны быть заменены новыми, а свыше четырехсот — подлежат модернизации. Такая проверка продолжается. Только по основным машиностроительным управлениям Ленсовнархоза предстоит пересмотреть свыше десяти тысяч изделий.

Известно, что ленинградцы взяли на себя ответственное обязательство — в ближайшие три года освоить производство тысячи шестисот новых образцов

машин, станков, механизмов, приборов и аппаратов. С этой целью на промышленных предприятиях создано более двухсот пятидесяти технических комиссий. Особенно активно они работают на заводах Балтийском, Ижорском, «Светлане», «Электросиле» имени С. М. Кирова, Карбюраторном, «Электрике» и ряде других.

На заводе «Электрик» техническая комиссия вместе с работниками цехов пересмотрела все виды изготавливаемых машин и определила, какое оборудование следует снять с производства, а какое модернизировать. Выяснилось, что некоторые виды оборудования спроектированы с применением малопроизводительной аппаратуры. Конструкция этих машин срочно пересматривается. После модернизации их производительность возрастет примерно в два раза. За семилетие в стране значительно увеличится выпуск алюминиевых сплавов, которые найдут применение во всех отраслях промышленности. Учитывая это, техническая комиссия внесла предложение создать два новых типа оборудования для сварки легких металлов.

Трудовой подъем, вызванный историческими решениями Двадцать первого съезда партии и июньского Пленума ЦК КПСС, возглавленный партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями, вылился в мощную волну социалистического соревнования за досрочное выполнение семилетнего плана. Соревнование ширилось, выдвигались встречные обязательства. Комсомольцы и молодежь Ленинграда предложили выполнить задание семилетки по росту производительности труда в пять лет. Из семидесяти двух тысяч молодых рабочих Ленинграда, принявших это обязательство, более двадцати двух тысяч уже успешно его выполняют. Ленинградский обком и горком КПСС, партийные организации предприятий активно поддерживали патриотическое начинание комсомольцев. Подсчитав свои возможности, коллективы четырнадцати заводов решили уже в 1963 году добиться производительности труда, намеченной на 1965 год. Их примеру последовало большинство предприятий Ленинграда и области. Эти новые, повышенные обязательства основаны на строгих научно-технических расчетах, на практических мероприятиях по комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.

По инициативе партийных организаций на всех предприятиях совнархоза были тщательно изучены и пересмотрены в сторону увеличения ранее составленные планы механизации и автоматизации производства. Если сначала комплексную механизацию и автоматизацию намечали осуществить на двадцати трех предприятиях, то теперь эта цифра увеличилась почти в два с половиной раза. За семилетие будет внедрено восемьсот поточных и конвейерных линий, из них двести пятьдесят автоматизированных. Затраты на комплексную механизацию и автоматизацию составят около одного миллиарда рублей, а окупятся они в два-три года.

В первую очередь будут механизированы и автоматизированы производства с вредными условиями труда, а также технологические операции, типичные для данного производства и остающиеся постоянными независимо от смены изделий. Особое внимание уделяется механизации транспортных операций. На каждом предприятии будут созданы цехи или участки, а в ведущих отраслях промышленности специализированные предприятия по производству средств механизации и автоматизации.

Залогом успешного выполнения принятых обязательств является поистине неисчерпаемая инициатива советского народа, непрерывно рождающая все новые и новые патриотические начинания. Возникшее накануне Двадцать первого съезда КПСС замечательное патриотическое движение современности — соревнование бригад и ударников коммунистического труда — получило широкий размах в ленинградской промышленности, строительстве и на транспорте. За получение высокого звания борются теперь не только отдельные бригады, но и коллективы цехов, участков и смен. В составе этих коллективов трудится около ста десяти тысяч человек. В соревновании за звание ударников коммунистического труда участвует более пятнадцати тысяч рабочих.

Участники нового движения с честью выполняют принятые обязательства, повышают производительность труда, экономят материалы, выпускают высококачественную продукцию. Каждый из них старается озаглавить свое участие в этом соревновании смелым новаторством, удачным техническим решением, которые способствовали бы росту производительности труда. Примером может служить бригада коммунистического труда токарей Металлического завода, возглавляемая Михаилом Ромашовым. Работая над осуществлением комплексного плана повышения производительности труда, член бригады В. А. Крестьяников придумал приспособление для обработки корпусов. Другой член бригады, Н. П. Мартыненко, сконструировал высокопроизводительные резцы для обработки специальной стали. А бригадир М. Ф. Ромашов создал оригинальное приспособление для изготовления угольников. Всего же молодые рабочие этой бригады предложили более двадцати таких технических новинок. Многие из этих предложений уже внедрены в производство, в результате чего производительность труда бригады возросла на пятнадцать процентов вместо семи, предусмотренных по плану. Каждый член бригады выполняет сменное задание за шесть-семь часов.

Подобные примеры можно было бы привести из практики бригад коммунистического труда — сварщиков Ижорского завода, руководимой Тихоном Водопьяновым, прокатчиков завода «Красный Выборжец», руководимой Николаем Ворониным, и многих других. Соревнуясь за звание коммунистических, коллективы и отдельные рабочие широко используют и творчески развивают ценную инициативу передовиков и новаторов производства.

На предприятиях Ленинграда и области составлено около двадцати тысяч комплексных планов повышения производительности труда на каждом рабочем месте, предложенных новаторами Кировского завода А. Ф. Логиновым и П. А. Зайченко. Их выполняют свыше пятидесяти тысяч рабочих. Расточники Кировского завода Е. С. Гегин и А. П. Маляренко составили уже четвертый комплексный план. Реализация трех предыдущих помогла им повысить производительность труда в четыре раза.

Дальнейшим развитием комплексных планов явились предложенные новаторами завода «Русский дизель» Ю. В. Титовым, В. И. Коротковым и бригадиром токарей бригады коммунистического труда Металлического завода М. Ф. Ромашовым личные и бригадные планы технического прогресса. В них наряду с мероприятиями по оснащению рабочих мест и модернизации оборудования предусматривается автоматизация и механизация производственных процессов, повышение технических знаний, изучение и внедрение опыта новаторов, оказание помощи отстающим. На предприятиях ленинградской промышленности около восьми тысяч рабочих уже составили планы технического прогресса и активно включились в борьбу за их выполнение. Только на заводе «Русский дизель» более восьмисот рабочих имеют планы технического прогресса. Выполнение их позволило многим повысить производительность труда на десять — двенадцать процентов.

Президиум областного Совета профсоюзов одобрил этот почин и наметил пути его дальнейшего распространения. Недавно заводским комитетом профсоюза на Кировском заводе была поддержана инициатива токарей И. Д. Рудакова, И. А. Безрукова и В. В. Короткова, разработавших в ответ на обращение четырнадцати предприятий личные планы на семилетку. В них главным является обязательство добиться производительности труда, запланированной к концу семилетки, за пять лет. Организаторская и разъяснительная работа, проведенная партийной, профсоюзной и комсомольской организациями, дали хорошие плоды: более тысячи двухсот рабочих завода решили следовать примеру новаторов. Фрезеровщик И. Д. Леонов обязался выполнить семилетнее задание за три с половиной года, токарь С. В. Древо — за четыре года и т. д.

Поучителен опыт завкома Волховского алюминиевого завода. Там разработаны новые положения о соревновании между цехами и участками, особое внимание уделяется гласности и подведению итогов. Результаты работы подводятся ежедневно и вывешиваются в цехах. Социалистическим соревнова-

нием охвачены почти все рабочие. Бригада коммунистического труда электролизного цеха В. И. Дмитриева, подсчитав свои возможности, решила уже в 1960 году давать алюминия столько, сколько запланировано на 1965 год, а задание семилетнего плана по повышению производительности труда выполнить за четыре года. Такие обязательства приняли многие другие бригады.

Широкое распространение получил за последнее время почин знатной прядильщицы страны Героя Социалистического Труда Валентины Гагановой. На предприятиях Ленинграда и области насчитывается более двухсот ее последователей. На прядильно-ниточном комбинате имени С. М. Кирова уже пятнадцать человек перешли в отстающие бригады. На заводе «Севкабель» бригадир прокатного стана кандидат в члены КПСС Л. В. Братчиков первым в районе последовал почину Валентины Гагановой и возглавил отстающую бригаду. На заводе «Ленполиграфмаш» бригадир бригады коммунистического труда фрезеровщиков коммунист Н. М. Орлов также перешел в отстающую бригаду и вывел ее в число передовых.

В ходе социалистического соревнования возникли другие ценные починны, распространением которых занимаются партийные и общественные организации Ленинграда. Мастер Металлического завода В. А. Завьялов начал соревнование среди мастеров за лучшую помощь молодым рабочим, диспетчер станции Ленинград-сортировочный Московский Герой Социалистического Труда М. Л. Коршунов предложил формировать и отправлять все поезда тяжеловесными, пример экономии и бережливости показала работница завода «Севкабель» А. А. Грицкевич и т. д.

Замечателен вклад в семилетку изобретателей и рационализаторов Ленинграда и области. От внедрения в 1959 году ста с лишним тысяч предложений рационализаторов и изобретателей получена условно годовая экономия более пятисот миллионов рублей. Подъему творческого движения рабочих и специалистов способствует деятельность общества изобретателей и рационализаторов.

Все это свидетельствует об огромном патриотическом желании трудящихся Ленинграда и области внести свой личный вклад в дело успешного выполнения грандиозных задач семилетки.

Техническому прогрессу больше внимания стали уделять районные, городской и областной комитеты КПСС. Активно способствует распространению передового опыта, например, Выборгский РК КПСС Ленинграда. Работа созданной райкомом инициативной группы по внедрению в инструментальное производство твердосплавной оснастки и стиракрила дала ощутимые результаты. На десяти предприятиях района были внедрены штампы, армированные твердым сплавом, и широко применен стиракрил при изготовлении приспособлений и штампов. Это позволило увеличить стойкость штампов в сорок — пятьдесят раз и снизить трудоемкость их изготовления на тридцать — сорок процентов. Такие же группы заняты на предприятиях района внедрением токов высокой частоты и ультразвука.

Бюро этого райкома поддержало и одобрило инициативу научного сотрудника Политехнического института имени М. И. Калинина С. А. Заборовского, предложившего создать комплексные технические бригады. Предложения бригад были приняты рядом заводов и включены в планы технического прогресса на семилетку.

Кировский райком КПСС подхватил инициативу рабочих и инженерно-технических работников завода имени А. А. Жданова, осуществляющих комплексную механизацию и автоматизацию трудоемких процессов производства в судостроительной промышленности. На заседаниях бюро Ленинградского горкома и обкома КПСС неоднократно обсуждалась работа отраслевых управлений совнархоза по внедрению новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производства. Большую помощь оказывают партийным организациям постоянные комиссии по контролю хозяйственной

деятельности администрации. В Ленинграде и области только по контролю за внедрением новой техники, механизации и автоматизации производства уже работает около девятисот таких комиссий.

Сделать гигантский шаг по пути технического прогресса, успешно выполнить принятые обязательства ленинградская партийная организация не мыслит без творческого участия ученых.

В Ленинградском экономическом районе сосредоточены крупные научно-технические силы. Достаточно сказать, что в нашем городе успешно работают такие крупные академические институты, как Физико-технический, Полупроводников, Высокмолекулярных соединений и многие другие. У нас сосредоточено триста семьдесят пять различных научно-исследовательских, конструкторских и проектных организаций. В них трудится более ста сорока тысяч человек. В ленинградских академических, научно-исследовательских институтах и вузах работает более восьмидесяти академиков и членов-корреспондентов Академии наук, тысяча четыреста докторов наук и девять тысяч пятисот кандидатов наук различных специальностей. В творческом сотрудничестве с работниками промышленности, начатом по инициативе ленинградских ученых еще в годы первых пятилеток, решено много важных научно-технических проблем. Сделаны крупнейшие открытия и изобретения, созданы уникальные установки, разработаны и внедрены в производство совершенные технологические процессы.

Работая над серьезными проблемами, ученые поддерживают тесный контакт с работниками ленинградских предприятий, помогая им решать наиболее сложные задачи технического прогресса.

О значительном вкладе в промышленность и народное хозяйство страны ленинградских ученых можно судить по таким примерам: в Научно-исследовательском институте токов высокой частоты имени профессора В. П. Вологодина научными сотрудниками Н. П. Глухановым, Н. В. Богдановым, В. Л. Кулжинским и А. К. Федоровым разработан новый высокопроизводительный метод сварки труб большого диаметра и практически неограниченной длины, с применением передовой технологии высокочастотного нагрева. Применение этого метода даст народному хозяйству не менее пятидесяти миллионов рублей экономии в год. В сотрудничестве со станкостроительным заводом имени Свердлова коллектив кафедры автоматики и телемеханики Электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина) под руководством профессора А. В. Фатеева разработал систему автоматического программного управления координатно-расточным станком.

Заметный вклад в технический прогресс ленинградской промышленности внесли ученые химических институтов. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте синтетического каучука имени академика С. В. Лебедева под руководством кандидата технических наук А. Л. Лабутина проведена разработка нового весьма эффективного антикоррозийного материала для применения в судостроительной и гидротехнической промышленности.

Ученые центральных научно-исследовательских институтов кожевенно-обувной промышленности, заменителей кожи и Всесоюзного научно-исследовательского института синтетического каучука помогли производственникам фабрики «Скорход» заменить натуральную дорогостоящую гуттаперчу новым синтетическим хлоропреновым каучуком. Разработанный в сотрудничестве с работниками производства новый вид хлоропренового каучука имеет большое народнохозяйственное значение и в настоящее время применяется на многих предприятиях Советского Союза. Экономия от внедрения данной работы только на фабрике «Скорход» составляет более полумиллиона рублей в год.

Можно привести десятки примеров, показывающих, как благодаря помощи ученых ручной труд на предприятиях вытесняется совершенными механизмами и автоматами.

Заслуживает одобрения положительный опыт ряда институтов, создавших у себя специальные лаборатории, занимающиеся вопросами механизации

ции и автоматизации производства. Вот, к примеру, проблемная лаборатория автоматики и телемеханики Горного института. Ее коллектив в содружестве с производственниками решает многие проблемы, имеющие первостепенное значение для облегчения труда в горной промышленности.

Сейчас содружество людей науки и производства вступило в новый этап. Ученые все более и более усиливают свою помощь промышленности в разработке комплексных проблем, позволяющих механизировать и автоматизировать целые предприятия, цехи, участки.

После июньского Пленума ЦК КПСС коллективы пяти ленинградских институтов: — Политехнического имени М. И. Калинина, Технологического имени Ленсовета, Электротехнического имени В. И. Ульянова (Ленина), Инженеро-экономического и Точной механики и оптики — решили заключить с предприятиями города семилетние договоры о творческом содружестве. Особое место в договорах занимают вопросы механизации и автоматизации производства; а также оказание всемерной помощи коллективам, борющимся за звание коллективов коммунистического труда.

Бюро областного комитета партии одобрило инициативу ученых и рекомендовало райкомам и горкомам КПСС поддержать и распространить это ценное начинание.

Не менее важная роль в борьбе за выполнение семилетнего плана отводится научно-техническим обществам, являющимся массовыми организациями наших ученых, научных работников, инженеров, техников, студентов и новаторов производства. Ведь только в Ленинграде девятнадцать отраслевых научно-технических обществ имеют более тысячи ста первичных организаций и объединяют в своих рядах огромную силу — свыше пятидесяти четырех тысяч членов НТО.

Стремление научных и инженерно-технических работников объединиться для скорейшего и более успешного решения творческих задач диктуется еще и тем, что теперь прошло время, когда наука, технические открытия продвигались вперед усилиями одиночек. В нашей стране творят науку, совершенствуют технику коллективы ученых, инженеров, новаторов производства.

Научно-технические общества всегда выступали в качестве организаторов и собирателей передовых технических идей, творческих начинаний и передового опыта промышленности. Реорганизация управления промышленностью и строительством создала исключительно благоприятные условия для резкой активизации этих общественных организаций, привлечения их к решению проблемных вопросов, выдвинутых семилетним планом.

Будучи организованными по отраслевому признаку, эти общества объединяют по специальности ученых, инженеров, техников, новаторов и дают им возможность практически участвовать в решении актуальных проблем технического прогресса, обмениваться научно-техническим опытом, выдвигать перед государственными органами и совнархозом квалифицированные рекомендации, направленные на осуществление очередных и перспективных задач. Многие первичные организации научно-технических обществ плодотворно участвуют в борьбе за успешное выполнение семилетнего плана и ускорение технического прогресса. Они проводят научно-технические совещания, конференции, конкурсы, ведут научно-техническую пропаганду в рабочих коллективах.

Так, например, большую помощь промышленности оказала конференция, проведенная секцией обработки металла давлением, по обмену практическим опытом получения кузнечных заготовок прогрессивными методами. Ее рекомендации, учитывающие передовой опыт ленинградских и других кузнечных цехов страны, несомненно явились важным материалом для Ленинградского совнархоза при решении вопросов о повышении уровня технологии и автоматизации производства в кузнечных цехах.

На Металлическом заводе члены научно-технического общества совместно с новаторами производства вдвое сократили время, затрачиваемое на обработ-

ку ротора. На заводе «Красная заря» совет научно-технического общества организовал конкурс бригад творческого содружества. В нем приняли участие пятьдесят две комплексные бригады. Общая годовая экономия, полученная в итоге деятельности комплексных бригад, составила два миллиона рублей. Ленинградское отделение научно-технического общества электротехнической промышленности и первичные организации на заводах «Электросила» имени С. М. Кирова и «Электроаппарат» организовали шефство инженерно-технических работников над бригадами коммунистического труда и оказывают помощь в повышении технических знаний.

Не менее важное значение для успешного выполнения научных и научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях имеет работа студенческих научных обществ. Объединяя в своих рядах более двадцати тысяч студентов, студенческие научные общества оказывают большую помощь институтам в выполнении договоров по творческому содружеству с производством. Многие научные работы студентов внедрены в производство.

Развернувшееся в последнее время по инициативе студентов Политехнического и Электротехнического институтов содружество с бригадами коммунистического труда создало новые возможности для сближения вузов с заводами. Свыше тысячи пятисот студентов и около ста преподавателей города участвуют сейчас в движении за содружество с бригадами коммунистического труда, с коллективами, борющимися за это звание. Это движение, одобренное областным комитетом партии, равно как и работа студенческих научных обществ, находит всемерную поддержку у руководителей и в партийных организациях учебных заведений и заводов Ленинграда. По предложению городского комитета комсомола при совнархозе создается городской совет содружества вузов с производством.

Огромная работа, проводимая руководителями промышленных предприятий, партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями по мобилизации трудящихся, дает положительные результаты. Государственный план 1959 года — первого года семилетки — промышленностью Ленинградского экономического района выполнен досрочно, 18 декабря.

Итоги работы ленинградской промышленности в первом году семилетки позволяют с уверенностью сказать, что трудящиеся города и области, осуществляя решения Двадцать первого съезда и июньского Пленума ЦК КПСС, с честью выполняют свои социалистические обязательства по досрочному окончанию семилетки, вносят достойный вклад в великое дело построения коммунистического общества в нашей стране.

## ЧЕРТЫ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Еще в древности говорили: меняются времена, меняются и люди. И подразумевалось под этим, конечно, не изменение внешности человека. Дело ведь не в том, что римлянин во времена империи носил тогу и тщательно брил лицо, а англичанин Викторианской эпохи отдавал предпочтение клетчатым брюкам со штрипками и густой растительности на щеках и подбородке. При Марке Аврелии общественное сознание римского гражданина, естественно, отличалось от общественного сознания лондонского обывателя, независимо от того, чьи политические взгляды — тори или вигов — этот последний исповедовал. Предполагать, что душа человека — его характер — формируется не под воздействием общественного мировоззрения, а под влиянием биологического фактора, а то и «потустороннего» вмешательства, значит находиться в плену у антинаучных предрассудков.

Душу русского человека психологи и философы Запада тщательно «исследуют» и «изучают» уже несколько десятилетий. Характерно при этом, что основным пособием «исследователи» продолжают считать романы Достоевского, в которых разлагаются и анализируются душевные порывы и сумеречная, ущербная психика Раскольников и Карамазовых. И потому все еще пользуется широким спросом легенда о «таинственной» и «непознаваемой» русской душе.

Между тем давно уже пришло время исходить в оценках души русского человека эпохи социализма из художественных произведений, отражающих именно эту эпоху. Взять хотя бы всемирно известный рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», в котором необычайно ярко выражены типические черты обыкновенного советского гражданина — одного из десятков миллионов.

Душа Андрея Соколова — гордая, стойкая, неподкупная, щедрая своей добротой и окрыленная верой в правоту всенародного дела, — вот подлинный эталон душевных качеств советских людей, строителей коммунизма.

Как-то на днях двадцатидвухлетний студент, учащийся на филфаке, порывался доказать мне, что наша современная молодежь оказалась в невыгодном положении по сравнению с молодой гвардией Октября, имевшей перед собой конкретную цель — победу социалистической революции.

— Годы вашей юности, — говорил он, — были пронизаны революционной романтикой. — Вы жили исключительно полнокровной жизнью, и, конечно, все мелкое, личное, что тревожит и занимает теперь некоторых из нас, растворялось в непрерывном дерзании и подвиге.

Я не стал предаваться воспоминаниям о нетопленных, пробиваемых ветром теплушках, о восьмущке хлеба, прилипающей черным комком к ладони, о сыпном тифе, поражающем, как выстрел, и на перроне вокзала, и на длинных походных дорогах, и у станка, и на бурных комсомольских собраниях... Я не стал говорить о тех лишениях и бесконечных бытовых трудностях, которые сопутствовали нам в годы молодости, но только задал моему собеседнику вопрос: разве построение коммунизма — цель не конкретная, не возвышенная, разве она не требует сосредоточения всех душевных сил человека?

Мой собеседник замялся, пошевелил пальцами, как бы высплюывая очередную гладенькую фразу, и пробормотал лишь что-то мало-вразумительное о душе человека нашего времени, которая, с его точки зрения, видите ли, не подверглась почти никаким качественным изменениям.

Мне показалось, что туман в голове моего молодого собеседника — не результат его собственных раздумий, а осколки чужеродной недоброжелательной мысли.

Наши идеологические противники давно уже провели в своем стане коренное перевооружение. Они, как известно, больше не ставят под сомнение ни успехи, ни потенциальные возможности нашего социалистического государства в области развития экономики и наращивания технических ресурсов. Им трудно было возразить Никите Сергеевичу Хрущеву, который в одном из своих выступлений в США сказал: «Посмотрите, какие огромные успехи достигнуты в нашей экономике за десять лет, как развилась наша техника, наука! Мы открыли секрет использования водородной энергии раньше вас. Раньше вас мы создали баллистическую межконтинентальную ракету, которой у вас фактически нет до сих пор. А ведь баллистическая межконтинентальная ракета — это поистине сгусток человеческой творческой мысли». Им совершенно невозможно опровергнуть тот факт, что с борта советской космической лаборатории с расстояния в шестьдесят пять тысяч километров сфотографирована обратная сторона Луны и изображение ее передано из глубин межпланетного пространства на Землю! А это прямое свидетельство невиданных успехов математики, физики, радиоэлектроники, химии, свидетельство потрясающих успехов наших астрономов, металлургов и представителей других отраслей науки, инженеров, техников и рабочих, воплотивших вдохновенные замыслы и точнейшие теоретические расчеты в металл технических конструкций.

Сомневаться ныне в «коммунистическом эксперименте» — значит выставить себя на посмешище всему человечеству, которое научилось видеть, понимать и верить. Но как же в таком случае «сокрушать» идеологию, ставшую знаменем уже для одной трети человечества и завоевывающую все более глубокие симпатии в массах простых людей всей земли? Арсенал позитивных средств, которые старый мир, старая социальная система может противопоставить достижениям нового мира, ограничен и, надо прямо сказать, довольно убог. Например, попытка господина Генри Лоджа убедить Никиту Сергеевича Хрущева в том, что в могущественнейшем капиталистическом государстве — США — теперь господствует не власть монополий, а какая-то благодатная система «гуманного экономизма», — эта попытка находится в вопиющем противоречии с объективными законами общественного развития и подтверждающими их конкретными фактами. Сладкие речи мистера Лоджа — не более, чем сказочка для американских школьников младшего возраста! И хотя защитники капиталистического строя в своих ожесточенных спорах с нами очень любят ссылаться на труды... Маркса и Энгельса, где, мол, речь шла лишь о противоречиях капитализма на более ранней стадии его развития, ничего реального, что можно было бы противопоставить железным построениям великих диалектиков, у апологетов долларовой «демократии» за душой нет и быть не может. Но если невозможно опровергнуть действительные успехи плановой социалистической экономики, не знающей тяжких недугов капиталистического способа производства — анархии рынка, кризисов перепроизводства, возникающих, как волдыри от ожогов, и хронической безработицы, то, может быть, есть возможность потянуть совсем за другую ниточку и найти противоречия там, где их никогда не было? Демонстрацию этого фокуса взяли на себя буржуазные философы и социологи, избравшие в качестве ассистентов ученых выкорышей ревизионизма и ренегатов всех мастей и оттенков.

В чем же состоит фокус? Понятия ставятся с ног на голову — только и всего! Утверждается, что социализм и коммунизм несовместимы с гума-

низмом, что это-де взаимоисключающие понятия, что социалистическое общество игнорирует и попирает интересы человеческой личности.

Но где же, в таком случае, сохранился незасыхающий источник гуманизма? Быть может, он, возникший как общественное и литературное движение в Западной Европе в условиях напряженной борьбы молодого класса — буржуазии с феодально-церковной идеологией, и по сей день, как солнце, светит и греет души людей, живущих при капиталистическом строе? И может быть, лозунг «свобода, равенство и братство», провозглашенный французскими материалистами XVIII века, все еще является направляющей основой для развития духовной жизни современного буржуазного строя?

Но ведь отлично известно, что человечность, забота о благе всех людей, уважение к человеческому достоинству не могут не вступить в противоречие с той экономикой, цель которой — обеспечить сверхприбыли ничтожному меньшинству, с политикой, цель которой — грабить и поработать слабых, с социальной системой, всеми способами оберегающей частную собственность на средства производства, с философией, отказывающейся от соприкосновения с действительностью и толкающей человечество в темный и душный тупик непознаваемости реального мира...

О каком же гуманизме как направляющем течении буржуазного общества можно говорить серьезно, если около двух третей населения в странах капитализма не получает достаточно пищи, а более половины всех людей медленно умирает, получая в день меньше двух тысяч калорий на человека? Таковы данные, приведенные в книге Джекоба Озера, профессора Сиракузского университета, — «Должны ли люди голодать?». Между прочим, Озер, выступая в своей работе против современных последователей человеконенавистнической теории английского попа Томаса Мальтуса о «перенаселенности» земного шара, справедливо отмечает, что «от мальтузианской теории разит духом разложения и смерти». «Упрощенный единственный подход ко всем бедам мира, — читаем в книге Озера, — основанный на принципе «сдерживать рост населения», игнорирует многие сложные факты, которые порождают голод и нищету. Мальтузианцы уверяют, что голод, болезни, войны и нищета порождаются скорее законом природы, чем общественными отношениями и технической отсталостью. Они недооценивают потенциальные возможности современной науки и способность человека управлять своим будущим». И в самом деле, неомальтузианцы Уильям Фогт, Джулиан Хаксли, Гай Ирвинг Берг, Элмер Пенделл и другие занимаются мрачными предсказаниями о судьбах человечества. «Новые поколения рождаются в условиях возрастающей нищеты, а весь человеческий род обречен на генетическое вырождение», — вещает господин Хаксли. Он и его коллеги благожелательно взирают на такие чудовищные бедствия, как эпидемии, голод, и даже призывают на помощь тотальную атомно-водородную войну в качестве наиболее «радикального» метода решения проблемы перенаселения!

Современное капиталистическое общество зиждется на антигуманной основе, ибо этому обществу нет никакого дела до судьбы человека, если он, конечно, не находится на верхних ступенях социальной лестницы и сам не является вершителем судеб зависимых от него людей. Поэтому-то марксистско-ленинскому понятию гуманизма идеологи буржуазии вынуждены ныне противопоставлять идеалистические абстрактно-этические, религиозные и прочие концепции, сводящиеся, в конечном счете, к моральному или психологическому «самоусовершенствованию» личности. Но может ли человек под дамочным мечом всегда грозящей безработицы и идущими об руку с ней нищетой и голодом всерьез задаваться целью самоусовершенствования? Трудно представить себе сотни миллионов рабочих, крестьян, людей физического и умственного труда, истощающих свои силы в борьбе за кусок хлеба и занятых в то же время изучением «душеспасительных» рецептов иггов Вивекананды и Рамачараки!

Зловонной отрыжке «духовного» лжегуманизма противостоит здоровый и гармоничный, реальный, как его называл Маркс, гуманизм, ставший

основой отношений между людьми в социалистическом обществе. В сороковых годах XIX века Т. Дезами — представитель французского утопического коммунизма — так определял гуманистическую сущность нового общественного строя: «Существует одна цель, к которой направлены все желания, все действия людей. Этой конечной целью является свободное, нормальное и всестороннее развитие нашего существа...» Но тогда это была только мечта.

Прошло около восьмидесяти лет и вот в 1920 году, то есть в период младенчества первого социалистического государства, В. И. Ленин уверенно заявил, что коммунизм идет и придет «к уничтожению разделения труда между людьми, к воспитанию и подготовке *всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей, которые умеют все делать*».<sup>1</sup>

И на протяжении всех сорока двух лет существования страны Советов партия и правительство последовательно и неуклонно готовили почву для того, чтобы предначертания Маркса и Ленина стали живой жизнью, чтобы гуманизм стал сущностью нового общества, сущностью души каждого советского человека.

Мы не всегда даем себе труд глубоко задумываться над происходящим и осмысливать все явления, большие и малые, из которых образуется жизненный процесс, стремительное становление того нового, которое мы создаем собственными руками. Конечно, мы не любопытствующие свидетели, бросающие с вершины времен ретроспективный взгляд на то, что уже стало достоянием истории, но непосредственные участники великих работ, ворочающие своими руками глыбы, из которых этаж за этажом поднимается сияющее здание счастья.

Но это не значит, что мы не в состоянии увидеть и осмыслить то новое, что несет в себе каждый наступающий день. Радиоволна, телевизор, свежая газета рассказывают нам о достигнутом. Цифры, статистические данные, заметки, написанные суховатым, деловым языком корреспондентов... Раскрываются баснословно богатые тайники недр. Больше угля, больше нефти, больше железной руды. Кипящей розовой рекой днем и ночью мчится плавающая сталь. Рдеет зарево индустриальных гигантов над сибирской тайгой. В строй вступают все новые грандиозные предприятия: электростанции, шахты, металлургические комбинаты, заводы, фабрики... Валовая продукция промышленности в 1958 году выросла по сравнению с 1913 годом в тридцать шесть раз! За эти же годы национальный доход на душу населения увеличился более чем в пятнадцать раз. За последние три года в городах и рабочих поселках построено двести три миллиона квадратных метров жилой площади. В 1958 году выплаты и льготы, полученные населением Советского Союза за счет государства, составили двести пятнадцать миллиардов рублей. К концу 1958 года армия инженеров, занятых в огромном многообразном хозяйстве нашей страны, достигла 894 тысяч против 485 тысяч инженеров, работающих в промышленности США. В Советском Союзе больше медицинских работников, чем в любом государстве мира, и самый низкий в мире уровень смертности...

Я привожу эти общеизвестные данные, почерпнутые из летописи побед и достижений социалистического строя, лишь для того, чтобы помочь некоторым юным скептикам мыслить и чувствовать масштабно, находить и ощущать непреложную связь малого с великим и всегда оставаться бойцами и поэтами коммунизма.

Что может быть выше и гуманнее цели, поставленной нашим народом и так полно раскрытой его мудрым полномочным представителем Никитой Сергеевичем Хрущевым за время пребывания его в США, за те тринадцать дней, которые доподлинно потрясли мир? Цель эта — обеспечить мир во всем мире и навечно освободить человечество от ужаса новых чудовищных войн. Достигнуть ее, конечно, не так просто. Нужна добрая воля и победа человеческого разума. Цель эта может быть осуществлена, если будет при-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 32.

пято предложение о всеобщем и полном разоружении государств. Ведь тогда, как сказано в обращении Верховного Совета СССР к парламентам всех стран мира, «высвободятся огромные материальные и финансовые средства, которые идут сегодня на вооружение... Неисчерпаемые возможности появятся для претворения в жизнь грандиозных научных и технических проектов, ученые и специалисты получат возможность служить только миру и процветанию».

Вдумаемся в эти простые слова! Ведь это же голос надежды всего человечества, надежды, не затихавшей и тогда, когда железные римские легионы своей тяжелой поступью сотрясали землю, когда Атилла и Чингисхан превращали в пустыню вчера еще цветущие государства, когда наполеоновские армии заливали кровью Европу от кастильской сьерры до смоленских лесов, когда гитлеровские полчища пытались поработить всю нашу планету. И разве не радостно, что именно нам, людям нового мира, предназначено историей раздуть слабый огонек надежды в неугасимое очищающее пламя, которое разгонит удушающие туманы опасности и страха? Не в этом ли глубочайший смысл жизни нашего поколения?!

И вот возникает законный вопрос: могли бы мы достигнуть всего того, что уже достигнуто нами, могли бы мы поднять на свои плечи груз благородного долга — вывести человечество на дорогу счастья, если бы не произошли коренные качественные изменения в духовном облике советского человека?

Нам говорят: вы достигли экономического могущества, вы поднялись на чрезвычайно высокую ступень технического прогресса, но нет у вас прогресса, преобразовавшего и поднявшего к нравственным высотам душу каждого из вас! Иными словами, нас хотят убедить в том, что сознание советских людей и нормы их поведения остались прежними и ничем не отличаются от сознания и норм поведения людей, выросших и сформировавшихся в рамках капиталистического строя.

Гениальный физик Альберт Эйнштейн был далек от широкого понимания и приятия марксистско-ленинского учения. Тем не менее около тридцати лет назад, высказывая свои взгляды на существо капитализма, который, по его мнению, неизбежно уродует общественное сознание личности, великий ученый пришел к выводу, что «существует только один путь для уничтожения этих серьезных пороков, а именно — посредством установления социалистической экономики и введения системы образования, которая была бы направлена к достижению общественных целей». При такой экономике, отмечал Эйнштейн, средства производства принадлежат самому обществу и используются планомерно. Таким образом, даже ученым и философам, связанным с верхушкой буржуазного общества, — я говорю о тех из них, кто одарен ясным умом и совестью, тревожащейся за судьбы простых людей, — давно уже стала очевидной мысль о неразрывности материального и нравственного развития человеческого общества.

То, что возникает неизбежно и неизбежно в условиях нового строя, то, что является краеугольным камнем новой коммунистической морали, — гармоническое сочетание личных интересов с интересами общества — вовсе недостижимо при капитализме!

Любой рядовой человек, живущий в капиталистической стране, будь то рабочий, техник, инженер или клерк, все они продают свой труд только для того, чтобы обеспечить себе и своей семье возможность существования. И когда гудит заводской гудок или бьют часы в конторе, когда наступил конец рабочего дня, тогда как бы падает непроницаемый занавес между двумя отрезками жизни человека. Теперь, когда за его спиной закрылась дверь фабрики или конторы, он, этот рабочий или клерк, перестает быть тем, чем он был час тому назад, перестает быть слесарем фордовского завода в Детройте, инженером предприятия «Юнайтед Стейтс стил» либо кассиром «Чейз-Манхэттен банка». Ему попросту наплевать на то, что будет происходить в заводском цехе или конструкторском бюро в его отсутст-

вие. Мыслям и заботам, касающимся труда общественного, нет места в его душе!

Как-то мне пришлось возвращаться с завода «Электроаппарат» вместе с двумя рабочими — Александром Илларионовичем Шкуренковым, бригадиром-расточником и его другом Виктором Николаевичем Акимовым. За плечами этих людей остался напряженный трудовой день. Только недавно их бригаде было присвоено почетное звание коллектива коммунистического труда, и, оправдывая это звание перед всем заводским народом, Шкуренков и Акимов трудились, что называется, не покладая рук.

Некоторое время мы молча шагали по Большому проспекту. Солнце, ласковое и теплое, накатывалось на крышу красного здания больницы имени Ленина. Чуть-чуть покачивались густые кроны ив и кленов, подсвеченные косыми солнечными лучами. По тротуарам медленно двигался людской поток — рабочие и служащие расходились по домам.

— Эх, черт, совсем, братцы, забыл... — воскликнул вдруг Акимов и даже на мгновение остановился. — Сегодня же, Саша, «Зенит» с московскими армейцами играет. Поспеть бы к телевизору!..

Мы заговорили о футболе и о спорте вообще. И Акимов и Шкуренков причисляли себя к армии «злостных болельщиков». Сказать по правде, мне хотелось узнать кое-какие подробности о работе их бригады, но я думал: люди устали, зачем же я буду надоедать им расспросами о работе, которую они закончили всего лишь двадцать минут назад?

Но разговор о футболе как-то совершенно неожиданно перескочил на Володю Королеву — самого молодого члена бригады... (Это произошло по ассоциации — Владимир тоже спортсмен!)

— Он интересное дело замыслил. Ты, Виктор, вдумайся, — говорил Шкуренков, удерживая за рукав идущего чуть впереди Акимова.

— Да ведь я с ним с понедельника в вечернюю выхожу... Вот вместе и покумекаем, — охотно согласился Акимов и подмигнул мне ярким голубым глазом, как бы говоря: «Видишь, какой бригадирище у нас. И после работы покоя от него ждать не приходится».

И потом произошло именно то, чего я хотел. Шкуренков и Акимов, совершенно забыв о моем присутствии, заговорили о делах своей бригады и всего цеха.

— Вы уж нас извините, — вдруг спохватился Александр Илларионович, — за станком и подумать некогда.

Акимов же, вскинув голову и озорно, по-мальчишески присвистнув, сказал:

— Мысль, Саша! На футбол я все равно опаздываю. Пойдем к тебе да и побалакаем на досуге.

Мне думается, что этот маленький эпизод типичен. Он свидетельствует о коренных изменениях в сознании человека труда, происшедших благодаря новым общественным отношениям, рожденным социалистическим строем.

Что такое всенародное соревнование бригад и ударников коммунистического труда, возникшее на рубеже великого семилетия, если не осознанная необходимость по-новому трудиться, по-новому жить? Ведь в обязательствах, принятых на себя теперь уже миллионами советских людей — коммунистов, комсомольцев, беспартийных, людей разного возраста и всех профессий, — труд и жизнь спаиваются в одно целое. Людям, идущим в свое коммунистическое завтра, уже недостаточно овладеть новыми формами труда. Они хотят достигнуть органического соответствия между трудом и всей своей жизнью. Рассказывая о развернувшемся соревновании бригад и ударников коммунистического труда, секретарь Сталинского райкома партии города Хабаровска П. Т. Безуглова особое внимание уделила тому, что соревнующиеся «не только планомерно, из месяца в месяц, повышают экономические показатели, но и меняются сами, быстро растут и в политическом, и в культурном, и в профессиональном отношении. Это подтянутые, вежливые люди, готовые всюду прийти на помощь, показывающие пример в труде и учебе».

Да, эти люди не только, как говорил Ленин, «работают из сознания необходимости работать на общую пользу», не только принимают обязательства выполнить свою семилетку в кратчайший срок — за пять лет или за три года, но и хотят своими поступками быть достойными сынами нашей эры великих свершений.

Душа советского человека! Она раскрылась в годы гражданской войны и первых пятилеток, в годину тягчайших испытаний, выпавших на долю нашего народа во время второй мировой войны. Гордая, бесстрашная, добрая, отзывчивая душа.

Я перелистываю свои записные книжки... Вот несколько разрозненных, наспех сделанных записей.

На заводе «Электрик» рабочий-фрезеровщик Смирнов мечтал об окончании техникума. Но ему мешала двухсменная работа. Его товарищ взялся работать целый год в вечернюю смену, чтобы дать возможность Смирнову окончить техникум. «Ну о чем разговаривать, я помоложе тебя. И от меня мое никуда не уйдет», — сказал он Смирнову.

На завод имени Ильича поступил Виктор Курчавов. Он окончил станко-строительный техникум, и в отделе кадров ему предложили должность техника по сборке станков. Курчавов согласился, пришел в цех, но, обнаружив, что станки — шлифовальные автоматы — ему недостаточно знакомы, решил сперва поработать рядовым слесарем-сборщиком и уж только потом занять место техника.

На «Русском дизеле» есть бригада коммунистического труда Юрия Титова. Бригадир женился, родился ребенок. Титову и его жене стало трудно бывать в театрах и кино. Девушки — члены бригады — решили по очереди ухаживать за ребенком, чтобы освободить бригадиру и его жене «хоть бы один вечерок в неделю».

На тракторном заводе в Челябинске рабочий Валентин Покатаев в результате несчастного случая получил тяжелые ожоги. Двадцать один день боролись врачи за его жизнь. Чтобы спасти Покатаева, пятеро его товарищей по работе дали восемьсот квадратных миллиметров своей кожи для пересадки.

Девушка-москвичка Полина Калядина взяла на воспитание трех детей. Было трудно. Но вот в одной из газет появилась о ней заметка. И потекли подарки. Обувщики Ужгорода прислали обувь. Мебельщики из Чувашии сработали и отправили Калядиной мебель. Кто-то подарил телевизор...

На заводе «Экономайзер» один рабочий обратил внимание на группу молодежи, почти подростков, не знающих, как употребить бьющую через край энергию. Кое-кто из деятелей завода готов уже был признать их «неисправимыми хулиганами» и махнуть на них рукой. А вот рабочий, о котором идет речь, поступил иначе. Он устроил голубятню и немудрящей этой затеей оторвал ребят от улицы, увлек и организовал их. Ну а потом дело пошло на лад, и уже не голубятня стала организующим стимулом для подростков. В данном случае интересно, что рабочий чувствовал свою ответственность за судьбу вовсе ему незнакомых молодых людей.

А вот на Заводе станков-автоматов целая бригада коммунистического труда взяла на поруки хулиганствующего молодого рабочего и сделала из него человека.

Таких фактов десятки и сотни тысяч. Они, как драгоценные зерна новой, коммунистической нравственности, разбросаны по вспаханым полям нашей действительности. И дают они чудесные всходы! Ведь именно с малого — с первых порывов души — начинается становление великого — характеров людей коммунизма: Космодемьянских, Матросовых и Гастелло наших дней.

Так, с почива Валентины Гагановой началось благородное движение — идти к отстающим и помогать им, не считаясь с временным уменьшением своего заработка.

«Из всех наших достижений, — говорил Н. С. Хрущев на сессии Верховного Совета СССР, — самым главным, самым замечательным и самым ра-

достным является небывалый рост политической и трудовой активности, творческого энтузиазма, коммунистической сознательности советского народа, его монолитной сплоченности вокруг Коммунистической партии. В этом мы видим источник всех наших успехов, залог полной победы коммунизма».

Вот и пришла пора не только мечтать об окончательной победе коммунизма, но и вершить ее своими руками. А возможно это лишь тогда, когда душа чиста и богата, когда совесть, не знающая компромиссов и полуправды, зорко следит и контролирует каждый твой шаг.

Я помню, как инженер Николай Иванович Бачурин, коммунист, комсомолец двадцатых годов, обращаясь к своим товарищам из конструкторского бюро «Электроаппарата», решившим вступить в соревнование бригад коммунистического труда, говорил:

— Вы должны твердо уверовать в безграничность своих возможностей... Когда поставленная задача кажется необычайной и очень сложной, вместо удобной, как разношенные туфли, формулы «здесь ничего не сделаешь» должен действовать железный принцип: «каждая задача, которая должна быть разрешена, может быть разрешена».

Тогда молодые люди, выслушав сказанное Бачуриным, переглянулись, выражение их лиц стало напряженным и строгим. Они помолчали минуту, как бы мысленно спрашивая себя — по силам ли им такая задача? — и потом подписали обязательство.

Эта вера в безграничность своих возможностей, свойственная каждому советскому человеку, — одно из самых замечательных и неоспоримых завоеваний социалистического строя. А вытекает она из сознания слитности интересов всего общества, гигантского коллектива людей, имя которому — советский народ.

Один из персонажей, созданных пером известного зарубежного писателя (я говорю о Равике — герое романа Ремарка «Триумфальная арка»), рассуждает следующим образом: «К чему пытаться что-либо строить, если вскоре все неминуемо рухнет? Уж лучше плыть по течению, не растрачивая силы, ведь они — единственное, что невозможно восстановить! Продержаться до тех пор, пока снова не появится цель. И чем меньше потратишь сил, тем лучше, — пусть они останутся про запас. В век, когда все рушится, вновь и вновь, с муравьиным упорством строить солидную жизнь? Он знал, сколько людей терпело крах на этом пути. Это было трогательно, героично, смешно и... бесполезно. Только подрывало силы. Невозможно удержать лавину, когда она катится с гор. И всякий, кто попытается это сделать, будет застигнут ею».

Мораль этого рассуждения проста.

Один, даже самый мужественный и сильный, бессилен перед лавиной событий. Он не может ни задержать ее стремительного падения, ни изменить направления. И это только потому, что человек, не подкрепленный волей и надеждой других, не в состоянии делать события и влиять на их ход. Такова судьба отдельной личности при капитализме.

Но когда один соединяет свои надежды, желания и волю к их осуществлению с надеждой, желанием и волей миллионов, его возможности становятся поистине безграничны. Доказательство тому — вся история и сегодняшний день нашего социалистического государства.

# Литературная Критика

В. Каминский

## ЧЕХОВ И КОРОЛЕНКО

Давно опровергнута легенда о Чехове как о беззаботном юмористе «Стрекозы» и «Будильника», который затем стал аполитичным, не имеющим убеждений скептиком, певцом сумеречных настроений и буднично серых, пошлых людей. Еще в 1890 году, в ответ на обвинения либеральной «Русской мысли», Чехов возмущенно бросил в лицо ее редактору В. Лаврову: «Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был». Современники Чехова Короленко и Горький высоко оценили оздоровляющую силу чеховского смеха, беспощадный и глубокий чеховский суд над своим временем, светлую печаль по растоптанной, попранной, униженной красоте и чистую, порывистую веру в будущее своей родины.

В наши дни всемирного признания человечной и прекрасной силы чеховского таланта эта легенда обрела благопристойные формы юбилейного славословия. Черты рафинированного и холодного эстетизма, изощренности «интеллекта», будто бы противостоящего плебейской элементарности «тенденциозных» писателей, или даже некий «аристократизм» духа, высоко парящего над общественными бурями и тревожностями, навязываются ныне облику Чехова-художника потомками тех литературных мещан, которые некогда предрекали ему пьяную смерть под забором.

Да, Чехов не часто вступал в открытый литературный спор, как художник он чуждался обнаженной публицистической тенденциозности, как человек — презирал лакейскую развязность псевдонародного типа рубахи-парня. Но ведь тем-то нам и дорога тонкая нравственная красота, возвышенная грация чеховской души, взволнованно и

глубоко отразившаяся в его произведениях, что сквозь «интеллигентность» человека большой культуры и благородства проступает всегда характерная складка, «напоминавшая простодушного деревенского парня». Таким Чехова видели любившие его талант и человеческое обаяние современники. Таким запечатлел Чехова и его друг и собрат по перу — Владимир Галактионович Короленко. В простоте и непосредственности цельной демократической натуры писателя мы узнаем и сейчас черты, делающие Чехова-художника так удивительно близким нам великим народным писателем.

Порой в нашей критике раздаются голоса, как бы абсолютизирующие оторванность Чехова от политической борьбы его времени.

Однако сознательно противопоставляя свои творческие искания устаревшим догмам народничества и юридической проповеди толстовства, Чехов уже в начале своего творческого пути тосковал по героическому, горячо стремился к высокому гражданскому служению, всегда тяготел к людям подвига. Чеховская статья-некролог о знаменитом путешественнике Пржевальском (1888) утверждает народную оценку жизни героев, «олицетворяющих высшую нравственную силу». С презрением говоря о своих омещавшихся и бездействующих современниках, Чехов подчеркивал, что в это унылое время «подвижники нужны, как солнце». «Их личности, — утверждал писатель, — это живые документы, указывающие обществу, что, кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни

и лгущих ради куска хлеба, что, кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, люди дядьки, веры и ясно осознанной цели».

С одним из таких людей — выдающимся русским писателем В. Г. Короленко — связывали Чехова дружба и глубокий взаимный интерес. Как общественный деятель и гуманист Короленко сыграл в биографии Чехова заметную роль.

Сближение между ними произошло во второй половине восьмидесятых годов, когда оба молодых писателя переживали идейный кризис, неудовлетворенность своим творчеством. Неисчерпаемо веселый, остроумный Антоша Чехонте, в эти годы уже пытливо вглядывавшийся в жизнь, видел в тридцатитрехлетнем своем собрате по перу, только что вернувшемся из далекой якутской ссылки, человека не только большого таланта, но и выдающегося гражданского мужества, нравственной стойкости, большого общественного темперамента. «Иди не только рядом, но даже за этим парнем, весело», — признается Чехов в письме к А. Н. Плещееву. Ощущение поворота в своем творчестве, предстоящего перехода к «серьезной работе» сопровождается у Чехова горьким сознанием неизбежного охлаждения читающей публики, которая «ухаживает за литературными болонками только потому, что не умеет замечать слов». Причисляя к литературным «слонам» Короленко, молодой Чехов стремится стать «рядом» с ним, выznать тайну всемогущего слова «вперед!», которая, как ему кажется в эти годы, трудным путем исканий и самоотверженной борьбы далась, наконец, автору «Соколинца». Влечение и интерес молодого Чехова к Короленко близко напоминает чеховское отношение конца девяностых и начала девяностых годов к буревестнику русской революции — М. Горькому. Это прежде всего интерес и любовь к человеку со славы революционной биографией, дерзко бросившему вызов царизму и мужественно пытавшемуся своим творчеством «рассеять кошмарное молчание общества».

Знакомство писателей произошло в 1887 году в Москве, в доме Чеховых по Садовой-Кудринской (где сейчас находится Дом-музей А. П. Чехова), куда Короленко заехал по дороге в Петербург с постоянного места своей нижегородской ссылки. Чехов при первом же свидании показался ему «молодым дубком», в котором уже угадывалась «крепость и цельная красота будущего могучего роста». Спустя некоторое время они увиделись в Петербурге, в редакции журнала «Осколки», а затем Чехов приехал навестить Короленко в Нижний Новгород и «очаровал всех, кто его в это время видел». С тех пор никогда уже не порывались

узы дружбы, связывающие двух писателей-демократов.

В первом же сохранившемся письме к Короленко (от 17 октября 1887 года) Чехов с присущей ему скромностью говорит о близости их убеждений: «Я глубоко ценю и люблю Ваш талант, он дорог для меня по многим причинам... Из всех новых благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный... Вы же серьезны, крепки и верны. Разница между нами, как видите, большая, но тем не менее, читая Вас и теперь познакомившись с Вами, я думаю, что мы друг другу не чужды».

Творческая близость и дружба между писателями особенно углубилась в 1888 году.

В эти годы определились эстетические воззрения Короленко. В своем дневнике он обосновывает ведущие черты реалистического искусства в эпоху «пессимизма, разложения характеров и отчаяния». Писатель видит свое призвание в возбуждении в обществе «бодроты, веры, призыва к деятельному отношению к жизни». «Изобразить это (то есть неприглядную действительность, — В. К.), — пишет Короленко, — нужно, но это должно быть не стихийное отражение, а проповедь, поучение, отрицание. Если вы дадите это отражение в перспективе верной, широкой, правдивой, — значит вы уже тем самым отрицаете его. Вы покажете свет, наряду с тенью, и уже это сходство отнимет у тени ее мрак и угнетающую душу характер». Художественные взгляды Короленко и преломление их в его художественной практике находят в тесной связи с активной общественной позицией писателя. Здесь многое было близко Чехову, неоднократно утверждавшему, что, правильно поставив вопрос, художник уже много сделал для его решения. Трагически прекрасный чеховский образ степи — родины, иссыхающей от палящего зноя безжалостно жестокой и пошлой жизни и требующей «певца, певца!», — овеян раздумьями и ощущением богатырской мощи ее просторов, «несметных богатств души» и неиссякаемых творческих сил, глухо бродящих в великом народе: «Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья-Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони... И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!»

Возникающие в чеховских произведениях восьмидесятых годов образы «озорников» и бунтарей — Осипа, Мерика, Дымова и Соломона — при всей искалеченности их духовного строя несут в себе глу-

хой протест и ненависть к серой, тусклой жизни и к жалким, ничтожным людям, рабам наживы. Образы эти близки к типам «искателей», бродяг и бунтарей Короленко с их суровой и страстной поэзией «вольной волюшки».

Взгляды Короленко о необходимости личного активного вмешательства в жизнь, необходимости бороться и разоблачать язвы существующего строя, сам облик писателя-бунтаря произвели неизгладимое впечатление на Чехова, в эти годы задумавшего свое знаменитое сахалинское путешествие. Ни от кого другого из своих друзей и знакомых Чехов не мог почерпнуть таких непосредственных, свежих и ярких впечатлений и сведений о сибирской ссылке и каторге.

Еще накануне путешествия на Сахалин, изменив своей обычной сдержанности, Чехов гневно обличал российские порядки и страстно утверждал общественную важность своей поездки, которая должна раскрыть глаза обществу:

«Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски, мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей».

Сахалинское путешествие Чехова, уже в те годы тяжело, мучительно больного, было большим гражданским подвигом писателя, оставившим глубокий след в его зрелом творчестве.

Общение Чехова и Короленко становилось особенно тесным в моменты решительных общественных выступлений писателей. Так, возмущаясь гнусной подоплекой дела Дрейфуса, Чехов вспоминал о публичной защите Короленко мултанских крестьян-удмуртов, спасенных писателем от судебной расправы. В дни, когда по указанию последнего Романова было отменено состоявшееся в 1901 году избрание А. М. Горького почетным академиком, Короленко

выехал в Ялту к больному Чехову, чтобы договориться с ним о совместных действиях. Письмо Короленко с протестом против жандармского приговора правителей России было напечатано 1 июня 1902 года в ленинской «Искре». Спустя несколько недель Чехов и Короленко публично сложили с себя звание почетного академика в знак своего возмущения полицейской расправой над великим пролетарским писателем, учиненной в стенах императорской Академии наук.

За долгие годы общения и дружбы между писателями возникали и разногласия, кое-что в общественно-литературной позиции их разделяло. Короленко стремился увлечь Чехова на путь открытой общественной борьбы; в восьмидесятые годы он сдержанно относился к знакомству Чехова с Суворинным. В свою очередь близость Короленко к народническим кругам «Северного вестника», а затем «Русского богатства» воспринималась Чеховым как «односторонность». Чехов имел все основания не верить в утопические народнические пути развития России. Но оба писателя были едины в своих убеждениях и творчестве, когда речь шла о служении родине, демократическим и гуманным гражданским идеалам, оба верили в свой великий народ и в канун первой русской революции обращали свои взоры вперед.

Вспоминая о Чехове, Короленко прямо обвинил гнусную российскую действительность, медленно, но неуклонно подтачивавшую силы и в конце концов убившую великого писателя. Чехов и сам это понимал, и его мечты о прекрасном будущем своей великой обновляющейся родины порой окрашивались меланхолическим сознанием того, что он уже не увидит ее богатырского взлета. Но и в самых грустных интонациях чеховского писательского голоса Короленко и Горький, вступая в спор со многими менее чуткими современниками, явственно слышались «стремление к лучшему, и веру в него, и надежду».

## ЧЕХОВ ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗОВ

Знакомство с творчеством Чехова во Франции началось еще при жизни великого писателя. В 1902 году Мелькиор де Вогюз, автор шумевшей книги о русском романе, выступил со статьей о Чехове; тогда же была издана первая во Франции книга избранных чеховских рассказов. Однако это знакомство было поверхностным: критика воспринимала Чехова как «писателя школы Мопассана», и на фоне громадной популярности Толстого и Достоевского Чехов не получил во Франции такой известности, какой он пользовался в эти годы в Англии.

После первой мировой войны французы «открывают» чеховскую драму. Деятельность известного актера и режиссера Жоржа Питоева, поставившего в 1919 году «Дядю Ваню», и особенно триумфальные гастроли МХАТ в 1922 году дали возможность ощутить новаторство чеховского театра, столь чуждого сценическому штампу и риторике. В двадцатые и тридцатые годы во Франции издается полное собрание сочинений Чехова, появляются первые книги о его жизни и творчестве.

И все же не случайно, видимо, едва ли не каждая статья французских критиков о Чехове — а таких статей и работ в последние годы появилось множество — начинается с замечания о том, что до последних лет творчество автора «Чайки» и «Палаты № 6» знали во Франции мало, понимали ограниченно и неполно. Правда, в немногочисленных работах, опубликованных в двадцатые годы, высказывались и отдельные пронизательные суждения о месте и значении чеховского творчества в развитии русской литературы. Но в целом творчество Чехова характеризовалось как выражение глубокого пессимизма, подогнанное под привычные каноны декадентской литературы «конца века» или истолковывалось в духе воплощения пресловутой «загадочной славянской души». Ощущая острое художественное своеобразие чеховской прозы и драматургии, большинство критиков не шли дальше чисто внешнего, формалистического, эстетского описания чеховских «приемов».

Такую традиционную точку зрения буржуазной критики воспроизвел, например, Серж Михельсон в своей книге «Великие русские прозаики» (1946). В очерке, посвященном Чехову, создается версия об абсолютном пессимисте, вечном певце страдания. «Философии отчаяния, — пишет Ми-

хельсон, — вот, в сущности, чему учит нас Чехов...» Вполне закономерно, что Михельсон опирается в такой интерпретации чеховского творчества на «авторитет» реакционера и мистика белоэмигранта Льва Шестова, а в заключение объявляет великого гуманиста Чехова чуть ли не прямым предшественником... декадента Альбера Камю с его «Мифом о Сизифе».

О подобного рода «откровениях» не стоило бы и вспоминать, если бы они не были характерны для имеющей международное хождение старой легенды о Чехове как о поэте усталых, отчаявшихся душ, певце тщетных усилий и несбывшихся надежд, творце бессильных и пассивных героев. Именно против этой «концепции», давно разрушенной и разоблаченной советской наукой, направлен пафос интересных выступлений современной передовой французской критики.

Можно без преувеличения сказать, что со времени подготовки к чеховской годовщине 1954 года, широко отмечавшейся международной общественностью по призыву Всемирного Совета Мира, Чехов стал одним из популярнейших во Франции иностранных писателей.

Чеховская годовщина отмечалась передовой французской общественностью как важная веха на пути укрепления дружбы и культурного сотрудничества с Советским Союзом. Знаменательно, что Политбюро ЦК Французской компартии выступило на XIII съезде партии (июнь 1954 года) со специальным сообщением о чеховской годовщине, в котором говорилось: «Интересы французо-советской дружбы требуют, чтобы мы отметили юбилей Чехова так же, как в Советском Союзе был отмечен юбилей Виктора Гюго».

Богатый по содержанию чеховский номер «Эроп» (1954, № 104—105) открывался статьей известного писателя Веркора. «Я не знаю, — писал Веркор, — есть ли сегодня хоть один французский писатель, который мог бы утверждать, что он не испытал — прямо или косвенно — влияние Чехова».

«Чехов — мнимый пессимист» — так озаглавлена интересная статья Мишеля Кадо. Полемизируя с декадентской интерпретацией Чехова, Кадо пишет о свойственной писателю вере в жизнь, любви к родной стране, вере в прогресс и человечество. «...Чехов несколько не верит в очистительную силу страдания и нищеты: он любит жизнь и глубоко ненавидит все, что ее измельчает и уродует».

Именно с этим гуманистическим мироощущением связывает автор эстетический идеал Чехова, сказавшего устами Астрова, что в человеке все должно быть прекрасно...

«Что же, Чехов — оптимист?» — спрашивает Кадо. И отвечает: «Да, но его оптимизм — оптимизм здоровый, основанный на сознании трудностей, которые надо преодолеть, и на непоколебимой вере в плодотворность труда, даже если плодами этого труда будут пользоваться лишь будущие поколения».

В статье «Божественный Чехов» (журнал «Пансе», 1957, № 74) Марсель Корню также обращается к полемике с декадентской легендой о Чехове. «Вся буржуазная критика, — пишет он, — так жадно набросилась на то, что она назвала пессимизмом, разочарованностью Чехова, и с таким ликованием стала им размахивать как флагом победы, что совершенно извратила подлинный характер чеховского нравственного беспокойства, бесстыдно устранив все, что означает у Чехова надежду и усилия». Проанализировав, в частности, «Палату № 6», критик заключает: «Таким образом, эта великая новелла вовсе не содержит того «холодного разочарования», о котором не перестают твердить многие французские критики, пишущие о Чехове».

В своих статьях передовые французские критики, как правило, избегают опасности сгладить противоречия писателя, отмечают сложность, мучительность его идейных исканий, не скрывают его тяжелых сомнений, его тоски по ясной цели и вместе с тем убедительно показывают нравственную активность Чехова, высокое чувство моральной и гражданской ответственности, руководившее его жизнью и работой художника, врача, человека.

С большим интересом обсуждает передовая французская критика вопросы своеобразия чеховского искусства, стремится соотнести их со злободневными вопросами, волнующими сегодня художников слова.

В чем состоит прелесть Чехова? — спрашивает М. Корню. И критик говорит о том, как трудно «ухватить» тайну чеховского обаяния, секрет его потрясающей простоты и безыскусственности. Он показывает, как самый тонкий психологический анализ у Чехова подается таким образом, что читатель и не замечает — настолько естественно, просто, безыскусственно течет повествование: Чехов умеет говорить о самой сути вещей обычными, повседневными словами. Критик обращается к противопоставлению Чехова и Мопассана, показывая глубокое, коренное различие двух великих мастеров рассказа. Его часто называли «русским Мопассаном». Правильнее было бы назвать его «русским контр-Мопассаном», ибо рассказ Чехова, как правило, не строится на анекдоте, на необычном событии; мельчайшего факта ему достаточно, чтобы вызвать в представлении читателя целую судьбу, раскрыть внутренний мир человека и его социальное бытие. Отсюда характерный для Чехова контраст

между внешней незначительностью эпизода и огромной значительностью темы его рассказов.

Характерно, что прогрессивная французская критика, детально и проникательно исследуя художественную манеру Чехова, настойчиво подчеркивает единство чеховской эстетики и этики. «В его литературном гении, — говорит М. Корню, — слиты нравственное чувство и искусство. Поэтому в его искусстве нет искусственности. Его искусство имеет душу». Об этом же пишет в статье «Необходимость Чехова» критик Пьер де Лекюр («Летр франсез», 1 января 1959 года): «Нам нужен Чехов-человек и Чехов-художник. Для него это составляло одно и то же». Пьер де Лекюр сочувственно рецензирует появившуюся недавно книгу Розы Селли «Искусство Чехова». В этой книге много спорно: совершенно ошибочно, например, сопоставление чеховского новаторства с интуитивистской манерой Марселя Пруста. Розе Селли не хватает четкого понимания места чеховского гуманизма в идеологической борьбе в России. Исследуя чеховское искусство, она отрывает его от традиции русского критического реализма, несколько импрессионистически решает свою задачу. Жаль, что Пьер де Лекюр прошел мимо недостатков книги Селли.

В другой статье — «Чехов среди нас» («Летр франсез», 1958, № 710) — Пьер де Лекюр, отметив громадный рост популярности Чехова в сегодняшней Франции, говорит об уроках Чехова — уроках гуманизма, веры в будущее, чувства личной ответственности за сегодняшний и завтрашний день. «Вот в чем актуальность Чехова у нас. Читая его, мы воссоединяемся с людьми». И далее критик говорит о том, что в свете чеховского гуманизма сегодняшний француз может определить и свое отношение к окружающей его социальной несправедливости, в том числе к войне, ведущейся в Алжире.

Заново открывая французскому читателю подлинного Чехова, передовая критика смотрит на его творчество с точки зрения исторических перемен, происшедших в судьбах русского народа, чьим сыном был великий писатель. В статье «Чехов-рассказчик» («Летр франсез», 1956, № 617) Жан-Жак Бернар пишет, что если Чехов принадлежит всему человечеству, то это потому, что он был плоть от плоти своего народа. «Чтобы дерево давало плоды, доступные всем, оно должно уходить своими корнями глубоко в почву», — метко замечает критик.

«Мир произведений Чехова предсказывает будущий мир, — писал критик-коммунист Андре Вюрмсер. — Нельзя любить и понимать А. П. Чехова, не понимая, что Россия, им описанная, что русские, несчастья которых он показал в своих произведениях, должны были превратиться в эту новую страну, в этих новых людей, которых мы видим сейчас. И мы должны быть еще больше признательны великому писателю России за то, что он всем своим гением помогает нам лучше понимать историю» («Правда», 15 июля 1944 года).

# Литературный дневник

Елена Серебровская

## ЗА ЯСНОСТЬ ПОЗИЦИИ

«В практике отношений между государствами с различным социальным строем в наше время встречается и будет встречаться немало вопросов, по которым необходимо идти навстречу друг другу, добиваться соглашения на взаимоприемлемой основе, чтобы не допускать возникновения напряженности, использовать все, даже малейшие возможности для предотвращения новой войны».

Но нельзя смешивать взаимные уступки в интересах мирного сосуществования государств с уступками в принципах, в том, что касается самой природы нашего социалистического строя, нашей идеологии. Здесь ни о каких уступках и каком-либо приспособлении не может быть и речи. Если будут уступки в принципах, в вопросах идеологии, то это будет означать сползание на позиции наших противников».

Эти слова были сказаны не так давно. Человек, произнесший их, был на это уполномочен народом. Он сформулировал то, что живет в сознании и в сердце такого большого числа советских людей, что точный подсчет их дал бы миллионные цифры.

Является ли литература идеологией, частью идеологии? Поднятый мной вопрос можно было бы и не ставить, так как он давно решен и ответ на него тоже выражает убеждение миллионов советских людей. Литература — это специфическая форма идеологии, она воспитывает, влияет на умы, формирует характеры и мировоззрение. Но, как ни странно, это и сейчас еще ясно даже у нас не всем.

Явления культуры можно понять лишь тогда, когда рассматриваешь их исторически. Капитализм возник как прогрессивное явление, как новый строй, пришедший на смену отжившему феодальному. На заре его возникновения мало кто предвидел все мерзости, которые этот строй принесет, победив и закрепившись. Разве не были жизнеутверждающими произведения

Рабле, Бомарше? Разве не оставила так называемая эпоха Возрождения славных своих памятников в виде пульсирующего мрамора Микельанджело, «возмутительно» живых полотен Рембрандта, Рубенса? И разве буржуазные революции не были поддержаны в свое время массами трудового народа, умиравшего на баррикадах, громившего феодалов на их жирных, привольно раскинувшихся землях?

Трофеи буржуазных революций победивший капитализм делил огнюю не поровну: материальные богатства и власть взяли буржуа, трудящиеся получили свободу от феодальных уз, от крепостной зависимости, ставшую тотчас же свободой дешево продавать свои рабочие руки новым богачам. Люди труда не мирились с тяжелыми условиями своей жизни, и капитализм вынужден был по мере возможности маскировать свою сущность, изображать себя строем, желанным для всего народа, играть в демократизм, а иногда по мелочам идти на уступки, — конечно, под давлением трудовых масс. Так он делал прежде, так делает и сейчас, придумывая различные теории «народного капитализма» и «экономического гуманизма», внушая рабочим, что, купив сто долларовую акцию предприятия, где они работают, и приобретя в кредит дом и автомобиль, они становятся равными владельцу предприятия — миллиардеру.

Идеологические потребности капитализма обслуживает буржуазная интеллигенция, в том числе и писатели. Все ли духовные слуги капитализма сознают и понимают его антигуманную, эксплуататорскую сущность, унижающую человека власть денег, — то, что всесторонне исследовано и разоблачено в «Капитале» Маркса? Нет, не все. Открыто обманывают народ только циники, которых — допускаю — не так уж много среди буржуазных писателей. Будем считать, что большинство верит в то, что они проповедают в своих книгах. Но субъективные намерения и

объективная их сущность — не одно и то же. Дорога в ад вымощена, как известно, благими намерениями. И дело, которое делают глубоко убежденные, искренние, апологеты капитализма, не становится в силу их искренности менее реакционным. Другой вопрос, что, споря с ними, мы не должны оскорблять их человеческое достоинство.

Достойный пример того, как надо разговаривать с явным идеологическим противником, дал нам Н. С. Хрущев во время поездки в Америку. Ни в одном споре он не отступил ни на йоту от принципиальной позиции, но говорил с оппонентом, признавая за ним право на его убеждения. Он спорил, доказывая, оперируя фактами, логикой, самой жизнью в ее поступательном развитии. Если вступаешь в спор, значит предполагаешь в противнике способность понять тебя, то есть уважаешь своего противника в той степени, которая необходима для разрешения конфликта, противоречия с помощью слова, мысли.

Сущность капитализма, с нашей точки зрения, античеловечна. Но если бы какой-нибудь писатель или художник открыто провозгласил художественными средствами хвалу античеловечности буржуазного строя, — много ли нашел бы он восторженных почитателей? Буржуа не могли бы радоваться тому, что их демаскируют. Такого рода писатели и теоретики были, но было их очень немного. А те, что были, маскировали свою пропаганду воинствующего, звериного индивидуализма видимостью защиты высшей свободы индивидуума.

И однако — «жить в обществе и быть свободным от общества невозможно» (Ленин). Говорят, ложь противна природе искусства. Ну а если художник искренне убежден, что говорит правду, доказывая преимущественно буржуазного строя? И кто он сам, как не сын своего века, своего времени? Однако, наш век имеет одновременно и сыновей-революционеров и защитников капитализма. Одни тяготеют к прошлому, другие — к будущему. Правда за последними.

В номере от 5 ноября 1959 года «Литературная газета» опубликовала статью И. Эренбурга «В предвидении весны», основная задача которой, судя по ее содержанию, заключалась в стремлении найти пункты, сближающие нашу литературу с литературой буржуазного Запада. Вообще говоря, ничего предосудительного в этом нет. Последняя далеко не однородна, в ее орбите немало прогрессивных писателей, даровитых художников, в произведениях которых выступают черты реальной жизни с ее противоречиями и конфликтами. Однако, констатируя рост культурных связей между странами, автор статьи попытался привести читателя к совершенно неожиданному выводу. Он писал: «...мое глубокое убеждение: буржуазного искусства не только нет, его никогда не было». Из его рассуждений об абстрактной живописи следовало, что буржуазная идеология, заключенная в буржуазном

искусстве, нам не опасна. Абстрактное искусство «нельзя... причислить к «тройскому коню» капитализма», так как «можно заразиться корью, тифом, но «нет бактерий старческого амазма». Если логически продолжить эту мысль, то можно заключить, что, живя в буржуазном обществе, писатели и художники свободны от его влияния и его требований, во всяком случае, талантливые писатели и художники. А вывод из этих рассуждений прост: коль скоро противника в этой области у нас нет, к чему же наступательность, вооруженность в идеологии?

Илья Эренбург известен миру как писатель — поэт, прозаик, публицист, как один из организаторов движения сторонников мира, светлого и благородного движения человечества. Публицистические статьи Эренбурга собирают огромную читательскую аудиторию — в силу своеобразного таланта автора, в силу его богатой эрудиции, широкого культурного кругозора, которым обладает далеко не каждый публицист.

Как литературный теоретик Эренбург выступает реже, и здесь успех его заметно меньше. А нередко бывает и так, что в литературно-теоретических рассуждениях писателя встречаешь парадоксы, ошибочные утверждения, бездоказательные гипотезы.

Оригинальность суждений подчас доходит здесь до субъективизма, который не имеет ничего общего с наукой, — а ведь эпоха наша уже завоевала советскому читателю право — искать в рассуждениях писателя серьезную основу научного мировоззрения, доказательность и, во всяком случае, логику. Деловому критическому разбору в нашей печати с полным основанием подвергались статьи И. Эренбурга о М. Цветаевой, о Бабеле, Стендале, Чехове. Некоторые ошибочные положения этих статей не могли не нанести вред тем молодым незрелым умам, которым оригинальность и даже парадоксальность выражения мысли мешают увидеть ее ошибочную суть.

Ликвидация холодной войны ведет к усилению культурных связей. В нашей стране переводилось и переводится больше произведений зарубежных, и среди них американских писателей, чем, например, в США переводилось советских. Конечно, у нас не издавались и не будут издаваться те книги, с помощью которых капитализм тщится скрыть свой преклонный возраст. У нас не будут издаваться книги реакционного толка или серии комиксов. Но ведь нет такой буржуазной страны, где не было бы прогрессивных писателей, пусть даже лишенных представлений о будущем и о путях к нему. Общаясь друг с другом, народы обмениваются лучшим, что имеют, и критерием лучшего служит гуманизм в широком смысле слова, стремление к прогрессу, непримиримое отношение к войне.

Когда капитализм был молод и многообещающ, он притягивал к себе все даровитое, полное творческой энергии. Талант-

ливые писатели вдохновенно служили его восхождению, убежденные в том, что служат народу или даже всему человечеству. Пролетариат только что складывался как класс, и пролетарское движение еще не успело выделиться из своей среды художников — глашатаев нового. Но времена переменялись. Злобный старый паралитик уже не вдохновляет на творчество, хотя именно сейчас он может хорошо оплатить любую неправду. Вот почему сейчас трудно или даже невозможно встретить большой художественный талант, посвятивший себя откровенному служению буржуазной идеологии. В буржуазных странах немало талантливых писателей, и круг интересующих их тем чрезвычайно обширен. Но бесполезно искать среди талантливых писателей открытых апологетов империализма и эксплуатации человека человеком. Такие идеи популярности не приносят, да и разочаровались в них давно честные буржуазные интеллигенты. Жизнь не стоит на месте, человек меняется под воздействием происходящих вокруг него событий, растет, и иногда к старости горько отбрасывает то, что принимал за истину в годы изгоммысленной молодости.

Жизнь сложна — эту не новую мысль приходится повторять часто. Буржуазный художник может вести себя по-разному. Он может честно изображать то, что видит вокруг, изображать социальные контрасты и не видеть сил, способных изменить мир. Для хозяина его, капитализма, доживающего свой век, еще приятнее, если художник-живописец уйдет либо в зализанную рекламную бытовщину, либо в то, что является ее оборотной стороной — в декоративную абстракцию. Абстрактная живопись провозглашает отсутствие идей, и это вполне устраивает того, кто создал для нее почву, — капиталистический мир. Что может она передать? Настроение. Ощущение. Сугубо субъективное состояние, которое, разумеется, может переключнуться с подобным же состоянием одного из зрителей, и картина покажется ему шедевром. Во всех случаях это — настроение, состояние «человека вообще», эскизы снов или тех пестрых мельканий, которые возникают, когда наблюдаешь яркий свет сквозь плотно закрытые веки. Здесь нет места идеям, мыслям, нормальному человеческому чувству.

Отвлечемся на минуту от вопросов эстетики и обратимся за помощью к биологии. Известно, что всякого рода деятельность и переживания человека связаны с работой головного мозга, его коры и подкорки. Кора головного мозга — вместительное всякого рода «самоуправления» человеческого организма, — сюда относится павловская так называемая вторая сигнальная система, от коры зависит мыслительная деятельность и все то, что ставит человека над миром животных. В подкорке же происходят процессы, по своему происхождению близкие к нервной деятельности организма животных, то есть как бы не контро-

лируемые сознанием, относящиеся к области инстинктов.

Художественное творчество — такая сфера человеческой деятельности, в которой участвует весь человеческий мозг. Вне чувств и вне мысли искусства нет. Лишь произведение искусства эмоциональности — и от него останется только одна отвлеченная теоретическая идея. Лишь его мысли — и оно потеряет оправдание своего существования. Недаром же абстрактные картины может писать и обезьяна и осел, к хвосту которого привязана кисть.

Художник, приверженный абстрактному искусству, воинствующе беспартиен, он претендует на сверхчеловеки. Он противопоставляет свое исключительное «художническое» мировосприятие мнению массы. В головном мозгу человека он признает лишь то, что биологи называют подкоркой, а коры стыдится, оставляя ее на долю фотографов. Он оправдывает себя возникновением фотографии, он — добровольная жертва ее наступления, утешая себя тем, что субъективные фантазии и бредовые сны никто никогда не сфотографирует, и тут поле деятельности именно для него.

А публика? Посчитаем ее арбитром, нашу советскую публику. Как отзывается публика на то и другое, на абстрактное искусство и на фотографию?

Невольно приходит на память довольно простой пример из недавнего прошлого. На американской выставке в Сокольниках была галерея живописи и скульптуры — и фотовыставка. Среди произведений искусства изобиловали полотна и скульптуры супермодернистского толка. Образцово-показательный американский домик украшало также «полотно», — красивая рама открывала глазу произвольные геометрические фигуры и штрихи зеленых и серых тонов. Мы понимали, что далеко не каждый американец захочет повесить у себя именно это, но мы имели дело с образцом, с предлагаемым эталоном, каким являлись в этом домике и мебель и предметы домашнего обихода.

Посетители выставки реагировали на такие произведения иронически. Иные тщетно допытывались у гидов, что же хочет передать художник-абстракционист. Американским гитам на этом участке приходилось туго. А фотовыставку «Род человеческий» осматривали внимательно и с уважением, несмотря на то, что многие идеи ее были для нас неприемлемы. Потому что выставленное здесь было обращено не только к чувству, но и к разуму человека. И если тот или иной фотограф выбором сюжета и своим отношением к нему доказывал нам идею, с нашей точки зрения неверную, — он все же утверждал свое, оставаясь человеком и выражая свою веру средствами, которые доступны подавляющему большинству людей. С ним можно было спорить, как можно спорить против всякой ошибочной точки зрения, изложенной понятным человеческим языком. А попробуйте на минуту представить

себе спор между абстракционистами! Да еще спор, ведущийся художественными средствами. Они не могут спорить между собой, так как ничего не доказывают. Картины их — свидетельство столь субъективного индивидуалистического взвизга, что искать в них мысли бесполезно.

Искусство социализма оптимистично. Природа дала человеку сложный, богатый организм, источник радости — радости труда, творчества, борьбы за лучшее для всех, радости любви. Человеческий мозг — верховная сила в этом маленьком оркестре. И только тогда, когда художник не понимает происходящего вокруг, не видит перспективы, не воюет за светлое против тьмы и всяческого зла, — тогда в его образах вы ощутите безразличие к этой верховной власти отдельного человека — к его уму, к способности мыслить. Иногда за этим следует попытка передать доминанту другим участкам, уйти в область глухих ощущений, неосознанных темных предчувствий, животных инстинктов. Не это ли угрожает одному из талантливых художников Запада — Ремарку с его культом последней радости человека — любовных наслаждений и одурманивающего алкоголя?

Буржуазная действительность травмирует художника, давит на него каменным грузом множественности и длительности своих проявлений, лишает веры в человека. Вот почему среди больших художников Запада так нередки люди, правдиво рисующие растленность общества, жизнь в ее противоречиях и в то же время лишенные веры в разумный исход, в доброе, светлое будущее. А на молодую неокрепшую голову даже книги прогрессивного писателя Ремарка оказывают подчас нездоровое влияние. Особенно тогда, когда не созревший еще духовно читатель, имея перед собой впечатляющий литературный образ, не в силах хладнокровно отделить мысленным анатомическим ножом злокачественную опухоль от здоровой ткани. Ведь образ героя в книге един, доброе и дурное в нем перемешано. А молодость впечатлительна.

Попробуем подытожить. Нашим идеологическим противником в искусстве является тот, кто открыто провозглашает реакционные идеи, клеветает на революцию и на коммунистический идеал. Но известный идеологический вред могут принести и те объективно ложные, вредные с точки зрения марксизма идеи, которые можно встретить в отдельных произведениях прогрессивного плана.

Мне кажется наивным данное И. Эренбургом объяснение происхождения беспредметного искусства как результата неспособности устоять перед образцами «его предшественников» — Сезанна, Пикассо, Ван-Гога и других. Не устояли перед мастерами — и бросились в состояние старческого маразма, как называет абстракционизм сам И. Эренбург в другом месте статьи. И так ли уж беспредметны Сезанн, Ван-Гог и другие? У художников этой школы уже сказались субъективист-

ские устремления, но многое в их картинах все еще жизненно, живо. Полотна Ван-Гога вещественно конкретны, — вспомните хотя бы, как бьет вам в глаза низкое солнце в вечернем пейзаже поля, где идет жатва (картина из собрания Московского музея западной живописи), или другие пейзажи, где Ван-Гог никак не может обойтись без работающего человека, или картину «Сеять».

Последнее полотно на первый взгляд может показаться условным, но только на первый, невнимательный взгляд: человек работает уже целый день, так что его качает, и накренившееся дерево на пашне словно бы угрожает ему. Солнце для него стало широко белесым пятном, черты лица под натянутой на лоб шапкой не выписаны, — да он же себя не помнит, он устал. И только правая рука его, в которой зерно, — большая и определенная. И это не прихоть художника, — рука больше лица: она вытянута вперед, она ближе к нам, это просто закон перспективы. И это здорово!

Стоит ли подбирать покорным слугам одряхлевших хозяев — художникам-абстракционистам — такую пышную родословную? А уж снижать ради этого значение такого неповторимого, самобытного, демократичного по своей сути, хотя и очень сложного художника, как Ван-Гог, определенно не следует.

И почему все же надо считать влияние беспредметного искусства на часть нашей художественной молодежи таким уж безвредным? Разве естественно юноше переимать привычки одряхлевшего старца, коверкать походку и искусственно наращивать на здоровых молодых глазах пленку катаракты? Пропаганда абстрактного искусства не так уж невинна, она наносит вред, отвлекает внимание части художественной молодежи от живительного источника, питающего всякое подлинное искусство, — от энергично, стремительно несущейся, бесконечно щедрой и многообразной жизни.

В статье И. Эренбурга «В предвидении весны» есть очевидные противоречия. Вначале он признает, что существуют и будут существовать различные идеологии, скажем, идеология консерваторов и идеология социализма, и борьба идей будет продолжаться. В последнем же столбце статьи он утверждает, что буржуазного искусства нет и не было, что буржуазная идеология не опасна, не заразна, а в искусстве выражена лишь в слабых, не имеющих силы воздействия произведениях, — то есть фактически снимает вопрос о борьбе идей в области литературы и искусства, как не существующий.

Буржуазные писатели и художники существуют, но буржуазного искусства нет, — утверждает И. Эренбург. Может быть, он хотел только лишь дать оценку буржуазному искусству как области, лишенной права носить высокое имя искусства, — уже в силу низменности своего содержания? Или имел в виду тот очевидный факт, что, даже являясь буржуазным

по своему происхождению, искусство Запада не может обойтись без прогрессивных, отнюдь не буржуазных идей? Можно предполагать, что и это, можно поискать в еще какого-либо объяснении «парадоксальному», как определил сам автор, заявлению об отсутствии буржуазного искусства. Но и в том, и в другом, и в любых подобных случаях не могут не тревожить выводы о безвредности буржуазных идей, идущих к людям через литературу в искусство. В таких вопросах не может быть места недомолвкам, игре словами и фигурам умолчания. Еще хуже, если здесь не противоречие, а убеждение в том, что литература — не идеология и в ней нет места для борьбы идей. Если так, то почтенный писатель определенно неправ, да и в собственном его творчестве многое противоречит этому неверному положению.

Усиление культурного сотрудничества между странами капиталистического и социалистического лагеря обязывает нас ко многому. Оно никак не означает необходимости отказаться от основного качества нашей литературы — ее партийности, ее определенной направленности. Мы остаемся самими собой, бойцами за коммунистическое будущее. Наступательность, партийность нашей литературы никогда не означала навязчивую дидактичность, унылую поучительность.

Наш премьер, «советский гражданин номер один», разговаривал со столпами самого могущественного из буржуазных государств, со своими идеологическими противниками, не теряя достоинства, не отступая с наших позиций. Разъясняя политику нашего государства, знакомя американцев с фактами нашей жизни и нашими принципами, он помог им избавиться от заблуждений. Разговор писателей «Запада и Востока» требует той же принципиальности. Чтобы быть лучше понятыми, нам вовсе не требуется выражать наши мысли менее принципиально и слегка, хоть самую малость придавать им буржуазную окраску. Мы уважаем и тех буржуазных писателей, которые многого, даже существенного, не понимают, — так формировались их взгляды. Мы признаем

за ними право отстаивать свои взгляды, а за собой — доказывать свое.

Разве основные положения статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» не остаются для нас основополагающими и теперь? Их не следует забывать, они и сегодня вооружают нас на борьбу за нового человека, за его коммунистическое сознание.

Незадолго до того как Ленин писал о партийности литературы, писатель мистик и идеалист Мережковский выпустил сборник статей «Вечные спутники», в котором говорил о вечных, не подвластных времени художественных ценностях, созданных великими писателями, которые являются вечными спутниками человеческого сердца. Эти рассуждения о вневременности искусства он противопоставил сугубо земным революционным призывам — бороться литературными средствами за лучшее будущее народа. Книга полна презрения к «черни», к «безликим массам»; автор считает, что искусство выше жизни, что категории добра и зла — не для художника. Писания Мережковского использовала реакция. Во вступлении к сборнику автор пояснял, что научная критика ограничена, и он придерживается метода критики субъективной.

И. Эренбург заканчивает статью словами о «вечных спутниках человеческого сердца», повторяя слишком известный образ Мережковского. Верно, что в наши дни само слово «спутник» приобрело новый смысл и новое звучание. Вероятно, автору статьи «В предвидении весны» показалось возможным освежить, наполнить новым смыслом и известное образное выражение Мережковского, которое само по себе, вне связи с исторической обстановкой, в которой оно возникло, звучит нейтрально. Но после слов о безопасности буржуазного искусства, о пасторальной безоблачности идеологического горизонта в области литературы можно ли сказать, что старый образ «вечных спутников» обновился?

Жизнь идет вперед, меняются методы и способы воздействия, но идеалы коммунизма, которым мы присягнули на верность, остаются прежними. Бойцы остаются бойцами.



## ЧЕХОВ КАК МАСТЕР АФОРИЗМА

**В** произведениях Чехова щедрой рукой рассыпано множество жемчужин-афоризмов. В рассказах, фельетонах, записных книжках, письмах, статьях и дневниках Антон Павлович затрагивает различные области человеческой и общественной жизни, и каждый афоризм как бы подводит сжатый итог, устанавливает правило, логический или этический принцип.

Особую ценность представляют чеховские афоризмы о литературе. 11 февраля 1900 года Антон Павлович пишет писателю М. Полиповскому: «Положение в литературе, хотя бы очень скромное, не дается, не берется, а завоевывается».

В письмах Чехова к брату Александру Павловичу можно найти знаменитый чеховский афоризм: «Краткость — сестра таланта». Резко высказываясь против писательского эгоцентризма, самокопательства и утрированного самоанализа, Чехов говорит: «Людям давай людей, а не самого себя».

Касаясь техники писательского дела и говоря о необходимости тщательной шлифовки написанного, Чехов высказывает эту мысль в самой обычной форме: «Я не хочу признавать рассказов без помарок. Надо люто марать». Если вдуматься в эту обыденную фразу, она зазвучит своеобразным афоризмом, в котором риторическое «Я не хочу» приобретает собирательный смысл.

Иногда советы, даваемые начинающим авторам, Чехов облачает в форму парадокса даже в виду несколько юмористического. К примеру: «Искусство писать состоит не в искусстве писать, а в искусстве... вычеркивать плохо написанное».

В отличие от толстовского знаменитого афоризма: «Критики — это глупые, рассуждающие об умных» Чехов сказал кратко, но выразительно: «Лучше плохая критика, чем ничего».

Есть у Чехова афоризм, который был девизом его жизни: «Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».

Проникнуты чувством возмущения афористические оценки Чеховым бульварной буржуазной литературы: «Бульварные (писатели) грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней вместе и льстят ее узенькой добродетели»; «Буржуазные писатели не могут быть не фальшивы».

Немало у Чехова афоризмов об искусстве. В письме к О. Л. Книппер он говорит: «Тонкие душевные движения... и внешним образом нужно выражать точно». Никаких ссылок, оправдывающих неестественную игру актера так называемыми «условиями сцены», Чехов-реалист не признает: «Никакие условия не допускают лжи!»

В произведении и на сцене не должно быть ничего лишнего: «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него...»

Значительное место в литературном наследии А. П. Чехова занимает проблема общественного назначения творчества. В письме к Д. Григоровичу Чехов писал: «Вся энергия художника должна быть обращена на две силы: человек и природа».

Обращаясь к своим современникам-писателям, Чехов предупреждал: «Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».

Благороден нравственный пафос ряда чеховских афоризмов: «На то мы и люди, чтобы побеждать в себе зверя» или: «То дело называется великим, у которого велика цель», «Жизнь дается один раз и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво».

Чеховские раздумья о смысле жизни нашли выражение в афоризмах: «Призвание всякого человека в постоянном искании правды и смысла жизни», «Обойти то

мелкое и прозрачное, что мешает быть свободным и счастливым, — вот цель и смысл нашей жизни». В письме к Плещееву мы находим благородные слова: «Кто не умеет радоваться чужим успехам, тому чужды интересы общественной жизни».

Эта же идея выражена иными словами и новым образом в следующем афоризме: «Осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота».

Основным элементом такой осмысленной жизни писатель считает труд: «Праздная жизнь не может быть чистой».

Пафос защиты знания, образования, науки проникает многие афоризмы Чехова: «Где нет знания, там нет и смелости». Чехов, страстный проповедник труда, восклицает: «Ах, если бы к трудолюбию прибавить образование, а к образованию — трудолюбие!»

Моральной чистотой озарен великолепный чеховский афоризм: «Счастье и радость жизни не в деньгах и не в любви, а в правде».

С этим афоризмом перекликается другое чеховское изречение: «Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать». Немало афоризмов посвящено писателем этой теме. Приведем для примера несколько: «Ложь оскорбительна для слушателя и оплошает в его глазах говорящего». Вспомним отточенные по форме и глубокие по содержанию афоризмы: «Ложь — тот же алкоголизм»; «Чем ближе человек стоит к истине, тем он проще и понятней».

В философских афоризмах Чехов выступает как убежденный материалист: «Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит — нет и истины», «Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину».

В чеховских афоризмах отразилось ощущение внутреннего единства прекрасного и нравственного: «Только то прекрасно, что серьезно», «Красота не терпит быдленного и пошлого» и, наконец, знаменитый чеховский афоризм: «В человеке должно быть все прекрасно — и лицо, и одежда, и душа, и мысль».

В заключение приведем несколько шуточных чеховских афоризмов-парадоксов. В их шутовстве немало скрытой серьезности:

«Всё знают и всё понимают только дураки и шарлатаны».

«Лучше развратная канарейка, чем благочестивый волк».

«Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют».

«Не давай рукам воли, когда мозг ленив».

«Чем короче и реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают».

«Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

«Нет того уroda, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе читателя».

«Ругань — родная сестра рекламы».

«Образование не всегда в ладу с воспитанностью».

Французский поэт Ж. Делиль сказал, что «огромнейшим сокровищем было бы собрание хороших красивых человеческих мыслей». Это целиком относится и к А. П. Чехову, полное собрание афоризмов которого являлось бы неоценимым сокровищем русской и мировой литературы.

*Е. Райзен,  
юрист.  
Ленинград.*

## О ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВ

**Р**ассказы известного клоуна и дрессировщика Владимира Дурова о животных, выходявшие при его жизни, пользовались большой любовью детей. Чистой, прозрачной радостью вошли они в жизнь детворы.

Много лет спустя я увидела в руках пятиклассницы новенькую, в яркой обложке книгу: В. Дуров. Мои звери. Меня охватило чувство радости, как при встрече с близким старым другом после долгой разлуки.

— Хорошая книжка, нравится? — не удержалась я.

Девочка склонила набок голову, искоса поглядела на меня и протянула в раздумье:

— Ничего, смешная.

Я знала девочку как чуткую читательницу, и ее вялая, неопределенная оценка меня удивила. Захотелось проверить себя, и

вот я читаю любимую повесть «Слон Бэби» в издании Детгиза 1955 года. Читаю и не узнаю... Содержание как будто то же, но меня ничто не волнует: ну, жил слон и жил... Ну, много ел, боялся метлы, слушался и не слушался Дурова. Нет, это не та книжка... Достая издание 1930 года, выпущенное «Молодой гвардией», и снова с упоением перечитываю «Бэби», «Обезьянку Мимус», и так — всю книгу. В чем дело? Начинаю сравнивать текст, и тут-то обнаруживается, что книжка подверглась коренной переработке.

Совершенно изменилась ее тональность. Исчезли лирические отступления, вроде: «Спи, наш маленький разумный друг, до завтра!» (обращение к заснувшей обезьянке); «Нельзя было не оценить прекрасных качеств Бэби, нельзя было его не любить»; «Любовь Бэби ко мне была безгранична».

Сравним отрывок, рассказывающий о перевозке обезьянки в Россию.

## ТЕКСТ 1930 ГОДА

«Отчаянию бедного шимпанзека не было пределов: он кричал, визжал и протягивал ко мне руки, как маленький ребенок к матери. Но я все-таки должен был уйти: застучали колеса, и бедный Мимус остался один, с бананом в утешение.

Ночь. Темно в багажном отделении, по я у Мимуса. Поезд стоит несколько минут. Где он тут в потемках? Ничего не видно. Зажигаю спичку. Маленький жалкий комочек заснувшего на своем матрасике в великом горе шимпанзека; его рука выглядывает из-под одеяла. А рядом нетронутый банан.

## ТЕКСТ 1955 ГОДА

«Он кричал, визжал и протягивал ко мне длинные руки. Но не могу же я ехать в собачьем отделении! Мое место — в пассажирском вагоне. Я побежал к себе. Бедный Мимус остался один, с бананом в утешение.

Мимус поехал в Россию. Ночью поезд остановился у маленькой станции. Я побежал к Мимусу. Темно. Где же он тут в потемках? На матрасике я вижу свернувшегося в комок Мимуса. Он спит. Рядом, у самого носа, — нетронутый банан.

Особенно тщательно вычеркивалось все, что могло возбудить чувства грусти, жалости. Как будто детей нужно охранять от переживаний за другое существо.

1918 год — тяжелый год в жизни всей страны, особенно Москвы. В холодном, полуразрушенном, несотапливаемом слоновнике Баби замерзал, и Дуров бессилён был помочь ему.

Слон ослабел, слег и не мог больше подняться, несмотря на просьбы. «Я не помню, что я говорил; я умолял его, как человека, собраться с силами и встать. Но Баби не двигался. Тогда я лег на него. Баби протянул хобот, обвил мою шею, и крупные слезы покатались из его глаз. Мы прощались навсегда...»

В новом издании изображение гибели слона отсутствует, повесть кончается описанием представления, «бодрой» шуткой: «Надо отвечать на ашлодисменты, нехорошо быть невежливым».

Серьезно болен Мимус, — северный климат не для него. Дуров и его жена в тревоге; приглашен консилиум из пяти врачей — помочь никто не может. «Две недели он ничего не ест. И теперь только пьет... И весь он иссохший, как скелет. Я взял его на руки. Какой он легкий. Жена принесла молоко.

— Пей, Мимочка, пей... Пей, Мимочка, пей...

Ее голос дрожит: в нем материнская ласка и материнское горе.

Печально-поэтичны последние минуты жизни Мимуса. В переделке конец Мимуса дан «без сентиментальности»:

«Доктор пришел. Он осмотрел обезьянку и сказал:

— Шимпанзе в нашем климате долго жить не могут. Вы не можете им создать

жаркий климат, в котором они родились... Впрочем, дайте ему касторки.

Мы дали ему касторки, мы кутали его в одеяло, мы позвали много врачей, но ничего не помогло. Через две недели Мимуса не стало».

Книжка перестала быть «чувствительной», ее постарались сделать «занимательной». Появился примитивный юмор, вроде: «Не могу же я ехать в собачьем отделении». Мы найдем довольно много обывательских шуток. Книга стала «веселенькой», но та задача, которую ставил перед собой автор, совершенно искажена.

Этот разговор хочется продолжить в связи с другим.

Оживленно обсуждается сейчас тема воспитания чувства прекрасного, но вопрос должен быть поставлен шире: о воспитании ряда чувств, свойственных человеку социалистического общества. Нет сомнения, что чувство внимательного, бережного, любовного отношения к окружающему следует прививать, «тренировать» с раннего детства. Лучшим материалом в этом отношении (вспомним фольклор!) были и будут темы из мира животных.

Но детская литература наших дней как-то чересчур осторожна: она боится и «чувствительности» и, возможно, обвинения в антропоморфизме — очеловечивания животных. Исчезла эмоциональная окраска, нет острого сюжета. Маленькие столкновения проходят безболезненно, концы настолько благополучны, что чувство внимания, доброты, тревоги за другое существо на этих рассказах упреждать не приходится, и дети скользят по поверхности читаемого, а закончив, говорят: «Ничего, смешно».

А ведь для того, чтобы стать «лучше, добрее, благороднее» (Чернышевский), — нужно пережить художественное произведение. Образ нужно «увидеть, услышать, нужно с ним встретиться, столкнуться, удивиться ему, обрадоваться или почувствовать презрение, гнев, отвращение», — пишет известный методист М. Рыбникова. Именно по этой причине герои Толстого, Горького, Фадеева будят страстное желание быть честными, смелыми, добрыми, верными дружбе, не останавливаться ни перед чем в минуту бедствий родины; они, эти герои, вызывают отвращение к лицемерию и подлости, страстное желание бороться с предательством, низостью.

Зеркалом методики классного урока является школьный учебник. Поставим себя на место подростка четырнадцати лет, которому нужно вдуматься, вчувствоваться в сложный, противоречивый (и к тому же далекой эпохи) образ Евгения Онегина. В учебнике для восьмого класса после изложения (с элементами анализа) истории жизни героя читаем:

«В лице Онегина Пушкин первым из писателей изобразил тот тип просвещенного дворянина, который сложился в России в 20-е годы XIX века и был широко известен в годы, последовавшие за разгромом декабристов. Онегин — типичный представитель этой просвещенной части дво-

рянской интеллигенции, которая критически относилась к укладу жизни дворянского общества и к правительственной политике. Эта дворянская интеллигенция избегала служить царизму, не ждая встать в ряд молчаливых, но она стояла и в стороне от общественно-политической деятельности. А такой путь, хотя и является своеобразным протестом против общественно-политического строя, неизбежно обрекал на бездейственность, на отход от народа, на замыкание в узкий круг эгоистических интересов...»

Холодны, категоричны утверждения, тяжелы фразы; они не толкнут на размышления, не возбудят у читающего «благородных понятий и чувств», — а разве у статьи о романе не должно стоять такой задачи? Невольно вспоминаешь, как страстно звучат о том же герое слова Герцена, Белинского:

«Юноша не встречает никакого живого интереса в этом мире раболепия и мелочного честолюбия. И однако в этом-то обществе он осужден жить, так как народ еще более от него отдален». (Герцен.)

«Что случилось с Онегиным потом... Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой природы остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца?» (Белинский.)

Мудрые слова пришлось мне как-то услышать от юноши-десятиклассника, прочитавшего книги В. Арсеньева: «Здесь научное соединено с лирическим: вовек не забудешь ни природы, ни людей Уссурий-

ского края. Кабы так писались учебники!»

Никто не будет отрицать, что богатство чувств — необходимое условие высокого и разностороннего развития человека. Скудность, бедность эмоций налагают на жизнь печать серости; равнодушные — страшное зло: сухой человек не может быть творцом. Для движения вперед, для открытий нужен энтузиазм, воодушевление. Люди с неглубокими чувствами видят в жизни одно удовольствие — поверхностные, а порой и низменные развлечения.

Но эмоции не развиваются сами по себе: как физическая ловкость появляется у человека в результате занятий гимнастикой, как способности математика, шахматиста достигнут высшей точки при наличии соответствующей тренировки, так и эмоциональная жизнь ребенка, подростка нуждается в материале, упражняющем его в определенном направлении. Раннее пробуждение любовного отношения к природе перерастает потом в тонкое понимание человеческих переживаний и отношений.

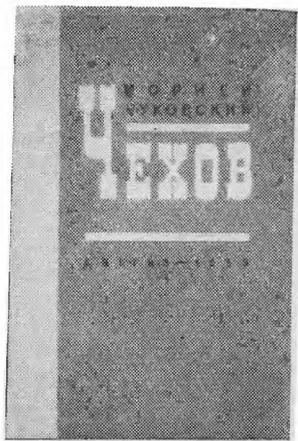
А это нужно, это очень важно. Если даже говорить только о литературной стороне проблемы, то голос народа, который звучит в произведениях великих писателей, будет услышан, почувствован, воспринят читающим; переживания героев станут его переживаниями, сделают его соучастником больших чувств и идей, поднимут на духовные вершины.

Люди не рождаются чуткими, они такими делаются!..

**З. Иванова,**  
*учительница. Москва.*



# Среди книг и журналов



## ЧЕХОВ, УВИДЕННЫЙ ЗАНОВО

Корней Чуковский. Чехов. Детгиз, М., 1958.

«Теперь, когда мы чуть-чуть отгребли от него весь этот мусор заскорузлых полуправд и неправд, скопившихся за полвека вокруг его имени, мы можем своими глазами, по-новому, свободные от всякой рутины, взглянуться в его гениальное творчество», — шипит К. Чуковский, заканчивая свою книгу о Чехове. Таким образом, зачин для будущего переосмысления творчества писателя уже сделан в книге тем, что биографический портрет Чехова действительно освобождается от многих искажающих наслоений.

Если пользоваться словами самого исследователя, Чехов предстает перед нами как великий жизнелюбец, неутомимый строитель, щедрый озеленитель земли, человек негибаемой воли, человек скромный и застенчивый в своем героизме, ранний предтеча многомиллионного племени советских людей.

Нельзя сказать, чтобы все в этом портрете было для советского читателя абсолютно ново и неожиданно. Да автор, вероятно, и не претендовал на это. Советское литературоведение, в особенности послевоенных

лет, немало сделало для переосмысления творчества Чехова — якобы писателя эпохи сплошного безвременья, тоскующего певца «хмурых людей». При этом неизбежно «укрупнялся», «мужественел» облик самого Чехова — и человеческий и писательский (вспомним хотя бы этапную в этом смысле книгу о Чехове В. Ермилова).

И все-таки поставленные в один непрерывный ряд эпитеты «великий», «неутомимый», «щедрый», «негибаемый», «героический» перед именем Чехова не могут не произвести должного впечатления.

Неотразимая сила критического таланта Чуковского в том и состоит, что после того как прочитаешь последнюю страницу его книги, все отмеченные им характерные черты чеховского портрета не кажутся непривычными, чужеродными в связи с именем писателя, хотя сам Чехов, казалось бы, больше всего опасался употребления подобных слов (недаром его так смутило первоначальное название «Попрыгуньи» — «Великий человек»).

Для того чтобы как следует осознать новизну красок, привнесенных нашим временем в портрет Чехова, достаточно вспомнить, что даже Горький, первым почувствовавший истинный масштаб и истинную силу Чехова, в воспоминаниях о нем выделяет его «милую скромность, чуткую деликатность», хотя и оговаривается при этом, что «скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей».

Великое, вероятно, все-таки лучше видится на расстоянии, даже если рассматривать его с очень высокой точки зрения.

У иного читателя могут возникнуть сомнения: не преувеличиваем ли мы значение тех или иных открытий, сделанных Чуковским на биографической карте Чехова, если речь идет только о личных, портретных чертах писателя, а не об уяснении его творчества, которое обещано лишь «в последующих этюдах»? На подобные сомнения сам автор отвечает так: «Потому-то Чехов и сделался наиболее выразительным писателем своего поколения, что его личная тема полностью совпала с общественной».

К этому социально-историческому аспекту (которого автор намеревается придерживаться в дальнейшем своем исследовании) хочется присоединить еще и морально-этический, имеющий самое непосредственное отношение к психологии творчества художника, области, к сожалению, совершенно забытой нашим литературоведением. Лучше всего, пожалуй, для этого воспользоваться словами одной из заповедей Уолта Уитмена, поэта, открытого в свое время для широкого русского читателя тем же Чуковским: «Пойми, что в твоих писаниях не может быть ни одной черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты злой или пошлый, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих произведениях. Если ты брюзга, или завистник, или низменно смотришь на женщин, — это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Нет такой уловки, такого приема, такого рецепта, чтобы скрыть твое «я» от твоих писаний»...

Чуковский полемизирует с «неправдами» и «полуправдами» о Чехове страстно, темпераментно, и — что очень важно — доказательно. Но в большинстве случаев он полемизирует с укоренившимися заблуждениями, не проследивая обстоятельств их возникновения, не называя их авторов. Вот об этом стоит пожалеть. И не только потому, что у читателя притупляется ощущение историзма в проблеме освоения чеховского наследия. Легенды и заблуждения, складывающиеся порою вокруг фактов жизни и творчества художника, бывают не менее поучительны, чем сами факты.

Нельзя не сказать еще об одном упущении, связанном с отдельным изданием исследования Чуковского о Чехове, специально для учащихся. Речь идет о необходимых комментариях, или, как они именуется в книге, «пояснениях отдельных имен, встречающихся в тексте». Написаны эти пояснения почему-то с телеграфной краткостью и, что еще хуже, с телеграфной небрежностью. Трудно, например, понять, почему нашлось место для Ежова или Маслова и не нашлось для Баранцевича или Скальковского, почему Савву Морозова или Григория Градовского следует величать не только по фамилии, но и по имени, а по отношению к Левитану или Михайловскому можно ограничиться одной фамилией, почему Эфроса следует считать театральным критиком, а Кугеля только рецензентом (хотя в тексте он назван критиком), почему Щепкину-Куперник следует именовать «беллетристкой», что довольно рискованно в отношении норм русской речи?

Как говорится, перечень вопросов можно было бы продолжить. Однако и так ясно: комментарии анонимного автора, написанные слогом и стилем, диаметрально противоположным тексту всей книги, не больше, чем пресловутая ложка дегтя.

Не больше... Но и не меньше.

**С. Ососцов.**



## С ЧУВСТВОМ ВРЕМЕНИ

*Александр Андреев. Звезда поколений. Ленинград, 1959.*

Уже больше десяти лет в газетах, альманахах, журналах встречаются стихи Александра Андреева. Сейчас эти стихи объединены в книгу «Звезда поколений». Книга радует отсутствием разрыва между «программными» стихами и стихами лирическими. Всюду мы чувствуем поэта — молодого советского гражданина, которого волнуют и красоты вечернего города, и вымпел новой планеты, и разговор с любимой девушкой.

Лучшие стихи книги надо искать не в каком-нибудь одном разделе ее — они есть и среди политической публицистики и среди лирики. К таким лучшим стихотворениям мы относим глубокое, полное настоящей мысли «Марсово поле» (о героях революции), «О любви» и «Стихи о романтике», начинающиеся прелестными строками:

Плывут по Неве,  
Словно лебеди, льдины,  
В гранит удара, звенят,  
Далекie страны  
Жюль Верна и Грина  
Мальчишек теперь не манят.

Простерты широкие вешние зоры  
Над несую чистой волной —  
Романтика  
Паруса,  
Ветра  
И моря  
Опять повстречалась со мной.

А дальше — рассказ о романтике в нашей жизни: о романтике гражданской войны и Днепростроя, о романтике боев за Берлин и современных строок. Кончается это стихотворение словами о зарубежных мальчишках, которые «пролагают дорогу по картам в столицу героев Москву».

Удачны и другие стихи — «О цветах», «Улица белых ночей», «Ожидание»... Большинство стихотворений А. Андреева очень ощутимо связано с нашим городом, с мечтами и чувствами ленинградской молодежи. Дело, конечно, не только в рас-

сказе о блокаде или в описаниях великолепных пейзажей. Поэт часто говорит о революции, которая началась именно в нашем городе, о ее героях, о настроениях и мыслях, рожденных ею.

Не все стихи равноценны. Хорошо начатое стихотворение «Счастье» несколько растянуто; есть сентиментальные, «проходные» стихи. Но дело не в них — в целом книга «Звезда поколений» написана одаренным поэтом и, что очень важно, поэтом, чувствующим наше время, его масштабы, его движение вперед.

#### Д. Молдавский.



### ИНТЕРЕСНАЯ ПОВЕСТЬ

В а с и л и й З о л о т о в. *Придет и твоя весна.*  
Латгосиздат, Рига, 1959.

«Издали послышался ровный шум дождя, будто по осеннему лесу волокли кучу хвороста... Заговорили на дальней опушке молодые робкие березы, зашептались кусты бересклета, загудели на низких нотах дубы-крючники... Изредка ударял гром — то тихо, добродушно, как бы труня, то гулко, предостерегающе».

В эту грозу Кристина Саулите, молодой врач курорта Вакари, переходит ветхий мостик над бурно клокочущим ручьем — переходит в страхе и сомнении: «Как же я переберусь на другой берег? Может, вернуться?..» Но вот сделано еще несколько шагов, и девушка ступает на противоположный берег, который в сознании читателя воспринимается как берег ее новой жизни.

Создание яркого положительного характера Кристины Саулите — большая творческая удача русского писателя Василия Золотова, уже много лет живущего в Латвии. Этот характер раскрывается весьма разносторонне. Мы видим Кристину и в самозабвенных хлопотах о приобретении редкостного прибора — ионизатора, и в столкновении с наглой женой ответственного работника из Москвы, и в общении с природой (всегда одушевленной); мы с особенным волнением следим за крепнущей дружбой

между Кристиной и двумя сыновьями врача Красавицкого, которые в конце концов покидают отца и становятся родными для Кристины Саулите.

«Молодой врач всего себя отдает служению людям, прекрасно сознавая, что не одни препараты и лекарства излечивают их, — не менее важно и душевное участие. Именно такая, кровная заинтересованность в судьбах человеческих и помогает Кристине поставить на ноги и рабочего Витола и совсем было отчаявшегося скрипача Сергея Соснина. Но жизнь бесконечно сложна. Принося людям счастье, Кристина сама несчастна в личной жизни: она полюбила врача Красавицкого и жестоко обманулась в нем».

Образ Красавицкого тонко выписан автором. Красавицкий попеременно возбуждает к себе то презрение, то нежное сочувствие (в минуты раскаяния, как будто искреннего), то вновь недоброе чувство. Но лишь на последних страницах повести происходит саморазоблачение Красавицкого — себялюбца и ловкого карьериста, и мы понимаем, почему так непоправимо могла ошибиться в нем Кристина.

В отличие от многих молодых писателей (да и только ли молодых!) Василий Золотов много внимания уделил разработке так называемых второстепенных персонажей. Детально нарисованы образы Соснина, Витола, профессора Леера, старейшего врача Тирстыня и особенно двух мальчишек — Доната и Валерки.

Однако подчас писатель как бы не доверяет себе; отсюда — лишние биографические подробности в обрисовке героев, большие отступления с тусклым налетом очерковости. Таков, например, многословный рассказ о прошлой жизни Кристины, о ее отце.

В целом же повесть В. Золотова — интересное художественное произведение. Чувствуется бережное авторское отношение к национальным особенностям латышского характера и быта, влюбленность в неброскую, но бесконечно милую в своей застенчивости природу Прибалтики.

Писатель овладевает искусством передачи человеческого настроения через обрисовку звуковой ему жизни природы.

Вот небольшая иллюстрация:

«Кристина улыбнулась и вышла из дома. Справа, пригретый на осеннем солнце, не шелхнувшись, стоял лес. Через березовую чащу, точно через светлый коридор, теряясь где-то вдаль, шла глухая проселочная дорога, вся усыпанная желтой опавшей листвой. Но, несмотря на то, что березы почти обнажились, они не производили жалкого впечатления — мягкий ответ солнца дрожал на их белых, омывтых дождями крепких стволах, и верилось, что настоящее долгое, устойчивое тепло когда-нибудь придет, наступит другая, совсем не похожая на все предыдущие, весна, и все будет по-другому...»

Да, все будет по-другому! К Кристине Саулите еще придет ее весна.

Ю. П о м о з о в.



## РОДНЫЕ ЛЮДИ

Евгений Белякин. *Вислый камень*. «Советская Россия», М., 1958.

Когда появляется новая интересная книга о современности, то не знаешь, чему больше радоваться: успеху нашего искусства, одаренности автора или богатству и многогранности социалистической действительности, которая служит неисчерпаемым источником творческого вдохновения.

За последние годы людям колхозной деревни посвящено немало интересных произведений, и поэтому начальные главы романа Е. Белякина «Вислый камень» могут вызвать у читателя опасение: не повторит ли молодой писатель, рассказывающий о жизни сельских механизаторов, картины, известные уже по произведениям Овечкина, Пермитина, Гранина?..

Но с каждой страницей своеобразия художественного почерка автора ощущается все сильнее, сама жизнь во всей ее сложности, освещенная с неожиданной стороны, врывается в произведение, мы начинаем напряженно следить за судьбами персонажей.

Из города в МТС приезжает инженер Владимир Бегичев. Представления его о жизни, приобретенные на студенческой скамье, во многом наивны. Но он сумел сблизиться с коллективом самоотверженных тружеников деревни и постепенно становится прямым участником осуществления величественной программы партии в области сельского хозяйства.

Бегичев борется за передовые скоростные методы ремонта тракторов и комбайнов, все силы души отдает на улучшение работы МТС, но вскоре приходит к выводу, что организация тракторного парка — только одна часть очень важной проблемы сближения МТС с колхозным производством: на современном этапе развития сельского хозяйства техника должна непосредственно принадлежать тем, кто ее наиболее эффективно использует.

Ему пока еще не все ясно, но всей логикой развития сюжета, всеми картинками, раскрывающими противоречивые взаимоотношения между колхозами и МТС, автор показывает, что решения партии о реорга-

низации МТС соответствуют думам и чаяниям всех советских людей, вызовут дальнейший могучий подъем сельского хозяйства.

По прочтении книги как-то невольно обращаешься к докладу Н. С. Хрущева на Двадцать первом съезде КПСС, и ярче представляется вся реальность грандиозного семилетнего плана, осуществление которого обеспечит стремительное повышение уровня жизни советской деревни.

В преодолении трудностей, в борьбе за новое созревание волевых качеств Бегичева. Автор правдиво изображает влияние новых отношений, сложившихся в колхозной деревне за последние годы, на формирование характера советского молодого человека.

Рядом с Бегичевым трудится парторг Канеев, образ которого постепенно выдвигается на первый план. Он воспитывает своего молодого друга и воздействует на него прежде всего силой личного примера.

Канеев — подлинный ученый-новатор, опирающийся на практику. Это он успешно применяет для водоснабжения животноводческих ферм гидротранную систему, хотя псевдоученые из «Водстроя» считают его методы «устаревшими». Нам раскрыт его внутренний мир. Бывший фронтовик, парторг полка, Канеев в своей мирной работе дерзновенно и смело борется за высокие урожаи в районе. Бегичева привлекает в парторге необыкновенная человечность, отзывчивость. В самые трудные минуты своей жизни он видит рядом с собой Канеева. Это Канеев помог ему понять, что важнее всего на свете — быть с людьми, связать свою жизнь с тем родником, который никогда не смогут замутировать никакие вислые камни...

Но Канеев не опекает своего друга, он видит творческую черту в нем, поддерживает ее и добивается от него всегда самостоятельного решения. И Канеева нельзя не полюбить, настолько он высок и благороден в преодолении личных невзгод, принципиален и справедлив, красив в своих переживаниях, — весь он светится каким-то особым внутренним огнем. Образ Канеева нарисован живо, увлекательно, многогранно. Канеев горячо любит народ, и необходимость всегда быть с массами стала его убеждением. «Самый простой, казалось бы, незаметный человек, — говорит он своему другу, — не может жить с мыслью только о себе, о своем благополучии. Да, в простом труженике ты часто найдешь большое государственное сердце! Он знает, зачем построен новый металлургический комбинат, он знает внешнюю и внутреннюю политику, как заправский дипломат, он знает и радости и неудачи... он все знает.

Нет, ни один разумный государственный деятель не может обойтись без совета простого человека труда, его желаний...»

Располагает к себе секретарь райкома Искандеров, несмотря на его крутой нрав и стремление показать, что он «хозяйин района». У него большой жизненный опыт, сильная воля и отзывчивое сердце. Люди, хотя шоры и побаиваются его, идут к нему

просто поговорить как с хорошим, душевным человеком.

Знание народной жизни позволило Е. Белянкину нарисовать незабываемые образы рядовых тружеников колхозной деревни. Книга дает ясное представление о том, какими талантами богат наш народ, какие золотые россыпи души скрываются порой под непритязательной внешностью простого человека. Вот перед нами тяжелая и сложная судьба тети Луши, безыскусственный характер и прямота которой вызывают к ней доверие и любовь тех, кто сталкивается с ней по работе и в быту.

Полесовод Матвей, в прошлом неудачник, напоминающий некоторыми чертами деда Щукаря, находит свое место в жизни. Согретая лаской и вниманием коллектива, раскрылась его честная, благородная, отзывчивая на добро натура.

Запоминаются колоритные образы рядовых трактористов Лиховида и Юлдуза, бригадира Воеводина, председателя колхоза Вандышева — это родные наши трудовые советские люди, показанные во всей красоте их деяний.

Чужеродны в их среде пьяницы михеевы, леонидовы с их карьеризмом, ковбасы, сидящие на двух стульях.

В романе «Вислый камень» личные судьбы людей настолько тесно связаны с борьбой за новые формы общественной жизни и труда, что вообще невозможно определить, где кончатся «производственные проблемы» и начинается «личная линия».

Произведение Е. Белянкина проникнуто драматизмом борьбы за человеческое счастье. Еще на студенческой скамье Бегичев подружился с Валентином Граматовым, но его высокая принципиальность пришлась не по душе Валентину, склонному основывать личные отношения на эгоистических началах.

Внутренние монологи-воспоминания Бегичева выявляют правоту, богатство его честной натуры. Правда, хотелось бы видеть большую определенность в их отношениях. Создается впечатление, что в их разрыве повинен не только Валентин.

Душевная щедрость Бегичева нашла отклик в сердцах бригадира-тракториста Воеводина, парторга Кансева. Их дружба неразрывна, ибо она скреплена общими интересами, партийными убеждениями.

Проникая в духовный мир человека, писатель глубже постигает сущность общественного процесса. Разве не говорит вся история Зинаиды Павловны о торжестве подлинной любви?

Да, Зина совершила большую ошибку, выйдя замуж за пошлого человека и ограничив свою жизнь миром кухни. Автор тщательно исследует каждый оттенок чувств и мыслей Зины и убеждает читателя, что единственный путь для нее — уйти от мужа. Но это только начало борьбы за личное счастье: уход от мужа несет с собой часы разочарования и тоски. Чувство ответственности за судьбу своих детей не покидает Зину и вызывает много раздумий.

Евгений Белянкин пишет просто, задушевно и смело. Он нас не удивит оригинальным сравнением, неожиданной метафорой, необычным словосочетанием, но в то же время его повествование очень емко, богато художественным подтекстом, согрето сердечным теплом. Автор хорошо знает то, о чем пишет. Нередко мы наблюдаем, что некоторые писатели в погоне за оригинальностью «словечка в простоте не скажут, все с ужимкой», лишая свое произведение естественности интонаций, выхолащивая жизненную правду. Белянкин избегает нарочитой усложненности.

Правда, порой мы замечаем неопытность руки, подмену образного раскрытия явлений действительности перечислением пусть интересных самих по себе фактов, стилизацию народной речи, натуралистические эпизоды. Встречаются и просто скучные страницы. Но при всех недостатках роман в основном сохраняет стилевую цельность.

Автор стремится к широким ассоциациям. Образность речи его произведения не бросается в глаза, даже незаметна; только углубившись в анализ, начинаешь замечать, какими средствами автор добился характерологического эффекта.

Е. Белянкин владеет мастерством несобственно прямой речи — очень трудной и своеобразной формой раскрытия внутреннего мира героя. Это обуславливает естественность, «незаметность» взаимоперехода авторского языка к строй речи персонажей, и в то же время при этом всегда чувствуешь отношение автора к высказанным мыслям, к событиям. Приведем пример: «Садья вышла на кухню. Канеев как бы продолжал разговор, говоря сам с собою: — Жалко... Ковбаса как руководитель явно стареет, а ведь он порой бывает не лишен чувства молодости.

Канеев большое значение придавал этому чувству. Каждый человек обладает чувством молодости. Только в неопытные, пезрелые годы — его с избытком, хоть отбавляй! Вот возьми Бегичева. Петушится, бултыхается, не соображая с делом. Со временем мужает человек, и это чувство контролируется головой, делом, обязанностями. С возрастом уходит оно, как уходит молодость... Вот почему человек, надолго сохранивший его в себе, — молодой и сильный. Видно, чувство молодости и есть тот огонек, который зажигает и подогревает человека в его начинаниях и в трудной борьбе». Убеждения Канеева, основная особенность его характера, склад речи и авторская оценка действительности выявлены здесь экономно и выразительно.

Примечательна в романе юмористическая струя. Юмор у Белянкина то мягкий, добродушный, когда повествуется о настоящих советских людях, то резкий, злой, переходящий в сарказм, когда автор разоблачает гнилое, отрицательное в жизни (эпизод встречи Леонидова с поросенком и другие).

Художественные средства романа подчинены основной задаче — во всем величии раскрыть сущность созидательной деятельности нашего народа.

Советская литература обогатилась добротной книгой.

Приходится только пожалеть, что это интересное произведение было встречено необъективной и резкой статьей рецензента Г. Владимирова «Роман и его ценители» («Литературная газета», 10 октября 1959 г.), который не затруднил себя глубоким идейно-художественным анализом книги Белянкина, а размахистым жестом попросту зачеркнул ее. Конечно, такой прием вряд ли принесет пользу молодому автору и не имеет ничего общего ни с традицией нашей классической литературы, ни с заветами Горького.

*А. Балашов.*



### КНИГА О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

*Федор Трофимов. Воз березовых дров.  
Петрозаводск, 1959.*

Повесть Федора Трофимова «Воз березовых дров» полна веры в добрую природу советского человека, в красоту его. Тезис этот автор обосновывает не искусственным сочинением условно добродетельного героя, не напряжением фантазии. Он обращается к самой жизни, к простым, рядовым людям.

Трофимов рисует железнодорожника, машиниста Алексея Андреева, незаметного с виду, ничем не прославленного человека, — но постепенно перед читателем раскрывается героическая, волевая натура. Алексей подымает «миллионное дело». Однако слово «миллионщик» автор полемически заостряет, заставляя читателя мысленно сравнивать содержание этого понятия в прошлом и в настоящем.

В литературе нашей с недавних пор пошли рабочие династии: Журбины и Ершовы у Кочетова, Крупновы у Коновалова. У Трофимова — Андреевы. У Андреевых есть свои собственные черты: тяга к труду, причем к труду нелегкому, чувство поэзии

труда. Есть в них гордость и то, что в Ломоносове называли «благородной упрямкой» — черта русских северян. Таковы, например, Валентина Платонова, сильная, преданная душа, злая на работу, старик Андрей Логинович, решивший, несмотря на годы, возглавить запущенный колхоз. Такие и многие другие положительные качества создают определенный человеческий тип в повести, хотя свойственны они людям различных характеров и не прикреплены только к одному семейству Андреевых. Интересен образ шофера Федорова, человека активного, решительно вмешивающегося в события, настоящего бойца партии. Запоминается Тарасов, секретарь райкома, который особенно ярко раскрывается в той главе, где показывается заседание бюро.

Мы уже не впервые сталкиваемся с книжкой, написанной на основе опыта газетной работы. Поневоле подходишь настороженно: удалось ли автору художественно осмыслить фактический материал? Ведь за материалом повести угадываешь итоги поездок газетного корреспондента. Вывод, однако, делаешь один: повесть получилась, и повесть нужная, заметная.

Читая некоторые романы, иной раз начнешь сомневаться: по силам ли изображенным в них людям выполнение наших новых больших задач? А вот о героях повести «Воз березовых дров» хочется сказать уверенно: именно с такими людьми осилим мы любые наши планы. Заслуга Трофимова в том, что он сумел рассказать о хороших советских людях просто, естественно, без лакировки и напыщенности и уж, конечно, без малейшей тени очернительства.

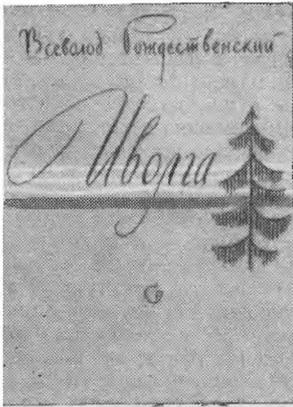
К сожалению, книга не лишена недостатков, появившихся в результате некоторой спешки.

Психологически фальшиво, с бахвальством, звучат слова Андрея Логиновича: «Вот мы какие, за правду голову на плаху положим», хотя он же сердился на газетчика, который разрекламировал его в статье. Штампом отдает изображение наружности Платоновой — «темные бездонные глаза». Эти слова ровно ничего не говорят. Запоминаем мы не слова, а поступки героини. Но нельзя ли поискать краски и для создания внешнего облика, тем более что Платонова красива!

При изображении детей Трофимов не избежал сентиментальности. Эти чувствительные места надо бы дать несколько иначе, более по-мужски. Психологически ложно, что Миронов, скрывающий свое любопытство по поводу судьбы Вали и бережно умалчивающий о ней, вдруг бестактно и неосторожно спрашивает ее дочь: «Где у тебя мама?» Это ломает образ Миронова.

Книга Трофимова вызвала горячий обмен мнениями на состоявшейся осенью 1959 года декаде карельской литературы и искусства. Нужно полагать, что в новом ее издании автор несомненно использует критические замечания и пожелания своих товарищей.

*Е. Павлова.*



## ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК ПОЭЗИИ

Всеволод Рождественский. *Иволга*.  
„Советский писатель“, Л., 1958.

Новая книга стихов Всеволода Рождественского «Иволга» включает в себя главным образом стихи недавно написанные и в то же время в какой-то мере подводит итоги многолетней работы автора «Гранитного сада», «Земного сердца» и множества других книг, широко известных читателю. Во всяком случае в заключительном стихотворении сборника поэт говорит о завершенном им «заветном деле жизни», счастливый тем, что жил в такое время и смог многое увидеть в мире своими глазами:

Вручен мне был век достойный.  
Должно быть, я был рожден,  
чтоб знать и голод, и войны,  
и доблестный шум знамен.

Поэтом я был, солдатом  
и просто одним из тех,  
кто знал, расщепля атом,  
что сила в нем — мир для всех.

Есть в новом сборнике Вс. Рождественского стихи широкого общественного звучания, больших политических обобщений. Таковы, например, «Старое знамя» и «Пулковские высоты». В первом из них поэт вспоминает о старом, прославленном знамени, которое еще «не носило бахромы тяжелой и оплетенных золотом кистей», том знамени, на котором написано «Вся власть Советам!» написано широко, через «ять»:

Преклоним пред полотнищем багряным,  
прошедшим через бурные года,  
как перед незабвенным ветераном,  
знамена нашей славы и труда.

В стихотворении «Пулковские высоты» память о воинских подвигах сравнивается с немеркнущим светом догоревших звезд, которые мы видим, хотя их нет:

Знаю я, что, подобно звездам,  
будут живы и подвиги чести,  
что о них негасимые вести  
мы услышим всегда и везде.

Много в сборнике «Иволга» чудесных стихов о русской природе. Их больше всего, и не случайно оба раздела книги носят названия «В русской природе» и «Под небом родины». Пейзажи, нарисованные Вс. Рождественским, весьма разнообразны: здесь и среднерусская природа, и Днепр с его строительством, и «зеленая» Грузия, и «сизые отроги» Тянь-Шаня, где «колхозная

делится строго вода, целый год садоводы-узбеки, говорливых арлыков плетя невода, разбивают на ниточки реки». Здесь и южные и северные моря, советская Латвия, белые ночи в Таллине. Проникновенные строки посвящены поэтом его родному городу — городу Пушкина («Перелески», «Парк в городе Пушкина»). Вс. Рождественский прекрасно понимает природу, разговаривает с нею, входит в нее как нераздельная часть ее. Он сам хотел бы «рухнуть тяжким ливнем на скошенные поля». Он воспринимает хитро разукрашенные «наличники резьбы узорной, столбики точеного крыльца» в ярославской деревне, как сложенную прадедом «песню резную и деревянную, радостную, как ранняя заря», и убежден, что плотник учился у природы:

Брал он щедро от родной природы  
все, что трудовой принесит год:  
облаков легучие разводы,  
елочек и сосен хоровод,  
поля колосистые просторы,  
радуги излучку над селом  
и окна морозные узоры,  
вышитые тонким серебром.

Превосходны такие стихи Вс. Рождественского о природе, как «Ветер», «Клевер», «Легенда», «Жеребенюк». Очень интересно стихотворение «Когда слова случайны и просты», в котором человеческие лица сравниваются с разнообразными пейзажами. Это чрезвычайно характерно для такого страстно влюбленного в природу поэта, который может восторженно утверждать:

В тебе величье моего народа,  
его души бескрайние поля,  
задумчивая русская природа,  
спокойная красавица мол!

Стих Вс. Рождественского удивительно прозрачен, чист, ясен. Он находится целиком в рамках русской классики. Но здесь поэт порой подстерегает опасность излишней старомодности, традиционных «костров рябины», прощаний с перелетными птицами, «которые к нам вернуться весною, чтобы вновь щебетать под окном». Тогда его стихи начинают слишком напоминать что-то давно читанное раньше. Прочтешь, например, такую строфу:

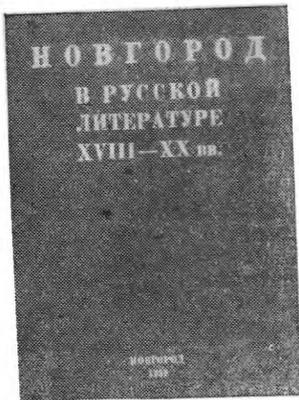
Вот радуга полукольцом  
над сизым лесом встала,  
вот и малиновка крылом  
в листве затрепетала —

и сейчас же вспоминаются одновременно два классических стихотворения: по размеру и интонации это А. К. Толстой («Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий»), а в то же время здесь так и просвечивают широкоизвестные строки А. Фета: «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало». Для такого опытного поэта, как Вс. Рождественский, это, разумеется, случайный, хотя и досадный недосмотр.

Прочитав «Иволгу», невольно хочешь сказать о своем впечатлении словами самого поэта:

Быть может, это и не ново,  
а песня все же хороша,  
поэт сказал одно лишь слово,  
но в этом слове — вся душа!

И. Михайлов.



## РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О НОВГОРОДЕ

*Новгород в русской литературе XVIII—XX вв.  
Новгород, 1959.*

23 августа 1959 года новгородцы широко отмечали славную дату — 1100-летие родного города. К этой знаменательной дате книжная редакция газеты «Новгородская правда» выпустила ряд книг по истории и культуре юбиляра. Среди них привлекает внимание тематический сборник «Новгород в русской литературе XVIII—XX вв.». Составителем его и автором предисловия и примечаний является А. Жаворонков.

В книге собрано сто пять текстов. Кроме широко известных, приведены отрывки произведений, погребенных в старых журналах. Так, А. Жаворонкову удалось разыскать в журнале «Юная Россия» произведение Д. Мамина-Сибиряка «Славен город Великий Новгород». Оно не вошло ни в одно собрание сочинений писателя и перепечатывается впервые. То же можно сказать и о его рассказе «Сударь Пантелей» в Ивановиче, затерянном в журнале «Детское чтение». Законное место в сборнике заняли фольклорные произведения о Новгороде.

Книга рассчитана на широкие читательские массы, но вызывает она интерес и у специалистов — литературоведов, историков, исследователей русской общественной мысли. Сборник содержит большой сводный материал, раскрывающий позиции художников слова в решении таких важных вопросов, как происхождение русского государства, преимущества республиканского правления, освободительные войны новгородцев, присоединение Новгорода к Москве и др. В сборник вошли тексты А. Сумарокова, Я. Княжнина, А. Радищева, Н. Карамзина, В. Жуковского, Д. Веневитинова, В. Нарезного, а также писателей-декабристов А. Бестужева-Марлинского, П. Пестеля, К. Рыльева, В. Кюхельбекера,

А. Одоевского. Здесь же помещены отрывки из произведений Пушкина, Лермонтова, революционеров-демократов — Белинского, Герцена, Добролюбова, Огарева, Михайлова и других.

А. Жаворонков справедливо замечает, что новгородская тематика имела общественное значение. Обращаясь к историческому прошлому, каждый писатель в то же время решал (в рамках своего мировоззрения) и животрепещущие проблемы современности. Привлекает светлый образ новгородца Вадима, трактуемый передовой литературой как образ борца за свободу народа, тираноборца, воителя против угнетателей. Аппелируя к прославленному герою, декабристы стремились воспитать среди «сограждан» дух протеста, подлинного патриотизма, воспитать в России новых Вадимов.

А. Жаворонков утверждает, что широкое обращение к Новгороду с его былой славой и гражданственностью способствовало росту и подъему национального самосознания русского общества, росту патриотических настроений. Особенно ярким подтверждением этому служит деятельность декабристов, которые в республиканской истории Новгорода искали подтверждения своим прогрессивным идеалам. Убеждает трактовка составителем и революционно-демократической литературы. В условиях николаевской реакции Новгород превратился в захудалый провинциальный городишко, куда ссылались опальные передовые деятели. Образы новгородской вольницы и республики, созданные передовыми литераторами, становятся мощным оружием воспитания и борьбы с самодержавием.

Новгородская тема приобретает яркое гражданское звучание.

В литературный обиход А. Жаворонков вводит еще одно имя, забытое в наши дни, — Ивана Можайского (дядя Пахом). Это был поэт-новгородец, талантливый представитель некрасовско-добролюбовской сатирической школы, оставивший интересные и своеобразные зарисовки родного города.

Наш народ стал преемником славного исторического и культурного наследия далеких предков, наследником трудовой и боевой славы новгородцев, строивших прекрасные архитектурные сооружения и защищавших свои рубежи от многочисленных захватчиков. Об этом красноречиво говорят произведения советских писателей.

Сборник представлен именами С. Есенина, К. Симонова, А. Прокофьева, Вс. Рождественского, С. Щипачева, С. Орлова, А. Югова, Вл. Солоухина, Ан. Субботина, Вал. Иванова, Вс. Кочетова, А. Чистякова и другими. Книгу завершают хорошие, добротные стихи талантливого новгородского поэта В. Соколова.

О том, удачны или неудачны те или иные тексты, приведенные в книге, можно спорить. Но несомненно одно: книга нужная, полезная, и увлечет она не только новгородцев, но и более широкие читательские массы.

*В. Тюрич.*

# Искусство

С. Цимбал

## ЧЕХОВ С НАМИ

Рис. А. Галеркина.

**Ч**еатральная судьба Чехова была сложна и противоречива. Полуудача в театре Корша («Иванов»), оглушительный провал в Александринке («Чайка») и потом — сразу — свой театр, самый молодой, дерзкий и беспокойный в России — Московский Художественный.

— Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, — говорил В. И. Немирович-Данченко на премьере «Вишневого сада», состоявшейся более пятидесяти пяти лет назад, — что ты по праву можешь сказать: это — мой театр!

Мало кому из драматургов удавалось с такой силой и точностью выразить самые интимные и самые характерные душевные движения своих современников. И мало кому довелось столкнуться с таким разительным и упорным непониманием, каким были встречены лучшие его пьесы.

«Бессилие желаний есть основной мотив чеховских произведений наиболее зрелого периода... И в «Дяде Ване», и в «Вишневом саду», а в особенности, в «Трех сестрах» — одна и та же пружина бездействия действующих. Чеховским людям абсолютно ничего не дано совершить даже в узком кругу их личных чувств. Их страсть — страстишка; их любовь — любовишка», — писал А. Кугель. И это было не просто личное мнение критика. Слова эти отражали широко распространенные роковые заблуждения в истолковании пьес великого, доброго и страстного жизнелюба.

Его творческое счастье не могло быть полным уже по одному тому, что далеко не всегда его понимали. Необыкновенно поучительна в этом смысле спеническая история последней пьесы Чехова — «Вишневого сада». Известно, что в процессе работы Художественного театра над этой пьесой между Чеховым и театром то и дело возникали более или менее значительные разногласия. Автор настаивал на том, что он

написал «комедию, местами даже фарс», а К. С. Станиславский плакал, читая «Вишневый сад», и считал пьесу трагедией. Поиному, чем это было сделано театром, представлял себе Чехов распределение ролей (особенно настаивал он на том, что Лопухина должен играть сам Станиславский, что роль эта — центральная). Ревниво и придиричливо относился он ко всякого рода постановочным деталям — к неудачному, никак не получавшемуся «звучу лопнувшей струны» или к злосчастному птичьему гомону, который должен был, по мысли режиссера, аккомпанировать самым важным диалогам. Чехов решительно не принимал этот аккомпанемент: «Хочет лягушек и коростелей! — восклицал он в письме к О. Л. Книппер. — Его надо удержать от этого».

«Вишневый сад» сразу же вошел в репертуар большого числа театров страны. В том же 1904 году, в котором ее поставили в Художественном театре, пьеса прошла в Киеве, Ростове и многих других городах. Судя по отзывам газет, «Вишневый сад» повсеместно трактовался как лирическая драма, и дело тут было не в одном только влиянии Художественного театра. Повидимому, такая трактовка более всего отвечала настроениям времени, общественному восприятию слов Ани и студента Трофимова: «Прощай, старая жизнь!» «Здравствуй, новая жизнь!»

Многолетняя полемика вокруг «Вишневого сада», полемика, которой суждено было продолжаться и в послереволюционные годы, грубо говоря, сводилась к тому, какой из двух возгласов резюмирует пьесу, ради какого из них она написана.

Уже в советское время большинство истолкователей Чехова, литературоведов и режиссеров с необыкновенным удовольствием цитировали определение жанра «Вишневого сада», которое было дано самим писателем. Как удобно и легко можно рассуждать о разоблачительном, сатирическом пафосе пьесы, опираясь на авторское опре-

деление жанра пьесы! И заодно наносить удары Художественному театру, якобы превратившему жизнерадостного шутника Чехова в элегического вздыхателя о прошлом. Так, Ленинградский театр Комедии предпринял в 1926 году первую попытку «вернуть Чехова Чехову». Режиссер К. Хохлов поставил «Вишневый сад», предупредив в интервью, данном перед премьерой, что его трактовка полностью основывается на тексте пьесы, что он ничего в этом тексте не меняет, а только «перемонтирует эмоции», возвращая персонажам отнятую у них комедийную остроту... А о том, как сильно было на него влияние вульгарно-социологической демагогии, Хохлов, видно, и не подозревал. Стараясь во что бы то ни стало вскрыть «комедийную основу» пьесы, он заставил замечательную актрису Е. Грановскую, исполнительницу роли Раневской, играть игривую и стареющую дурочку, умудрившуюся до весьма зрелых лет сохранить психологию семнадцатилетней ветреницы. В пьесе Чехова звучит гневный и звонкий голос Пети Трофимова, голос завтрашнего дня, а в спектакле Петя изображался как слюнтяй, рохля, безбидный простачок...

Много лет спустя, уже перед самой войной, на сцене Большого Драматического театра имени Горького Грановская снова сыграла Раневскую (постановка П. Гайдебурова). И только теперь можно было понять, как обезоружил в свое время, обескровил актрису нелепый и спекулятивный по самой своей сути прежний режиссерский замысел. Мне не довелось видеть первых исполнительниц роли Раневской на сцене Художественного театра, но только увидев Раневскую—Грановскую в спектакле Большого Драматического театра, я смог представить себе истинно комедийную атмосферу «Вишневого сада», о которой говорил Чехов. Как далеко было на этот раз исполнение Грановской от назойливого и бестактного шутовства, показанного в свое время на сцене Театра Комедии! Новая Раневская,—та, которую актриса сыграла в Большом Драматическом театре, вовсе не стала умной и печальной барыней, не лишилась простодушия, беспомощности. Все



Нина Заречная — Н. В. Мамаева.

это сохранилось в ней. Но все обрело живую и трогательную человечность. Грановская играла человека, который действительно ничего не видит вокруг себя, не понимает людей, не знает их действительных потребностей, то и дело попадает впросак, оказывается в смешном положении, но отнюдь не перестает жить своими грустными и вполне искренними воспоминаниями.

Грановская как бы приучила зрителей к мысли о том, что ее Раневская вся на поверхности, вся наружу, что она — человек без тайн, — и как актриса чуть лукавила при этом. Потому что в последнем акте — в мучительной сцене прощания с усадьбой, с обреченным вишневым садом, с близкими — вдруг выяснилось, что она многое тщательно таила в себе, с чем-то важным в душе своей не хотела расставаться до самой последней минуты.

Сколько бы ни предпринималось попыток поверхностного и чисто формального режиссерского пересмотра чеховских пьес, все равно правда характеров, созданных великим писателем, в конечном счете побеждала. Но во многих случаях победы эти обходились не дешево.

В течение длительного времени в критической литературе о Чехове-драматурге раздавались настоячивые призывы отойти от мхатовского истолкования его пьес. Отойти не потому, что традиция должна развиваться, а потому, что мхатовская традиция якобы была ложной и противоречила самому строю и содержанию драматургии Чехова. «Пьесы Чехова, — писал журнал «Театр и драматургия» в 1935 году, когда отмечалось семидесятилетие со дня рождения писателя, — ждут своего раскрытия, отличного от того прочтения их, которое давал в свое время Художественный театр». Требование ставить Чехова непременно по-иному, чем его ставил Художественный театр, выдвигалось как требование программное, как обязательное условие жизни Чехова на советской сцене.

Если, в силу своей прямолинейности, давний ленинградский опыт нового истолкования «Вишневого сада» был очень скоро забыт, то московская постановка «Вишневого сада», осуществленная в 1934 году в Театре-студии под руководством Р. Сиимонова, долгое время оставалась в самом центре театральной жизни страны. Ставил пьесу А. Лобанов на основе придуманного им и далекого от истинного содержания пьесы Чехова «режиссерского варианта». Социологическая схема подменила в спектакле поэзию необыкновенно ясно развивающихся чеховских характеров. Картина, нарисованная Чеховым, сама по себе не интересовала режиссера. Гораздо больше волновала его возможность через Чехова показать на сцене свое представление об эпохе.

Вот особенно характерная сцена: у Чехова во втором действии пьесы Петя Трофимов объяснялся с Аней, объяснялся на поле, под открытым небом, говорил горячо, связывая любовь со своими общественными идеалами:

— Будьте свободны, как ветер!

Это и интимное любовное признание и призыв разделить с ним трудности будущей борьбы. И как бы ни был широк общий смысл этого призыва, он обращен у Чехова именно к Ане и только к ней.

Режиссеру показалось, что этого мало. Мотив любовного объяснения он вообще изъясил. Стремясь усилить общественный смысл слов Трофимова, Лобанов перенес место действия в закрытое, полутемное помещение, ввел в сцену целую группу юношей и девушек. К ним-то и обращался Трофимов, призывая «быть свободными». Лирическое признание, по замыслу режиссера, должно было превратиться в политическую речь, а на деле оказалось пустым фразерством...

То и дело постановщик демонстрировал свое коварное умение извлекать из авторского текста «иной» смысл. Он изобличал Раневскую так же грубо и прямолинейно, как это делал Хохлов; назойливо обнажал классовую сущность Лопахина и для этого заставлял его по-хозяйски греметь ключами от усадьбы в сцене отъезда Раневской. Гремел он ключами в такт оркестровому сопровождению, а сцена получалась, как острили рецензенты, весьма бестактная. Словом, поэтическая правда Чехова и на этот раз была принесена в жертву социологическим домыслам.

Но сколько бы ни предпринималось попыток «исправить» Чехова при помощи внешних средств театральной выразительности, они не могли принести успеха. В одних случаях Чехов сам заступался за себя и покидал сцену, на которой его слишком усердно переиначивали. В других за него заступались актеры, художественный инстинкт которых всячески сопротивлялся надуманным режиссерским концепциям и догадкам.

Можно пересчитать по пальцам чеховские спектакли, осуществленные на подмостках советских театров в конце двадцатых и в первой половине тридцатых годов. Уже само по себе обращение к Чехову считалось в те времена свидетельством режиссерской смелости и к тому же предприятным в высшей степени рискованным. Но уж если режиссеры шли на такой риск, то только для того, чтобы в любой форме и степени поспорить с Чеховым и показать свое идейное превосходство над ним. Слишком откровенное и бесперемонное вторжение в чеховский текст уже не приносило режиссерам лавров. Зато пышно расцвела так называемая «внутренняя перетрактовка образов», перемещение психологических акцентов, подмена подтекста...

В постановке «Трех сестер», осуществленной в 1935 году И. Кроллем, режиссером талантливым и своеобразным, такого рода перемещения, сдвиги и переакцентировки были сделаны безо всякого видимого насилия над чеховским словом. Любовно были истолкованы в этой постановке эпизодические фигуры пьесы — старый слуга Прозоровых Ферапонт, юные завсегдаги прозоровского дома Федотик и Родэ, нянька Анфиса, тонко исполнялась А. Жуковым роль учителя Кулыгина. Зато в



Аня — Л. И. Макарова.

истолковании главных действующих лиц пьесы режиссер противопоставил свое понимание людей пониманию Чехова. И, конечно, потерпел неудачу. Грустная и нежная чеховская Ирина превратилась в спектакле чуть ли не в суфражистку, Вершинин — в банального сердцееда. Режиссер решил во что бы то ни стало «перецеголять» Чехова и даже вывел для этого на сцену... председателя управы Протопопова.

Появление Протопопова на сцене было отзвуком той уже ушедшей в прошлое режиссерской эпохи, когда в чуть ли не любой театральной программе, наряду с действующими лицами, обозначенными автором, можно было встретить «персонажей, введенных режиссурой». Ко дням чеховского юбилея 1935 года режиссура уже не решалась идти слишком далеко по пути подобного сочинительства, однако соблазн выводить на сцену людей, только подразумеваемых или упоминаемых автором, еще не был побежден.

Анализируя «Вишневый сад», Н. Петров, ставивший пьесу в Харьковском театре русской драмы, перечислял в своей экспозиции так называемых «внесценических персонажей». Перечень получался очень внушительный: тут были и отец Лопахина, и Федор Козюков, отец Дуняши, и Гриша, утонувший сын Раневской и муж Раневской, и любовник Раневской, и ярославская тетушка, и отец Пети, аптекарь, и многие, многие другие. К чести Петрова надо сказать, что он не выводил их на сцену, а рассматривал только как вспомогательный материал, необходимый ему для понимания и воплощения образов пьесы. Тем не менее этот преувеличенный и нездоровый интерес к персонажам бесплотным, похожим на призраки, был сам



*Лопазин — Б. Г. Добронравов.*

по себе очень типичен для режиссерской методологии тех лет.

Пренебрежение законами поэтики и стиля драматурга жестоко мстит за себя даже тогда, когда оно вызывается самыми честными истолковательскими намерениями, самыми добрыми современными идеями. За последнее время исследователи чеховского театра сделали немало для того, чтобы восстановить в законных правах истинного Чехова, свободного от вульгарно-социологических наслоений, не нуждающегося в каких бы то ни было искусственных сценических оправданиях и назойливых режиссерских комментариях. Добросовестный драматургический анализ произведений писателя одновременно показывает со всей очевидностью, что далеко не все из того, что было сказано самим Чеховым, стало живым достоянием театра. Нет поэтому никакой необходимости заниматься нескромным сочинительством и, перематывая пьесы замечательного нашего драматурга, искать то, чего в них нет и не может быть.

Упомянувшиеся мною эксперименты в общем не давали сколько-нибудь ощутимых положительных результатов и приводили, как правило, к вульгарной, грубо опрошенной, художественно фальшивой трактовке чеховских образов. Но вовсе не потому, что новое прочтение Чехова вообще невозможно и нужно раз и навсегда отказаться от стремления ставить и играть его по-современному. О том, что такое новое прочтение вполне достижимо, и о том, какие замечательные результаты оно способно принести, свидетельствует последующий опыт самого Художественного театра. Он долгое время считался ревнителями «переосмысления классики» виновником «искажения» Чехова. Но вот весной 1940 года на сцене Московского Художественного театра была показана

заново осуществленная В. Немировичем-Данченко постановка «Трех сестер». Она ознаменовала собой начало новой эпохи в отношениях советского театра с великим Чеховым.

Настоящее творческое мужество и глубокая вера в драматурга были проявлены Немировичем-Данченко в этом возвращении почти через сорок лет к пьесе, которая однажды уже получила на сцене того же театра законченное и новаторское для своего времени воплощение. Сам Немирович, как известно, почти не работал над первой сценической редакцией «Трех сестер», но в общем решении спектакля несомненно участвовал. Именно он произнес тогда вступительную речь перед началом репетиций, которые вел в дальнейшем К. Станиславский, и определил в своей речи то направление, которые должны были получить мысль и воображение исполнителей при воплощении образов пьесы.

Прожив большую и славную жизнь в театре, старый мастер снова взял пьесу в руки и со всей ясностью сказал актерам: «Никогда я не был так убежден, как сейчас, в том, что в той полосе искусства, какую сейчас овладевает Художественный театр, Чехов засверкает с новой силой и в новом свете, освобожденный от сентиментальности, часто заменявшей глубокую лирику». Свою новую работу над пьесой Немирович вовсе не рассматривал как полемическую по отношению к старому спектаклю.

Трудно, почти невозможно перечислить те конкретные коррективы, которые внес В. Немирович-Данченко в свою интерпретацию «Трех сестер». Да он и не стремился к такого рода внешним новациям. Репетируя спектакль 1940 года, он подчеркивал, например, что ни в коем случае не следует превращать чеховских героев в активных борцов, в людей деятельной, созидательной мечты. Подобное превращение было бы наивно и уж во всяком случае противоречило бы реальному содержанию пьесы. Но терзаемые жизнью и так мало от нее получившие люди находят в себе силы и мужество для того, чтобы мечтать, верить в будущее. Уже это одно достойно уважения. В самой жизни Прозоровых ничего не изменилось с тех пор, как «Три сестры» были впервые поставлены на сцене Художественного театра. Так же страстно и так же бессильно рвутся они душой «в Москву, в Москву», в будущее, в завтрашний день. Но хоть и не сбылись их желания, хоть и не дано им было ускорить приближение завтрашнего дня, все равно их мечта поднимала их, помогала им жить, верить себе и уважать себя.

Подлинно современную тональность спектакля создали общая его атмосфера, светлая и приподнятая, его мажорный ритм вечно торжествующей жизни, которая всегда сильнее частных человеческих судеб и горестных, мучительных обид и разочарований. В спектакле была найдена прямая связь между первым действием, днем рождения Ирины, праздничным, солнечным,

беззаботным, — и финалом, когда Ольга произносит свое обращение к будущему: Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас... Только в финале Немирович-Данченко как бы «пригушил» скептическое чебутыкинское «Все равно! Все равно!», его шутовскую и до боли неуместную «тарарабумбию». Не нужно бы сбивать глубокую серьезность и значительность последних слов Ольги. Звуки военного марша удалялись и стихали, навсегда уходили из прозоровского дома Вершинин, Федотик, Родэ и Соленый, навсегда ушел из жизни «несбывшийся человек» Тузенбах, но размышления Ольги — Еланской походили не столько на прощание, сколько на приветствие. В них не было кощунственной, наигранной бодрости. Зато в ее тихих и полных безграничного душевного достоинства словах слышалась та самая трудная, выстрадавшая вера в жизнь, ради прославления которой и была написана пьеса.

Немировичу-Данченко удалось самое важное. Во всем строе спектакля, в том удивительном тепле, которым были согреты отношения между его героями, в его конкретной психологической достоверности — угадывался сам Чехов, большой, мудрый и сердечный человек.

Поставив в свое время «Бронепоезд 14-69», театр доказал, что ему по плечу вторжение в новую революционную действительность; в работе над «Врагами» театр проник в глубины воинствующей социальной философии Горького и произнес беспощадный приговор над Скроботовыми и Бардинами. Но заново осмысливая образ чеховских «Трех сестер», театр решил задачу не менее трудную — храбро встретился со своим собственным прошлым и во встрече этой проявил одновременно и глубокое уважение к нему и дерзкую новизну своих нынешних художественных взглядов, верность своим давним исканиям и готовность продолжить и расширить их.

Сочинение нового подтекста, подмена одних смысловых мотивировок другими — дело относительно простое и вполне доступное даже очень поверхностным режиссерам и актерам. Намного труднее путь, которым шли при исполнении «Трех сестер» актеры Художественного театра. Примечательным было в этом смысле исполнение Н. Хмельвым роли Тузенбаха. Тузенбах — Хмельев во всех своих размышлениях оставался наедине с самим собой; он не столько разговаривал, сколько думал вслух, сам себя убеждал, сам себе доказывал, сам с собой спорил. Вопреки своему относительно многословию, он воспринимался в спектакле как самый замкнутый и погруженный в себя человек — даже произнося слова, он как бы продолжал молчать. Хмельев очень тонко передавал эту особенность своего героя. Интонации Тузенбаха были бесцветны и утомительно однообразны, часто не согласовались со



Сорин — Ю. В. Толубеев.

значением того, что он говорил. Должно быть, Хмельев понимал, что это — личность скучная и почти плоская и что сам Тузенбах это знает, ощущает и поэтому отравлен обидой. Но, как это ни печально, обижаться ему было, собственно говоря, не на кого и ненавидеть тоже некого. Единственный человек, который мог бы вызвать в нем активную неприязнь, — Соленый, но и в нем Тузенбах угадывал душу одинокую и несчастливую, человека, обойденного теплом и любовью, такого же, как и он сам, неприкаянного и бездомного.

Тузенбах Хмельева родился из долгих размышлений актера об образе, в процессе постепенного сближения с ним. Живое, творческое воображение подсказало актеру истинно чеховское в его герое и помогло ему найти свое собственное решение роли, не отступая ни на шаг от правды созданного Чеховым характера. Вместе с Тузенбахом актер мечтал, вместе с ним раздумывал, фантазировал, искал правду и смысл существования. Процесс формирования и развития спенического образа происходил у Хмельева как процесс мыслительный, как цепь напряженных умственных усилий, направленных к распознаванию сложного и противоречивого человеческого характера, в котором так причудливо сплелись душевная одаренность и заурядность, сила и слабость, страсть и равнодушие.

Рядом с Тузенбахом — Хмельевым возникла в спектакле Художественного театра по-другому сложная и по-другому противоречивая фигура Соленого, которого в очень остром и неожиданном рисунке играл Б. Ливанов. Большой, неестественно выпрямленный, словно весь накрахмаленный, он ходил по дому Прозоровых упрямыми, размеренными шагами и каждое слово произносил содрогаясь, стгорая от ненависти и отвращения. Зависть ко всему живому, к умению людей чувствовать и проявлять свои чувства, высказываться и убеждать, надеяться и верить — ожесто-



Профессор Серебряков — Я. О. Малютин.

чила его. От напряжения и внутренней скованности он не в состоянии был произнести слова в простоте, кривлялся, балаганил, изрекал idiotские афоризмы, отлично при этом понимая нелепость собственного поведения, бессмысленность и пошлость своей игры. Таким людям, как Соленый—Ливанов, нравится любить, но еще больше нравится ненавидеть своих соперников, воображаемых и действительных; их не на шутку волнует испытываемая душевная страсть, но еще больше будоражит их злое и тоскливое чувство своей отверженности.

Ливанов не торопился компрометировать Соленого, но и не желал утаивать ничего из того, что увидел в этом нелепом, изуродованном характере. В отличие от Хмелева, который более всего был движим мыслью и внутренней жизнью Тузенбаха, Ливанов воодушевлен был стремлением передать внешнюю несообразность Соленого. Многие в поведении этого человека можно было бы как-то понять, если бы оно диктовалось его развинченностью, бездушием или озорством. Но все, что делал Соленый, он делал натужно, с каким-то скрытым смыслом, заведомым и злым намерением, — поэтому его колкости, дурацкие выходки и обиды казались особенно мерзкими. Он сам придумал себя и породил на свет неслыханного уродца, внушающего отвращение и страх. Точно так же сам он приговорил себя к бессмысленной вражде с окружающими его людьми. Естественно поэтому, что именно он стал убийцей Тузенбаха, единственного, быть может, человека, который искренне пытался его понять.

В. Немирович-Данченко, а вслед за ним и все исполнители спектакля избегали какой бы то ни было модернизации Чехова,

но зато стремились к последовательному уточнению и обострению всех внутренних психологических конфликтов пьесы. Заведомое представление о чеховских героях как порождении тяжкого безвременья — уступило на этот раз место глубокому и конкретному исследованию индивидуальных характеров, обстоятельств и отношений, раскрываемых в пьесе. Если даже и верно, что все чеховские персонажи безнадежно несчастны, то уж во всяком случае несчастны они каждый очень по-своему и воспринимают свое несчастье тоже отнюдь не одинаково.

Нужно было выполнить эту первейшую обязанность по отношению к пьесе, чтобы убедиться в том, что никакого «нытья» в ней нет, что, наоборот, многие из действующих в «Трех сестрах» людей необыкновенно стойко переносят свою участь, не смиряются внутренне с нею, что они полны душевного здоровья, молоды и не теряют веры в жизнь даже тогда, когда жизнь безжалостно бьет их. Нужно было внимательно и неллицеприятно проследить действительные линии образов пьесы для того, чтобы найти неиссякаемые источники ее оптимистического современного звучания, для того, чтобы понять, что пьеса не нуждается в искусственном оживлении, а сама продолжает жить и сегодня. Притом воплощенная в ней жизнь — это не только материал для исторического исследования, требующий своего нового социального осмысления, но и та никогда не теряющая своего значения реальная и, стало быть, многогранная, многослойная человеческая жизнь, которая связывает прошлое с настоящим и будущим.

Постановка «Трех сестер» была сокрушительным ударом по всем и всяческим извращениям Чехова, но факты свидетельствуют о том, что нет-нет вульгаризаторы и приверженцы схем поднимают головы и напоминают о себе.

Уже много лет спустя после постановки «Трех сестер» Немировичем-Данченко на страницах журнала «Театр» (№ 7 за 1954 г.) появилась статья исполнителя роли доктора Чебутыкина в «Трех сестрах» А. Грибова: «Правда образа». Статья эта, как мне кажется, очень ярко характеризует нынешний этап отношения мастеров театра к драматургии Чехова и ту активную позицию, позицию мыслящих, творчески самостоятельных художников, которую занимают сегодняшние советские актеры по отношению к образам чеховского театра. Советский актер не верит на слово исследователям-литературоведам и режиссерам. Он сам готов к теоретическим спорам во всех случаях, когда его понимание образа вступает в конфликт с истолкованием.

Поводом для написания статьи послужило полученное Грибовым письмо, автор которого просит известного актера помочь ему в правильном истолковании чеховского «Злоумышленника». Товарищ автора письма, анализируя образ «злоумышленника» Дениса, пришел к здравому заключению, что «речь Дениса — не что иное как признак его скудоумия, забитости,

отсутствия какого-либо понимания дела», но сам автор письма с этим слишком снисходительным выводом не согласился и иначе толкует образ. «В творчестве Чехова, — писал он Грибому, — наряду с темой отмирания дворянства как класса, с темой вырождения «дворянских гнезд» выводится тема новых отношений в обществе, отношений капиталистических, и вместе с этим появление нового человека — порождения капиталистического общества, человека практического, с характерными чертами хищника, но вынужденного приспособляться к новым условиям, вынужденного хитрить. Примером этого типа в произведениях Чехова являются Лопухин («Вишневый сад») и Денис».

Соорудив свою топорную социологическую концепцию, автор письма пришел к ошелмляющему своей смелостью выводу, что «Денис действительно хитрит перед следователем, он только надел маску скудоумного крестьянина, а на самом деле — это хитрый собственник, который не брезгует даже гайкой для скопления «капитала» в своих корыстных целях». Как видно, яд беззастенчивого вульгарного социологизма, доставшийся нам от давно ушедших времен, еще продолжал действовать в сознании автора письма, когда он придумывал свою анекдотическую трактовку образа Дениса. Но дело, конечно, не в этом незадачливом интерпретаторе, а в том, что микробы вульгарносоциологического школярства, по-видимому, очень живучи и не так-то просто с ними бороться, тем более что сложные разновидности произвольной и предвзятой трактовки чеховских образов можно встретить и в работах авторитетных исследователей, много думавших над Чеховым и многое сделавших для его изучения.

Свою статью А. Грибов писал потому, что он, как актер, который на протяжении целого ряда лет исполнял в спектакле Художественного театра роль Чебутыкина, сжилась со стариком и полюбил его, — не мог пройти мимо той несправедливой и необоснованной характеристики своего героя, которую встретил не только в нелепых рассуждениях случайного корреспондента, но и в серьезном и талантливом исследовании советского ученого В. Ермилова «Драматургия Чехова». В оценке Чебутыкина Грибов с полным основанием счел себя лицом заинтересованным и горячо заступился за него.

В книге Ермилова содержится резкое и последовательное осуждение Чебутыкина. Развивая свою собственную концепцию чеховской драматургии, утверждая, что «Чехов прежде всего писал жизнь, как она есть», Ермилов в конкретном анализе образов пренебрегает в ряде случаев требованиями истории и изображает Чехова как нелицеприятную судью над прошлым. Такая трактовка классика всегда соблазнительна, ибо позволяет исследователю видеть в его творчестве только то, что соответствует его собственным представлениям об эпохе и ее людях. Но там, где Ермилов становится на эту позицию,

тонкие и умные наблюдения уступают в его работе место грубым опеночным эпитетам, торопливой расправе с чеховскими героями. И, несмотря на то, что Ермилов часто оговаривается, предостерегает актеров от внешних и прямолинейных характеристик, сама логика его анализа сплошь да рядом уводит читателей в сторону от Чехова.

Так, основываясь на всем, что есть в Чебутыкине смешного и жалкого, на его безнадежной инертности, безволии и равнодушии, Ермилов приходит в своей работе к выводу, что «Чебутыкин пародийно сосредоточивает в себе слабости и недостатки главных героев, — поэтому этот второстепенный персонаж становится первостепенным для понимания идейной сущности пьесы». Исследователь даже склонен рассматривать фигуру доктора как злую карикатуру на Тузенбаха, Вершинина, Кулыгина — вместе взятых. Личные недостатки Чебутыкина — а Чехов хорошо видел их в этом человеке — Ермилов возводит в степень некой социальной философии; слабости его толкует как отражение законченной системы взглядов. Для избличения Чебутыкина Ермилов не жалеет слов: «Чебутыкин добродушен, но он ничтожен, равнодушен, и поэтому он может оказаться и соучастником убийства, содействуя дуэли Соленого с Тузенбахом, — и убийцей, уморив в силу своего ничем не могущего быть оправданным невежества свою пациентку. Это человек без устоев, без святыхи в душе»...

Но правильно и прямо противоположно этому толкованию играл в спектакле МХАТ А. Грибов. Его Чебутыкин тоже был и безволен, и жалок, и далек от реальной жизни, и вместе с тем завоевывал самые искренние, самые естественные симпатии зрительного зала. Отлично зная цену этому человеку, не строя себе никаких иллюзий насчет его бесплодной жизненной философии, исполнитель роли Чебутыкина никак не мог поверить в то, что Чехов издевался над стариком, когда заставлял его рассказывать в нескольких вскользь брошенных словах грустную историю своей любви к матери сестер Прозоровых, что Чехов видел в Чебутыкине убийцу Тузенбаха, человека, остающегося безучастным к горю своей единственной любимицы. Актер, принимающий на себя всю полноту ответственности за воплощаемый им образ, не мог поэтому не задуматься над противоречием, возникшим между реальной правдой чеховского характера и тем объяснением, которое было дано этому характеру видным советским критиком.

В своей статье Грибов прослеживает шаг за шагом биографию Чебутыкина и его сценическую жизнь и убедительно показывает, какими опасностями чреват умозрительный подход к чеховским характерам, как резко не согласуется в иных случаях объективное жизненное содержание этих характеров с субъективной позицией исследователя. Для актера действительно и реально только то, что написано драматургом.

Дело ведь не в том, что иные режиссеры были неправы в своей оценке классовой сущности Лопухина, Раневской или Вершинина; Лопухин действительно выступает в «Вишневом саде» от имени молодой, хищной и бесчеловечной буржуазии, а Раневская на самом деле олицетворяет в пьесе бессильное увядание российского старозаветного помещичьего уклада.

Но само по себе знакомство с Лопухиным или Раневской еще ничего в этом отношении нам бы не объяснило. Чтобы понять их классовую сущность и опенить их социальную функцию, нам нужно было увидеть всю картину в целом, нарисованную Чеховым, во всем сложном и конкретном взаимодействии изображенных на ней людей и человеческих отношений.

Это блистательно доказал своими «Тремя сестрами» В. Немирович-Данченко. С симпатией и дружбой встретили советские зрители своих давних знакомцев — сестер Прозоровых, с пониманием отнеслись к Тузенбаху, тепло улыбнулись незадачливому старику Чебутыкину. Но это не помешало им особенно ясно представить себе всю безмерную неустроенность, несправедливость, нелепость и бесплодность прожитой этими людьми жизни Грибов очень кстати напоминает в своей статье, что Чехов видел жизнь с иной стороны и другими глазами, чем Горький. Но наша глубокая признательность писателю за все созданное и открытое им не становится меньше из-за того, что написал он «Трех сестер», а не «Дачников», «Вишневый сад», а не «Варваров». Может быть в том и заключалась ошибка многих постановщиков пьес Чехова, что они не захотели понять всей неповторимости чеховской драматической поэзии и пытались увидеть его эпоху через голову писателя. Спектакль Художественного театра возвращал нас к самому Чехову и на долгие времена стал мерой подлинно современного и глубокого понимания его образов.

После пелой серии попыток «осовременить» Чехова наши театры вообще долгое время не обращались к чеховской драматургии «Говоря о конкретных «забытых» драматургах, — писала в 1937 году в журнале «Рабочий и театр» Е. И. Тиме, — хочется прежде всего вспомнить Чехова — драматурга, которому «не везло» в нашем городе. Обращение к чеховской драматургии (в первую очередь к «Вишневому саду» и «Иванову») будет крайне полезно для наших актеров и, думается, будет радостно встречено нашими зрителями». Прошло еще немало времени, прежде чем имя Чехова появилось на наших театральных афишах и прежде, чем работа над его пьесами стала одним из важных и неотъемлемых элементов всей творческой жизни театров.

Е. И. Тиме была права, когда писала, что Чехову-драматургу «не везло» в нашем городе. С тех самых пор, как в 1896 году разразилась катастрофа с «Чайкой», поставленной Александринским театром, действительно Чехова сравнительно мало

играли и в дореволюционном Петербурге-Петрограде, почти не ставился он в крупнейших наших театрах и в послереволюционные годы. Впервые, перед самой войной, обратился к Чехову Большой Драматический театр имени Горького, осуществивший постановку «Вишневый сад», и только после войны Театр имени Пушкина создал два чеховских спектакля — «Дядя Ваня» и «Чайка». Спектакли эти примечательны не только сами по себе. В них были и очевидные истолковательские просчеты и слабости, многое в них не удовлетворяло и не могло удовлетворить зрителей. В поставленном П. Гайдебуровым «Вишневом саде» бесцветно и неубедительно были воплощены два центральных образа пьесы — Лопухина и Гаева; в «Чайке» Театра имени Пушкина возражения вызывали односторонняя интерпретация образа Аркадиной, упрощение этого сложного характера. И все же обращение ленинградских театров к драматургии Чехова ознаменовало новый этап в их творческой жизни.

В каждом из послевоенных чеховских спектаклей зрители видели новое свидетельство возросшей идейной зрелости всего советского театрального искусства и, в особенности, советского актерского искусства. Только подлинная творческая самостоятельность советского актера, его индивидуальное проникновение в природу чеховских характеров открыло советскому театру путь к воплощению таких сложных и многогранных, а иногда и противоречивых образов, как Войничский, Нина Заречная, Сорин, Иванов. Навсегда войдут в сокровищницу советского театра добрый и гневный, бесконечно простой и честный человек — Войничский во вдохновенном исполнении Б. Добронравова, Иванов — Смирнов — образы, созданные на московской сцене уже в послевоенные годы. Рядом с ними должны быть поставлены и выдающиеся достижения ленинградских актеров — Нина Заречная Н. Мамасвой, Сорин Ю. Толубеева. Очень интересным было исполнение роли Серебрякова Я. Малютиным.

В каждой из этих актерских работ проступали мышление и творческая воля сегодняшних, подлинно современных советских художников, до конца поверивших в Чехова и покоренных его нестарекшей, доброй и страстной человечностью. Самостоятельное толкование образов «Дяди Вани», «Иванова», «Чайки» режиссеры и актеры искали в пределах чеховских замыслов, в границах его безупречно честного и тонкого понимания людей Войничский — Добронравов был нов и современен и вместе с тем внушал уверенность в том, что это именно тот Войничский, которого видел, которого любил и которому глубоко сочувствовал сам Чехов. Долготерпение этого человека, тщательно скрытая его любовь и неожиданно прорывающийся гнев получали исчерпывающее объяснение в характере, созданном замечательным актером. В особом душевном складе Войничского, в его незаурядной способности мыслить и чувствовать и столь же незаурядном умении утаивать свою бурную внутреннюю

жизнь нашел Добронравов драматическую сущность этого человека; благодаря ошеломляющей, не подозревавшейся нами внутренней страстности, с которой жил добронравовский Войницкий в спектакле, новый и поистине трагический смысл обрела его повседневная сдержанность и примиренность с судьбой.

Выдающимся достижением молодой актрисы Н. Мамаевой было исполнение ею роли Нины Заречной в «Чайке» Театра имени А. С. Пушкина. Нет сомнения, актриса, работая над ролью Заречной, с тревогой вспоминала о своей прославленной предшественнице В. Комиссаржевской, которая за полвека до нее, выступая на той же сцене, встретила убийственное и оскорбительное непонимание зрительного зала. Правда, в партер и ярусы бывшего императорского театра пришли совсем другие зрители... И все-таки Мамаевой было очень трудно вынашивать свою новую Нину Заречную. Кто знает, может быть и сегодняшние зрители встретили бы презрительным и недоуменным смехом туманный монолог, сочиненный Треплевым и произносимый Ниной: «... все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь...» Теперь такие монологи не пишутся и, может быть, права была Аркадина, когда утверждала, что «это что-то декадентское»... Но нет, дело не в декадентском характере этого монолога, а в том, с какой силой и убежденностью исполняется он Ниной Заречной. Зрители не должны смеяться, слушая этот монолог; скорее им пристало восхищаться творческой дерзостью девушки, будущей актрисы, сумевшей увидеть внутренним взором картину, рисуемую монологом, — восхищаться ее талантом и творческой одержимостью.

Правду образа Нины Заречной Мамаева увидела не в слабости и беззащитности своей героини, а в ее силе, силе настоящего человека искусства. В этом смысле она пошла по пути, на который вступила некогда гениальная Комиссаржевская. «В. Ф. Комиссаржевская, — пишет в своей книге В. Ермилов, — понимала и образ героини и тему пьесы в согласии с авторским замыслом. Для нее речь шла не о «подстреленной чайке», а о юной победительнице, которая, несмотря на все страдания, горячо верует в жизнь, в свое призвание». Слова эти подтверждаются рядом косвенных высказываний самой актрисы, однако считать, что Комиссаржевская действительно играла Заречную-победительницу, нет достаточных оснований. Талант Комиссаржевской был талантом трагедийно-лирическим, и, судя по описаниям современников, ее Нина Заречная, при всей своей внутренней одержимости искусством, была хрупка и беззащитна. Кроме того, нельзя упускать из виду и обстоятельство, о котором напоминает Ермилов, — ее собственного понимания образа не могло хватить для того,



*Астров — Н. К. Симонов.*

чтобы вся пьеса в целом получила в спектакле надлежащее звучание.

Вот почему Нина Заречная, которую сыграла в спектакле Театра имени Пушкина молодая советская актриса, оказалась в гораздо более выгодном положении. Играть Заречную-победительницу Мамаевой помогало режиссерское толкование спектакля в целом, его ритмика, весь его психологический, эмоциональный строй. И это несмотря на то, что постановка была далека от совершенства и многие из важных образов «Чайки» оказались сыгранными поверхностью и неинтересно. Зато вокруг Нины Заречной не было атмосферы жалостливого и покровительственного сочувствия, не было унижающего человеческого достоинство слезливого умиления. Таким умилением обычно окружаются люди, которых считают искренне, но непоправимо заблуждающимися и слишком наивными во всех своих жизненных притязаниях. Нет, к Заречной—Мамаевой так относиться было нельзя уже по одному тому, что актриса играла свою героиню человеком, твердо стоящим на земле, выбравшим свое артистическое поприще не под влиянием юношеских иллюзий, а в силу глубоко сознательной и самоотверженной веры в искусство.

С какой-то физически ощутимой сосредоточенностью и ненаигранным внутренним спокойствием произносила Заречная—Мамаева слова, составляющие самую суть ее жизненных взглядов и убеждений: «И

думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют». На ее долю испытаний досталось, быть может, больше, чем в состоянии вынести даже сильные, душевно закаленные люди, но она ни разу не покосилась, ни разу не предпочла даже в самых скрытых своих помыслах благополучную жизнь вне искусства — обидам, унижениям и ранам актерского существования. Такой Заречной нельзя было просто сочувствовать — ее надо было прежде всего уважать. Именно такую Нину Заречную и писал Чехов.

Настоящим открытием был в том же спектакле Театра имени Пушкина образ Петра Николаевича Сорина, созданный Ю. Толубеевым. Надо сказать, что трактовка Толубеевым этой роли, в меньшей, правда, степени, чем трактовка Грибовым роли Чебутыкина, оказалась в противоречии с анализом образа, данным в книге В. Ермилова. Исследователь Чехова находит и для Сорина очень строгие, почти осуждающие слова. Насмешливое отношение Сорина к своей пустой, беспечно прожитой жизни Ермилов считает «поздним раскаянием». Сорин, по его убеждению, «плыл по течению, он «хотел» несерьезно, безвольно, и его запоздалый «бунт» грустен и несколько смехов». С похвалой отзывается Ермилов о Дорне за то, что тот чуть посмеивается над Сориним и «не сочувствует пустой, неудачной жизни Сорина». Но зато горький юмор, с которым сам Сорин подводит итог своему существованию, оказывается у Ермилова чуть ли не проявлением шутства. И в данном случае концепция исследователя оказывает свое деспотическое влияние на объективный анализ образа.

Чеховские герои не были бы людьми своего времени, если бы жили в меру своих нравственных достоинств или недостатков, если бы поступали так, как хотели поступать, если бы, наконец, все их существование было только делом их рук. Чехов хорошо понимал, как много никчемного и мелкого в Чебутыкине, как бессмысленно и бездарно прожил свою жизнь Сорин. Но привлекла его в этих людях не их вина, а их беда. Наряду с их многочисленными и непростительными, с нашей точки зрения, недостатками Чехов видел придавленную, изуродованную человечность, которая несмотря ни на что не умерла в этих людях и которая при других обстоятельствах дала бы свои живые и прекрасные плоды. Как истинный гуманист, Чехов мечтал о том, чтобы человеческое победило в людях, чтобы люди поднялись над своими слабостями, над превратностями и уродствами окружающей жизни. Потому-то и заметил

он грустную и бессильную чебутыкинскую верность своей единственной в жизни любви, потому-то с радостью откликнулся он на жизнелюбивый юмор Сорина.

Конечно же, в такой позиции писателя не было и капли всепрощения и снисходительного благодушия. Ковыляя с палочкой по своему дому или разъезжая по нему в инвалидной коляске, Сорин мало что сделал для того, чтобы жизнь окружающих его людей стала лучше и полнее. Ему и в самом деле «деваться некуда... Хочешь не хочешь, живи». Сорин—Толубеев произнес эти слова с пониманием и усмешкой, нарочно, для куражу, отшучиваясь в своем совсем невеселом положении. И за показным балагурством светилась в его речах грустная мудрость человека, попусту прожившего долгие годы, не испытавшего высоких жизненных радостей, радости труда и любви. «Хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое».

Обаяние воплощенного Толубеевым Сорина было полно горькой мудрости, юмора, оплаченного дорогой ценой, юмора, в котором нельзя не увидеть и не оценить незаурядного душевного мужества. Действуя заодно с Чеховым, актер вкладывал в роль и то новое понимание, тот новый смысл, которые мог открыть ему только его опыт советского художника.

Рассказывая в книге «Моя жизнь в искусстве» о работе Художественного театра над пьесами Чехова, К. Станиславский писал:

«Изучив Чехова, утвердившись на его позиции, мы будем ждать нового поводыря, который нащупает новый этап вечного пути, пройдет его с нами и водрузит новую веху для грядущих артистических поколений. Оттуда, с нового завоеванного форта, откроется новый горизонт для дальнейшего движения вперед».

Таким новым «поводырем» русского театра суждено было стать Горькому, провозвестнику и создателю драматургии социалистического реализма. Однако внутренняя связь сегодняшнего театрального искусства с драматургией Чехова не только не слабеет, а напротив, становится все более ощутимой и плодотворной. Произведения, подобные тем, о которых Гете говорил, что они, «как создания природы, навсегда остаются для нашего разума необъятными», — продолжают жить в сознании человечества не только сами по себе, но и потому, что в них заключена могучая сила, стимулирующая и направляющая творческие поиски художников многих поколений.



Ю. Н. Тулин.  
Автопортрет.



## Д. Славентантор

### ЗРЕЛОСТЬ

**В**от уже года три как стоит около Ланской этот огромный дом. С высоты его угловой башни открывается неповторимый городской пейзаж: блестит в туманной дымке золотая шапка Исаакья, неясным сплетением крыш, лесов и зданий простираются бесчисленные кварталы, угадывается за краем неба близкий залив, устремляются ввысь кружевные мачты радиостанций, на них по ночам рдеют рубиновые огни...

В башне, с которой разворачивается эта панорама, работает Юрий Тулин, художник.

Однажды его мастерскую посетил Роквелл Кент. Он был очень оживлен и непоседлив, этот «седой юноша». Он смотрел из окна на море крыш, со вниманием разглядывал этюды Тулина, висевшие по стенам мастерской, просил его подробней рассказать о себе.

— Это поможет мне лучше понять вас, советских людей.

Жизнь Юрия Тулина и в самом деле была в некоторых чертах своих типичной для послевоенного поколения наших художников.

Нил, отец его, жил в лесах Мологи. Он был отменным мастером по красному дереву. В годы первой мировой войны его

забрали в армию, а когда фронт развалился, Нил в девятьсот восемнадцатом вернулся в родные края. Здесь приглянулась ему местная девушка, вернувшаяся недавно из Питера. Она работала там портнихой, привезла с собой целый ворох большевистских газет, рассказывала на деревне, что скоро богатым придет конец.

Нил и Александра поженились. Тулин сменил свой рубанок на кобур с наганом. Он собирал по волости продрозверстку, воевал с кулачем, по неделям не бывал дома, оставляя в избе молодую жену, дрожавшую за малых ребят: трудна была в то время жизнь сельского коммуниста!

Гражданская война окончилась. Тулин переехал из Максатихи в Питер с женой и детьми. Там вернулся он к своему мастерству: реставрировал мебель — музейную и дворцовую.

У Юрия, сына его, склонность к живописи проявилась с малых лет. Нил смастерил ему лакированный этюдник с бронзовыми застежками, а мать отвела его в Дом детского творчества: все лучше, чем бегать по двору.

Хоть Юрий был и трудным мальчишкой, но к занятиям пристрастился — сначала в Доме художественного воспитания, а затем во Дворце пионеров.



«Ремонт пути». Фрагмент.

Любимейшим учителем его стал Альфред Рудольфович Эберлинг, которого Рылов в своих воспоминаниях недаром назвал «энтузиастом».

Эберлинг вышел из репинской мастерской. Его кисти принадлежал портрет Ленина, воспроизведенный на советских денежных знаках. Наиболее способных ребят он учил не только во Дворце, но и звал в свою мастерскую.

Трижды в неделю они встречались у подъезда высокого дома, вместе подымались по лестнице, звонили точно в назначенный час. Их встречал в своей неизменной темной бархатной ермолочке Альфред Рудольфович. Он любил этих одаренных ребят — лирика и мечтателя Славу Заговека, «пыганистого» Юру Тулина, сдержанного и рассудительного Фиму Рубина. И в светлой мастерской художник продолжал с ними занятия, начатые во Дворце пионеров: по рисунку, живописи, композиции.

В 1937 году Тулин вместе со своими приятелями поступил в среднюю Художественную школу, созданную по инициативе Кирова при Институте имени Репина.

Они работали с большим увлечением и в классах и «на натуре»: ездили в Лахту, привлекавшую их взморьем, болотцами, островками, поросшими травой и осокой; писали на Голодае выцветшие домики, мотоботы, стоявшие у пристани, снасти рыболовецкого колхоза, развешанные на кольях; поселялись во время летних каникул на Сиверской, которую воспеи в своих пейзажах Рылов, подымались с солнцем, выпивали по стакану молока с куском хлеба, уходили с этюдниками на лесные опушки, в ржаное поле, к берегам речки.

Одно лето Тулин с несколькими сверстниками провел на Чусовой. Там прожили они больше месяца «вольницей»: плыли на веслах вдоль крутояров, ставили парус в

непогоду, причаливали к берегу, где полюбятся, насыщали глаз суровой красотой Урала.

Тулинские этюды той поры свидетельствовали о его природном даровании колориста.

Счастливи был он в те годы: жадно поглощал впечатления бытия; ходил к Рембрандту, Веронезе, Веласкесу в их ленинградский дом на Неве, в Эрмитаж; бывал частым гостем у Сурикова, Репина, Серова — в Русском музее; часами просиживал в переполненном «Рафаэлевском зале» на защите дипломов студентами Института имени Репина. Его властителями дум в ту пору были передвижники, которые «щедрой рукой давали пищу уму и сердцу, а не одному глазу». Творчество их привлекало

юного Тулина знанием народной жизни.

Он влюблен был в степановские «Журавли летят» — за лиризм образов босоногих крестьянских ребят, за целомудренность красок ранней весны, за солнечный свет, пронизывавший уголок родной земли. Сильное впечатление оказывал на него касаткинский трудовой люд. В архиповском полотне «Обратный» он словно читал целую повесть о старой русской деревне. Казалось ему, что знал он и село, и семью, и всю бесхитростную жизнь мальчонки, возвращающегося вечером со станции на тарайке под залиvistую песнь колокольчика

Юрий Тулин потому так любил певцов народа, что и сам сознавал себя его неотъемлемой частицей: и по отцу, и по матери, и по родне, работавшей слесарями, стрелочниками, путевыми мастерами.

Нежданная болезнь приковала Тулина к постели, а затем заставила стать на костыли. Осенью 1941 года ему предстояла учеба в Институте имени Репина. Но смерч войны ворвался в жизнь советских людей.

Все менялось на глазах. В небо поднялись серебристые азростаты воздушного заграждения. Зеркальные витрины магазинов укрылись за дощатыми щитами, засыпанными землей. С Аничкова моста исчезли клодтовские кони. Все чаще завывали сирены воздушной тревоги. Начинались девятьсот дней блокады, которые мы никогда не забудем. Одним сентябрьским вечером на город налетели «юнкерсы». Над Бадаевскими складами за клубилась в закатном небе багровая туча. Она пламенела до самой ночи, а ночью бомбовозы вновь налетели на Ленинград. Юрий с братом и матерью спустились в убежище. Невдалеке падали тяжелые фугаски. Пятиэтажный дом временами ходил ходуном. Люди, укрывшиеся в бомбоубежище, угрюмо молчали. Юрий не выдержал, осторожно приоткрыл дверь.

Над темным колодцем двора светила в тумане луна. Небо полосовали мечи прожекторов. Где-то рокотали на большой высоте невидимые самолеты. Лишь глубокой ночью прозвучал отбой тревоги. Утром Юрий не узнал привычной улицы. Он пробирался в институт на своих костылях среди битого кирпича, осколков стекла.

Запятая в институте еще шли. Художавый старик, с которого писали эту студента, однажды не пришел: помер...

А потом по Неве, мимо Академии художеств, медленно поплыли ладожские льдины. Занятия в холодном здании замерли. Огонек жизни слабо затеплился в его темных подвалах. Там жил и Юрий Тулин с Михаилом Грачевым. Они спали на одной койке, ели дрожжевой суп из одного котелка, делили поровну тощую пайку хлеба, посыпая ее солью.

В феврале 1942 года Институт имени Репина эвакуировался. Уехал Грачев. Уехал и брат вместе с университетом. Юрий, у которого открылась рана на больной ноге, остался с матерью.

Вечером Александра Матвеевна, возвращаясь с фабрики, еще из прихожей тревожно окликала сына. С облегченным сердцем она слышала его тихий ответ.

«Ну, слава богу, жив!»

С каждым днем Юрий слабел. Александра Матвеевна выхлопотала ручную тележку, сама отвезла сына в госпиталь. «Если хотите сохранить ногу, лежите недвижно». И вот однажды во время бомбежки зашла к нему женщина, тоже лечившаяся здесь. «Он, кажется, знает вашего мужа», — сказали ей. Марина Александровна под села к изможденному молодому человеку.

— Знаете ли вы Непринцева, Юрия Михайловича?

— Конечно же, он преподает у нас в институте.

— Я его жена.

Они разговорились. С того времени Марина Александровна заходила иногда к Тулину вместе с мужем, приехавшим с фронта. Здесь познакомились они с матерью Юрия. Та по-прежнему работала на фабрике.

Пребывание в госпитале тяготило Тулина. При переводе в другой лазарет он выбрался из приемного покоя и обрел дом: довольно валяться на койках! Он добрался до своего дома, поднялся ощупью по темной лестнице, вошел в квартиру и, обессиленный, рухнул.

— Что делать? — шептала мать Марине Александровне, зашедшей его проведать.

Марина Александровна решила на отчаянный шаг.

— Как вам не стыдно! — начала она бранить Юрия. — Вы лежите, а ваша мать работает. Я просто не знаю, как можно это назвать. Ведь вы художник. Вы должны рассказать людям о времени, которое мы переживаем. Вставайте! Пойдемте на улицу!

— Где мои костыли? — тихо спросил Юрий.

— Вот. Вставайте. Мы вам поможем. Ну, пошли...

С того дня Юрий заставлял себя выходить на улицу. Он бродил, опираясь о костыли, поблизости от дома, делал в альбоме зарисовки, окреп за лето, а осенью поступил на работу в промкомбинат. Во флигеле, стоявшем в глубине двора, работали подростки, женщины и старики. Они выпускали деревянные подошвы, парниковые рамы, ящики для гранат. В перерыв, который по привычке все еще называли обеденным, люди усаживались у печурки: кто разогревал «хряпу» в котелке, кто отпивал из кружки воду с кусочком хлеба, кто медленно ел лепешку, выпеченную из картофельной мелухи.

Сначала Тулин работал сборщиком, а потом настройщиком станков. Трудно пришлось ему зимой в нетопленном цехе. Так работал он на производстве, но в то же время оставался и художником, жадно впитывавшим незабываемые впечатления.

В ту зиму кольцо блокады было разорвано. Сердце Ленинграда начало биться сильнее. Снабжение города резко улучшилось. Волхов подавал жизнеутверждающий свет. Однако свист, завершавшийся разрывом снаряда, все еще раздавался на улицах. Тулин начал посещать занятия в Художественно-педагогическом техникуме. На московской выставке учащихся художественных заведений работы Тулина заслужили премию. Окончательно освободился от блокады Ленинград. Художникам поручено было запечатлеть свидетельства фашистских преступлений. Тулин писал гуашью почерневшие развалины Петро дворца и Пушкина. Его «документы» были точны, художественны, живописны.

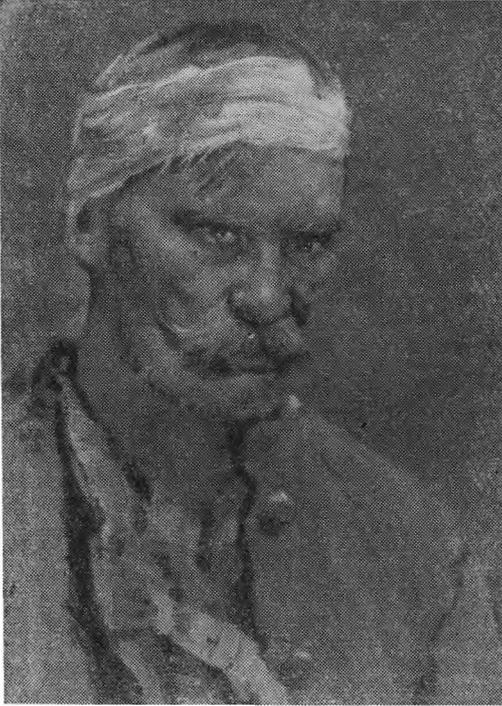
Вернулся из эвакуации Институт имени Репина. Постепенно налаживались в нем занятия.

\* \* \*

Итак, Юрий Тулин был свидетелем подвига, свершенного народом. Он познал его душу, проявившую себя с такой силой в годину роковую. Это знание народного характера, добытое дорогой ценой, было очень важно Тулину.

В истории советского изобразительного искусства наступала, между тем, новая пора. Военная эпопея закончилась; началась, вернее продолжалась, эпопея трудовая. С новой остротой перед советскими художниками ставился вопрос о глубоком и всестороннем знании жизни, об умении видеть и отбирать ее типические явления, о тесной взаимосвязи формы с содержанием.

Многие мастера работали, принимая правду жизни как высшее творческое начало. Но вот в послевоенной живописи стали появляться полотна, приукрашивавшие жизнь, как будто бы она нуждалась в этом. Они изображали «голубой» мир, в котором не было ни борьбы нового со старым, ни подвига, ни драматизма столкновений. «Прекрасное есть жизнь», а на этих полотнах она подменялась ложной красотой. Но эта «красивость» не при-



• «Рабочий». Этюд к картине  
«Лена. 1912 год».

влекала Тулина и его товарищей. Он убежденно верил, что только подлинная жизнь дает тот материал, из которого художник творит свои произведения социалистического реализма. Тулин много работал, хотя и часто болел, стремился побольше взять у своих учителей, набирался профессионального мастерства. Он с большим интересом учился рисунку у Сергея Михайловича Михайлова, «последнего могоиканина» чистяковской школы, а живописи у Александра Дмитриевича Зайцева. Александр Дмитриевич не принадлежал к скучным людям, отбывавшим свою службу. О, нет, он был не из их числа! Он любил жизнь, сам побыл «в людях», предан был искусству. Учил Зайцев страстно, искренне, горячо, обладая даром зажигать молодежь. Если ругал — то основательно; если хвалил — то без обиняков. И за это учащиеся уважали и любили его.

Как и раньше, в Тулине не ослабевал интерес к простому человеку. Собственно, почему — простому? Он был вовсе не прост — Тулин, выросший среди трудового люда, очень хорошо это знал. У человека, которого Горький назвал «великий Иван», была своя родословная, почине дворянской. Она восходила к мужицким бунтам, забастовкам ткачей, баррикадам металлистов. Действующими лицами этих народных движений были колоритные и яркие фигуры. До сих пор сохранились еще кое-где в Ленинграде уголки — на Выборгской стороне, за Нарвской заста-

вой, на Васильевском острове, — воскресавшие эпоху первых рабочих кружков: какой-нибудь переулочек, по которому, быть может, ходил молодой Ленин, низкие домишки, булыжник мостовой, шеренги фабричных окон, светящихся в ночи. Казалось, прислушайся, и вот-вот послышится вскрик далекой гармошки: «Когда б имел златые горы...»

Любил Тулин эти уголки старой рабочей окраины!

В институте к нему относились как к студенту, подающему серьезные надежды. Темой своей дипломной работы он избрал освоение советскими людьми природных богатств Севера.

«Киров в Хибинах»: он осматривает рудник, знакомится с ходом работ, беседует с горняками...

Как расценивать эту дипломную работу по «большому счету»? Она не вызвала полного удовлетворения. Значительность темы, избранной молодым художником, не была раскрыта им полностью. Картина обладала колористическими достоинствами, но ими не искупалось отсутствие острых психологических характеристик.

Он принял участие в коллективной работе, которая приобщила его к жизни большого советского завода. Пять художников, хорошо знавших друг друга с детства, — Веселова, Загонек, Рубин, Пушнин и Тулин — сообща писали картину, посвященную труду строителей турбин.

В картину, названную «Ленинград — стройкам коммунизма», вложено было много труда. Однако главным действующим лицом в ней оказалась машина, а не человек, создавший ее.

Опыт, накопленный во время работы над картиной, имел большое значение для всей пятерки, в том числе и для Юрия Тулина. Этот опыт очень пригодился ему, когда он вместе с А. Левитиным задумал жанровое полотно, навеянное наблюдениями над заводской жизнью. «Свежий номер цеховой газеты...» Около стенда, на котором она развешана, столпились рабочие. В их образах чувствовалось много правды: и в молодой работнице, подхихившей с любопытством к газете: «Кого это там прохватали?»; и в вертком, жизнерадостном, рыжем мальчугане, для которого завод — родной дом; и в пожилом рабочем, отпускающем едкое словцо; и в долговязом «герое дня», угодившем в стенгазету. Он хочет выказать полное равнодушие — «подумаешь!» — но ему явно не по себе; он напряженно улыбается и не знает, что ему делать с папиросой, которую неловко мнет в руке...

Тулин, проходивший курс аспирантуры, летом 1953 года писал этюды на академической даче. Находилась она вблизи его родных мест. Как-то в погожий день он вышел к железной дороге. Яркое солнце своим светом заливало весь мир: маленький вокзал, темный лес, желтую насыпь, на которой рабочие ремонтировали пути. Девушки в белых платочках, выцветших кофточках, кирзовых сапогах работали, перебрасываясь бойким словцом с парнями,

тачившими рельс. У этих девушек были «сестры» в Ленинграде. Тулин знал их: они в военные годы выносили раненых из разрушенных домов, дежурили на крышах зданий в часы ночного налета, вели огонь из зениток по вражеским самолетам, а в послевоенную пору сваривали трубы в уличной траншее, водили тяжелый каток, подминали дымящийся асфальт, висели на «люльках» штукатуров...

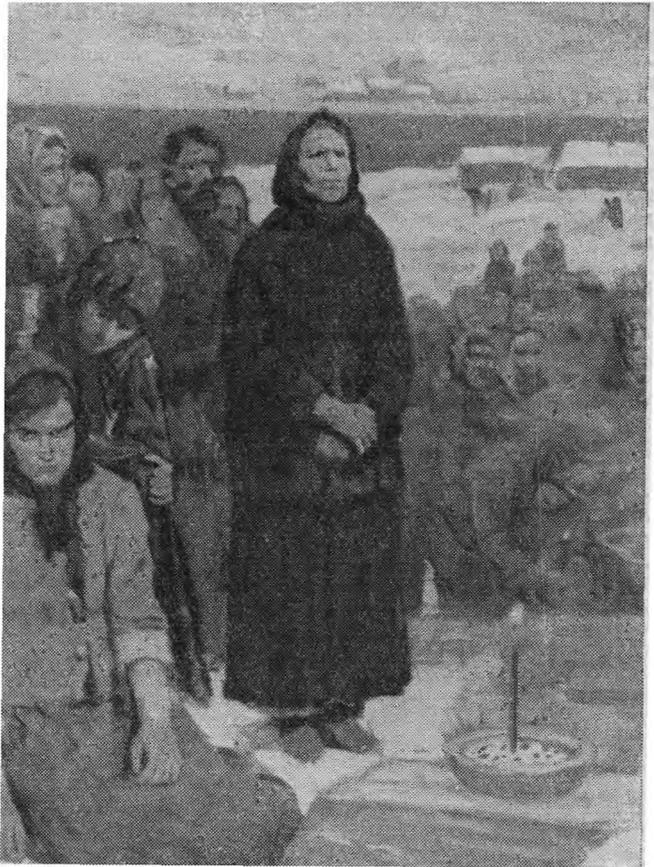
Русская живопись обращалась к теме труда на железной дороге. Сумрачная картина Савицкого о землекопах, прикованных нищетой к своей тачке, хорошо известна. Но то, что видел перед собой Тулин, говорило совсем об ином: о молодости, радости труда, о красоте летнего дня, пронизанного солнцем. И им овладело желание запечатлеть кусок этой жизни.

Писал он свою картину с радостью, увлечением, подъемом. Но однажды ночью его разбудил телефонный звонок, и голос, прерывающийся от волнения, сообщил, что горит мастерская, в которой работал он с Загонекком и Рубиным... Мрачный сидел художник в мастерской перед обгоревшей рамой — всем, что осталось от картины. Вновь Тулин натянул на подрамник холст, вновь загрунтовал его, вновь... — в общем все повторял сначала. Но не просто повторял, а вносил в картину новые черты.

\* \* \*

В молодом художнике всегда жила тяга к миру чувств и дум народных. Его издавна уже влекла к себе тема эпическая, большая, «суриковская». Ему казалось, что теперь он, пожалуй, уже сможет осилить ее.

Ленская трагедия... О ней он думал не раз, обращаясь к драматическим событиям русского рабочего движения. И вот одно событие в жизни Тулина послужило внешним толчком, который побудил его взяться за эту тему. Хоронили мужа сестры. Снег, толпа, сестра, безутешно рыдавшая... — все это растревожило душу художника. Как она плакала, бедная! Что же переживают люди, когда насильственно отнимается жизнь их близких?.. И вспомнился снова почему-то расстрел на Лене. Сколько горя там было! Написать?.. Но ведь так много уже написано сцен расстрела...



«Лена 1912 год». Фрагмент.

В тот же вечер Тулин вынул из книжного шкафа «Угрюм-реку» В. Шишкова: «Живые поднялись; кто прытко, не оглядываясь, побегал, кто вспотычку побрел домой: от страха одрябли ноги. Мертвые лежали смирно...» Спал в ту ночь Тулин беспокойно. Во сне привиделись ему похороны на Лене.

Утром художник поспешил в мастерскую, набросал композицию — могильную яму, гробы, жандармов, попов, отпевающих покойников, толпу...

Этот черновой эскиз, сделанный в один прием, следовало еще основательно продумать. Тулин не намеревался слепо идти по стопам Шишкова. Он видел перед собой не тех, у кого одрябли ноги, а тех, кто, не испугавшись, продолжал забастовку. В их сопротивлении воплощалась народная душа, та, что проявила себя и в «Обуховской обороне», и в дни «Красной, Пресни», и в Отечественной войне. Тулину хотелось создать на своем полотне «хор», поющий песню скорби и гнева. Он надеялся передать в его голосах гамму чувств, владевшую людьми, — от неутешного горя до ненависти.

Выполнение такого замысла требовало от художника большого напряжения и души и мысли.

Но разве чувства, порожденные ленским расстрелом, не были знакомы ему самому? Разве не испытывал и он сам в дни ленинградской блокады и гнев, и боль, и ненависть к убийцам?..

Решение темы, взятое в эскизе, представлялось Тулину, пожалуй, прямолинейным. Он написал второй эскиз: убрал жандармов, как бы подошел поближе к толпе, сосредоточил все внимание на ней.

Конечно, так лучше. Теперь можно переходить и на картон, повторявший масштаб картины. Он нарисовал углем на картоне композицию, начал прорабатывать отдельные образы, составлявшие голоса «хора». Но в этих голосах слышалась надрынная истерика, а Тулин стремился к выражению мужественной скорби, ненависти, душевной стойкости.

Он стирал фигуры, перестраивал композицию, вводил в нее новых действующих лиц. Постепенно отдельные голоса в «хоре» стали звучать в согласии с замыслом художника. Тулин уже писал этюды с «натуры», перенес работу на холст, но и на холсте, неудовлетворенный, почти все переписывал. Это было мучительно. Как вы были правы, Рокуэлл Кент, назвав художников чернорабочими!

Вот что видели на холсте друзья художника, приходившие к нему: стыла в зимних берегах темной полосой река. Возле покосившихся кладбищенских крестов стояли на снегу закрытые гробы. Расплывался в воздухе сизый дымок ладана, которым кадил старенький священник. Толпа прощалась с теми, кто, по словам боевой рабочей песни, «пал жертвой в борьбе роковой».

В немой скорби выпрямилась старая женщина в черной одежде. Не был ли ее образ навеян художнику его собственной матерью? Прильнула к гробу вдова, охваченная неизбывным горем. Печально прислонилась девушка к плечу матери и думает, все думает свою тяжелую думу и, должно быть, додумает все до конца и примкнет к борцам за рабочее дело. Опустилась прямо на снег молодая женщина, прядь волос выбилась из-под платка, нет покорности судьбе в ее суровом лице. Стоит возле плечистого чернобородого вожака, напоминающего Емельяна Пугачева, его товарищ с одухотворенным, тонким лицом, поросшим рыжеватой бородкой. Нескрываемым ожесточением горят глаза седоусого рабочего, перевязанного окровавленным бинтом. «Прощайте же, братья! Вы честно прошли...»

Осенью 1956 года Тулин уехал на Лену. Он хотел походить по сибирской земле, орошенной рабочей кровью, увидеть людей, участвовавших в ленских событиях, проверить на месте решение темы, принятое им.

Поездом художник приехал в Иркутск, а оттуда самолетом вылетел в Бодайбо. Несколько часов летел он над таежным океаном, а потом опустился у поселка, стиснутого сопками. Здесь Тулин заноче-

вал в заезжем доме, а затем выехал на прииски узкоколейкой. Она петляла по сопке, перевалила через ее вершину, пошла вниз рядом с Бодайбинкой, на которой подымались высокие драги. На Артемьевском прииске в 1912 году обособился стачечный комитет. Отсюда по тропке художник вышел к прииску Апрельевскому, тому самому, где произошла бойня. С вершины «гольца», поросшего мелкоколесьем, он увидел место расстрела: узкую речку, деревянный мост, площадь перед трехэтажным зданием.

Еще живы были старики, принимавшие участие в ленских событиях. Тулин сблизился с Аркадием Николаевичем Остряниным, с Иваном Васильевичем Овсовым. Он приходил к старикам, писал их портреты, слушал сибирские были, показал им снимок эскиза своей картины. Старики восприняли его как документальное свидетельство похорон. Они заспорили: «Вот этот бородач стоял не здесь, а там, а вот эта старуха...» Тулин с наслаждением прислушивался к их спору, вспоминая мудрые суриковские слова: «Суть исторической картины — угадывание». «Значит, угадал я!» — ликовал он.

Близилась зима. Последним пароходом художник покидал берега Угрюм-реки.

— Прощай, друг, — сказал ему Острянин, — вот возьми на память, больно ты парень хороший, нашенский!

Это была фотография, которую старик хранил у себя с полвека.

На старой, пожелтевшей фотографии расплывалась снежная целина. Вдоль сопки шли по снегу темные цепочки людей с разных сторон. Это старатели шли с окрестных приисков к управлению, не зная, что ждет их там кровавая расправа...

По приезде в Ленинград Тулин работал еще более года над своей картиной. Она была выдержана в строгих тонах. Хор, звучавший с полотна, пел о слезах людских, о печали, смешанной с гневом, о чаше неизбежной грядущей расправы. Этот суровый «реквием» вызывал волнение. Может быть, отдельные голоса звучали в нем недостаточно выразительно, может, порой слышались в хоре ноты, уже знакомые нам, — так ли уж это важно?

«Лена» волновала не только наши сердца. Гид советского павильона Брюссельской выставки рассказывал, как однажды к нему подошла пожилая француженка и попросила показать ей картину, посвященную «маки» — так называют во Франции участников движения Сопротивления.

— Маки?..

Француженка сбивчиво описала «Лену», выставленную в павильоне. Гид подошел с ней к полотну Тулина. Женщина внимательно выслушала его объяснения до конца, встала от полотна и с блеснувшими и с большой убежденностью француженка сказала:

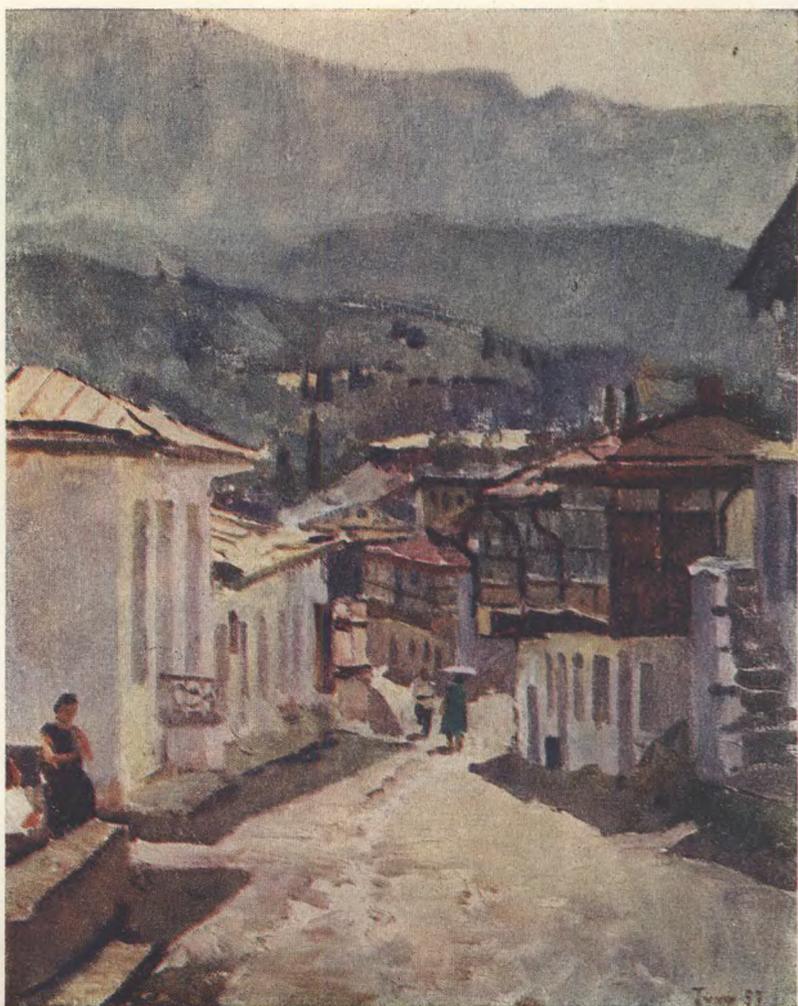
— А все же это движение Сопротивления!

И в этих словах, пожалуй, выражена была высшая похвала, какую мог пожелать себе советский художник.



Ленинград. Ланская.

В МАСТЕРСКОЙ  
ХУДОЖНИКА  
Ю. Н. ТУЛИНА.



Улица  
в Гурзуфе.



Рабочий.  
Этюд к картине  
«Лена. 1912 г.»



Киренск  
на Лене.

Вечер  
в Крыму.



Прииск  
Артемовск.





Майсен утром.



А. Толуш,  
гроссмейстер

## БОТВИННИК ИЛИ ТАЛЬ?

Закончившийся год для советских шахматистов был годом жарких сражений как внутри страны, так и за рубежом; но самым жарким из них и без сомнения наиболее интересным являлся турнир претендентов на матч с чемпионом мира М. Ботвинником, происходивший в Югославии.

Нужно сказать, что путь к лавровому венку чемпиона мира по шахматам сейчас особенно сложен. Он проходит через целую серию труднейших соревнований. Только тот, кто успешно пройдет эти длительные испытания, — один из многих — получает право на матч с нынешним чемпионом мира советским гроссмейстером М. М. Ботвинником.

Четыре победителя 25-го чемпионата нашей страны: М. Таль, Т. Петросян, Д. Бронштейн и Ю. Авербах — играли в межзональном турнире в Портороже (Югославия) в 1958 году вместе с сильнейшими зарубежными шахматистами. Лишь первые шесть победителей этого состязания получали право продолжать дальнейшую борьбу за звание чемпиона мира, причем наибольшие трудности стояли именно перед нашими шахматистами. По решению международной шахматной федерации (ФИДЕ), из четырех советских участников межзонального турнира, даже в том случае, если бы они заняли первые четыре места, только двое попадали в следующий этап — турнир претендентов, так как в таком турнире могли участвовать только четыре представителя от одной страны. Этой шестеркой в Портороже оказались М. Таль, Т. Петросян (СССР), С. Глигорич (Югославия), Ф. Олафссон (Исландия), Р. Фишер (США) и П. Бенко, выступавший под флагом ФИДЕ, как не имеющий гражданства. К «порторожцам» присоединились экс-чемпион мира В. Смыслов и П. Керес, завоевавший на предыдущем турнире претендентов второе место, давшее ему право избежать всех упомянутых отборочных турниров.

Итак, восемь гроссмейстеров в начале сентября прошлого года начали борьбу за

право играть матч на звание чемпиона мира.

Этот турнир резко отличался от трех предыдущих подобных состязаний прежде всего остротой спортивной борьбы. Об этом уже достаточно много писалось, поэтому лишь коротко напомним о главных, быть может даже решающих ее этапах.

После первых шести туров впереди был чемпион страны Петросян, набравший четыре с половиной очка. Зная его богатую шахматную эрудицию, очень высокую технику реализации достигнутого преимущества, а главное, умение задолго до кризиса распознавать опасность, мало кто сомневался в том, что появится лидер, который надежно поведет турнир. Но, как скоро выяснилось, боевых качеств Петросяну не хватило. Стоило ему потерпеть в седьмом туре первое поражение, и на другой день он снова проиграл. В дальнейшем Петросян по существу выключился из активной борьбы за первое место. Кстати, такие крупные гроссмейстеры, как А. А. Алехин или, например, наши гроссмейстеры М. Таль, П. Керес, никогда не теряли своего боевого настроения после поражений. Алехин нередко получал призы за красивейшие партии именно на другой день после поражения.

Но вернемся к ходу турнира. После первого круга (семь туров) впереди шли советские гроссмейстеры Петросян, Таль и Керес. Однако в данном случае значение имели не только набранные очки, а стиль побед. В этом отношении на первом месте безусловно были Таль и Керес. Таль, играя с большой остротой и выдумкой, почти в каждой партии что-нибудь жертвовал и... довольно быстро одерживал победу. Керес играл в несколько ином стиле, но не менее сильно, чем Таль. Являясь крупным теоретиком, Керес благодаря своему гармоничному стилю игры с одинаковой силой вел и тонкие позиционные сражения и острые тактические поединки.

После второго круга лидерство захватил Керес, но преимущество его перед Талем

было минимальным — пол-очка. Остальные участники к этому времени значительно отстали от лидеров, и в дальнейшем все свелось к дуэли Керес — Таль.

Решающим для определения победителя турнира был несомненно третий круг. Таль резким рывком, набрав шесть очков из семи (!), «ушел» от Кереса на полтора очка и сохранил этот разрыв до конца соревнования.

Одержав победу в турнире претендентов, Таль преодолел еще один барьер на пути к завоеванию звания чемпиона мира. Теперь ему предстоит матч с М. Ботвинником.

В случае победы Талья над Ботвинником трехлетний цикл розыгрыша первенства мира на этом еще не заканчивается, так как Ботвинник имеет право в течение года сыграть матч-реванш. Но это право предоставляется чемпиону мира в последний раз: международная шахматная федерация в прошлом году приняла решение, отменяющее на будущее время матчи-реванши.

Победа Талья на турнире претендентов вызвала много разноречивых толков среди знатоков шахматной игры.

В течение последних трех лет Таль добился исключительных спортивных успехов. Дважды он выиграл звание чемпиона СССР, одержал победы на международных турнирах в Цюрихе, Портороже, достиг абсолютного лучшего результата на командном первенстве мира в Мюнхене и наконец завоевал право играть матч с чемпионом мира. Таков блестящий список побед Талья. Казалось бы, о чем спорить, — победа есть победа. Но все дело в несколько непривычной манере игры молодого шахматиста.

Таль является блестящим шахматным бойцом. Он великолепно учитывает психологию своих противников: одни любят неторопливое развитие событий, — им Таль навязывает убыстрение борьбы; другие предпочитают спокойное позиционное маневрирование, — таким шахматистам Таль, иногда ценой даже больших материальных жертв, предлагает побороться в обстановке почти не поддающихся учету осложнений. Таль охотно и часто идет на, казалось бы, необоснованные с точки зрения анализа жертвы пешек и фигур. Однако для практической партии такая оценка жертв Талья будет неправильной. Ведь в напряженной спортивной обстановке, при ограниченном времени на обдумывание ходов, не так просто разобраться в сложнейших ситуациях, часто создаваемых Талем. Молодой гроссмейстер быстро и далеко рассчитывает варианты, превосходно использует все тактические ресурсы. Все это и приносит ему большие спортивные успехи.

С точки зрения шахматистов классической школы, игра Талья нелогична. Классики предпочитают хорошо разыграть начало партии, а затем спокойно использовать небольшие преимущества, достигнутые в ходе кропотливой позиционной борьбы. Иногда они не прочь и поатаковать, но только в том случае, когда противник,

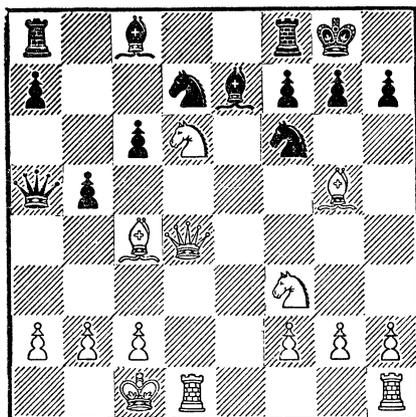
не имея контригры, вынужден вести пассивную оборону.

С появлением Талья, по-видимому, получает права гражданства новый стиль в современных шахматах. Стоит воспроизвести высказывание гроссмейстера И. Бондаревского, являющегося многолетним тренером экс-чемпиона мира Смыслова: «... Таль — новое большое имя в шахматном искусстве. Его стиль обогащает шахматы и поднимает их на более высокую ступень. Те, кто скептически относится к силе Талья, являются представителями старой школы, которая сейчас рушится».

По всей вероятности, спор о «старых» и «новых» стилях будет решаться в Москве весной этого года в матче Ботвинник—Таль. Чем бы ни закончился этот спор, — бесспорно, выиграют миллионы любителей шахматного искусства во всем мире. Во встрече двух шахматистов столь различных направлений борьба будет носить интересный и обоюдоострый характер.

В заключение приведем один из примеров игры победителя турнира претендентов.

#### В. Смыслов.



М. Таль.

Перевес белых в развитии фигур не вызывает сомнений. Таль энергично использует это обстоятельство. 12. Cd2 Fa6 13. Kf5 Cd8. 14. Fh4. (Неожиданная жертва слона, сразу меняющая картину сражения.) 14... bc 15. Fg5 Kh5 (На 15... g6 очень сильно было бы 16. Sc3, и от многочисленных угроз черные не имеют достаточной защиты. Поэтому Смыслов возвращает лишнюю фигуру, рассчитывая этим ослабить наступление Талья.) 16. Kh6+ Kph8 17. F : h5 F : a2. (Ведет к форсированному проигрышу. Положение черных уже трудное.) 18. Sc3 Kf6 19. F : f7 (Просто, но эффектно.) 19... Fa1+ (После 19... J : f7 черные получали мат в три хода. Впрочем и продолжение, избранное Смысловым, не спасает его от поражения.) 20. Kpd2 J : f7 21. K : f7+ Kpg8 22. J : a1 Kp : f7 23. Ke5+ Kf6 24. K : c6 Ke4+ 25. Kpe3 Sc6+ 26. Cd4, и Смыслов сдался.

Специальное жюри наградило эту партию призом «за самую красивую партию турнира претендентов».

**В. А. Корольков,**  
*мастер спорта СССР по шахматной  
 композиции*

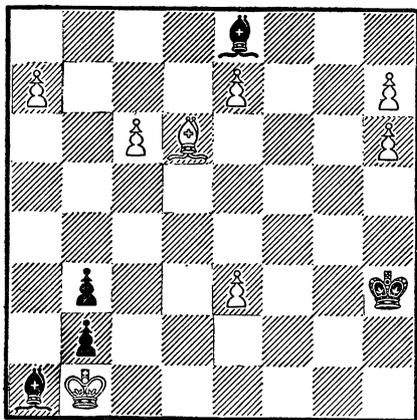
## ВЕЧЕР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### РАССКАЗ-ШУТКА

**М** шахматы я люблю страстно и самозабвенно и давно уже мечтаю стать чемпионом. Неважно чемпионом чего — мира, санатория «Жоэква» в Гаграх или даже квартиры № 6 в доме 39 по 8-й линии Васильевского острова... Но чемпионство, подобно жар-птице, всегда ускользало от меня, и, как правило, мне приходилось замыкать турнирную таблицу. И вот наконец свершилось...

Не успел я добраться до дома отдыха, приветливо раскинувшегося в живописном Комарове, как сразу же окупнулся в его бурную шахматную жизнь. Записавшись в турнир, я в течение двух недель вел ожесточенные поединки на шестидесяти четырех клетках шахматной доски. Играл я против обыкновения удачно, — видимо, отдыхающие разбирались в шахматных тонкостях несколько слабее, чем Таль или Керес. И все же для того, чтобы получить заветное звание чемпиона, мне нужно было обязательно выиграть последнюю партию.

Настал заключительный день соревнования... Уютно устроились участники турнира в комнате отдыха и в священной тишине вели последний бой, в то время как в соседнем зале начались шумные приготовления к вечеру самодеятельности. Я играл белыми и к эндшпилю добился такой позиции:



Лишний слон черных надежно заперт в углу, а мои многочисленные пешки уже добрались до седьмой горизонтали и грозят превратиться в ферзя. Очередь хода была за мной и, выбрав среди уничтоженных фигур белого ферзя, я собирался водрузить его на доску. Но в это время дверь в соседний зал отворилась, и все шахматисты смогли убедиться в том, что вечер самодеятельности был в полном разгаре. С импровизированной сцены кто-то густым басом

читал известное стихотворение В. Маяковского «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»:

Воду  
стираешь  
с мокрого тельца  
полотенцем,  
как зверь, мохнатым.  
Чтобы суше пяткам —  
пол  
стелется,  
извиняюсь за выражение,  
пробковым матом.

— Пробковым матом... пробковым матом... — машинально повторял я про себя, и тут только заметил, что черные грозят мне матом, причем не «пробковым», а самым обыкновенным: 37... Сg6 + 38. e4 С : e4 x! Как же защититься от этой угрозы? Если сыграть 37. e4, то последует 37... С : с6, и в ответ на 38. a8Ф или 38. e8Ф черные добьются ничьей посредством 38... С : e4 + 39. Ф : e4 — пат. Нельзя в этом случае играть 38. a8С или 38. e8Л, так как после 38... Сb5 у белых не будет защиты от угрозы 39... Cd3 x. Что же делать?

А бас в это время читал «на бис» известное стихотворение А. Майкова «Сенокос»:

В ожиданье нощи убогой,  
Точно виопаный, стоит...  
Уши врозь, дугою ноги  
И как будто стоя спит...

— Конь убогий... — продолжал я механически повторять услышанное. — Конь... Вот в чем дело, вот какой фигурой должна стать пешка!

Я сыграл 37. h7—h8К!, на что противник тотчас же отсчитал 37... Се8 : с6, снова поставив меня в тупик. Ведь по-прежнему в случае 38. a8Ф или 38. e8Ф неизбежно последует 38... Се4 + 39. Ф : e4 — пат, а если 38. e8Л, то 38... Сb5.

А вечер самодеятельности продолжался своим чередом. Теперь со сцены доносился тоненький голосок восьмилетней девочки, исполнявшей басню И. Крылова «Слон и Моська»:

По улицам Слона водили,  
Как видно, напоказ, —  
Известно, что Слоны в диковинку у нас —  
Так за Слоном толпы зевак ходили.

При слове «слон» я чуть было не выпрыгнул из кресла. Выход найден — пешку следует превратить в слона! И молниеносно было сыграно 38. a7—a8С!. Ясно, что теперь плохо 38... Се4 +, так как после 39. С : e4 черным уже не будет пата; поэтому они сыграли 38... Сс6 : a8. А я снова оказался в затруднении. Что делать дальше, я не знал, — ведь, как и раньше, продолжение 39. e8Ф ведет к пату...

Однако здесь девочку сменил хор отдыхающих, недружно, но с энтузиазмом исполнявший известную песню на слова стихотворения Н. Языкова «Пловец»:

Смело, братья! Ветром полный  
Парус мой направил я:  
Полежит на сколько волны  
Быстрокрылая ладья!

— Ладья! — воскликнул я, чуть было не заглушив хор, и, превратив пешку в ладью, сделал ход 39. e7—e8Л!. Противник сразу понял, что после 39... Се4 + 40. Л : e4 черным пата не будет, и тут же сдался.

Так благодаря самодеятельности я впервые получил звание чемпиона!

# Сатира и Ю М О П

Карл Эрик Сойя

## ВСЕМИРНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

Рис. Х. Бидструпа.

**М**ы ехали в трамвае вдвоем — я и еще один пассажир. Нам было очень скучно, по крайней мере мне. Район, по которому мы проезжали, отнюдь не радовал глаз. Это была одна из тех унылых прозаических городских окраин, которая обычно порождает мечтателей и фантазеров.

Мой спутник, если судить по внешнему виду, казался личностью довольно заурядной. Это был человек среднего роста, средних лет и, вероятно, «среднего ума». Он чем-то походил на меня, и я решил, что с точки зрения психологии он не представляет никакого интереса.

Но вскоре я понял, что ошибся, так как он вдруг заявил:

— Наконец-то я нашел способ стать всемирно известным.

Я был потрясен. Не потому, что он заговорил со мною, не будучи мне представленным. И даже не потому, что он мог показаться не совсем нормальным. (Многие мои знакомые производят такое же впечатление.) Нет, я был потрясен тем, что...

Впрочем, лучше помолчать. Не стану я раскрывать перед вами сокровенные тайники своей души.

Несколько оправившись от потрясения, я сказал:



— Очень интересно. И как же вы думаете этого достичь?

— Я создам цирковой номер, — ответил он. — Все великие цирковые артисты становятся знамениты на весь мир.

Я кивнул:

— Вы правы. Взять, например, Грока, братьев Ривельс, Баггесена и других.

Мой спутник продолжал:

— Я подготовлю один фокус. Сейчас я как раз обдумываю детали, и если хотите послушать...

— Непременно!

— Но вы... вы не воспользуетесь сами?

— Нет, нет. Я не ворую чужие фокусы.

— Представьте себе картину: на арену цирка выходят два служителя с реквизитом. На них красивая униформа. Я много думал о том, какого она должна быть цвета — красного или зеленого. Вероятно, я все-таки предпочту зеленый. Красный цвет несколько банален. Значит, так: темно-зеленые куртки с золотыми галунами.

— Очень мило! — воскликнул я, главным образом, чтобы засвидетельствовать свое внимание к рассказу.

— Реквизит, — продолжал он деловым тоном, — состоит из стола, аквариума, нескольких золотых рыбок и полдюжины

головастиков. Рыбки и головастики находятся в аквариуме. Аквариум должен быть из пластмассы, чтобы не разбиться в пути. Быть может, мне придется ехать с этим номером в Америку. Служители вносят стол с аквариумом, в котором плещутся золотые рыбки и головастики. Поставив стол посреди арены, служители уходят. Не помню, говорил ли я вам, что в аквариуме должна быть вода. Но вы, наверное, и сами это поняли?

Я кивнул: «Да, понял».

— И тут появляюсь я. Сейчас еще трудно сказать, будет ли на мне фрак или обычный костюм. Думаю, что я все-таки предпочту костюм. Он будет лишь немного лучше этого...

Он взглянул на свои измятые брюки и жидет.

— Слишком эlegantного и дорогого костюма не нужно. Скромный наряд явится контрастом к моей всемирной славе и колоссальным доходам... Это произведет еще большее впечатление...

Мы подъехали к остановке, и мой спутник замолчал. Видимо, он боялся нечаянно посвятить кондуктора в замысел своего великого циркового номера. С передней площадки вошел рабочий. Мы покатали дальше.

— Я отвечаю поклон, — продолжал мой спутник. — Не слишком глубокий, но и не слишком высокомерный. И тут — оркестр замолкает. Вы понимаете: почти весь номер идет без музыки. И тогда публика поймет, что это действительно выдающийся номер.

Я опускаю руку в аквариум, вылавливаю головастика — маленького, невинного головастика — и бросаю его вверх, под купол цирка. И он исчезает.

— Исчезает? — воскликнул я с неподдельным изумлением.

— Да. Исчезает. Совсем. Растворяется в воздухе. Потом я вытаскиваю золотую рыбку и — тоже подбрасываю кверху. Вы представляете, как внимательно будет публика смотреть?

— Да, — ответил я. — Будут смотреть во все глаза. Я немного знаю привычки зрителей. Они все откроют рты, чтобы лучше видеть.

— Потом я бросаю еще головастика. Потом рыбку. Снова головастика. И так — пока все они не исчезнут под куполом цирка.

Я пробормотал:

— Вы будете работать при помощи гипноза?

Но он продолжал, не ответив на мой вопрос:

— А затем доходит очередь и до аквариума. Я беру его обеими руками, поднимаю и подбрасываю высоко в воздух... Исчез!..

— И аквариум тоже?!

— И аквариум.

— Да, но как же?..

— В конце концов я хватаю стол. И его туда же, вверх! Он исчезает. Вы представляете: публика сидит, смотрит и вот... фыт!.. Стола нет!

— Это уж какая-то чертовщина!

— Я отвечаю поклон. Вежливый, но не слишком глубокий. И уйду.

— Уходите?!

— Да За кулисы. Музыканты начинают играть что-нибудь торжественное, например «Звезды и полосы» Зуа. Играют они долго, публика томится и нервничает. Но это ничего, пусть подождут, тем сильнее будет реакция в финале. При последних тактах снова появляются служители. Они вносят большую круглую лохань и ставят ее на то место, где стоял исчезнувший стол. Лохань наполняют водой. Я думаю, лучше всего сделать это при помощи планга из-за кулис, так как таскать воду ведрами будет слишком долго. Потом служители уходят, музыка замолкает, и я появляюсь на арене. Отвещаю поклон, вежливый, но не слишком глубокий. Вперед выходит конферансье. Он объявляет на четырех языках, что сейчас публика увидит самый сенсационный номер из всех, которые когда-либо демонстрировались на аренах цирка. Разгадка этого номера является личной тайной всемирно известного артиста. Никто до сих пор не смог ее раскрыть, и никто не знает, является ли этот номер фокусом или сверхъестественным чудом. Конферансье уходит. Некоторое время я выжидаю, пока в цирке не воцарится мертвая тишина. Тогда я подхожу к лохани, поднимаю взгляд к куполу цирка и слегка хлопаю в ладоши. Сверху сваливается головастик и падает в лохань. Публика молчит — люди не уверены, видели ли они это на самом деле или им только показалось. Еще один хлопок в ладоши — и с купола слетает золотая рыбка и плюхается в лохань. Я продолжаю хлопотать в ладоши, и в лохани уже плещутся несколько рыбок и головастиков. Затем следует два хлопка — и на арене появляется аквариум. Три хлопка — и появляется стол. Я кланяюсь. Представляете, какая овария?

— Представляю. Это нечто колоссальное.

— Как вы думаете, стану я после этого всемирно известным?

— Безусловно. Сам Чаплин поблекнет в сравнении с вами. Но как же вы все это сделаете, собственно говоря?

— Да, — сказал он, помолчав. — Вот над этим-то я и думаю сейчас. Я еще не знаю как, но... — И тут лицо его просветлело: — Но когда я найду способ, я стану всемирно известным.

Я снова был потрясен. Я чуть не задохнулся. Вель это же совсем, как... Ну, ну, я не скажу вам, кого он мне напомнил.

Как только трамвай остановился, я опрометью бросился вон. На две остановки раньше. В результате пришлось тащиться пешком по этой унылой, прозякающей городской окраине, которая порождает мечтателей и фантазеров. Рассказ моего спутника привел меня в смущение и растерянность.

Так обычно бывает, когда неожиданно сталкиваешься со своим собственным двойником.

*Перевела с датского  
Ф. Золотаревская.*

Борис Тимофеев

## МАЛЕНЬКИЕ БАСНИ

Рис. В. Гальба.



### „Оскорбление“

Хоть он отлично понимал,  
Что чаевые — оскорбленье,  
От каждого их принимал  
Без всякого сопротивленья:  
Чем был сильнее «оскорблен»,  
Тем больше был доволен он...



### Оратор

Ценить чужую мудрость был он рад:  
Цитаты — это мысли напрокат!..



### О вреде курения

(Шутка)

Он вышел в фойе из концертного зала  
И начал курить...

Билетерша сказала,  
За дымною лентою взглядом скользя:  
— Курить нельзя!..

Но он отвечал, к папиросе  
притрагиваясь:  
— А я не затягиваюсь...

### Причина

Рассказывал начальник анекдоты.  
Смеялись все кругом... И лишь  
один молчал.  
— Вам разве не смешно? — ему  
заметил кто-то.  
— А я не здесь служу, — он от-  
вечал.

ГЛАВТРЕСК





## НЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Дружеский шарж.

Рис. И. Игина.

**М. Исаковский, А. Прокофьев, А. Яшин**  
(По картине А. Ржевской «Веселая минутка»)



Неустанно, лихо, молодо —  
В сердце песенный огонь —  
Пляшет Ладога и Вологда  
Под смоленскую гармонию.

*М. Светлов.*

## СОН О ЧИНГИС-ХАНЕ

*М. Янчевецкий*

В январе нынешнего года исполнилось 85 лет со дня рождения советского писателя, автора ряда широкоизвестных исторических романов В. Яна (Янчевецкого).

Специальная комиссия Союза писателей СССР

ведет большую работу по изучению литературного наследия одного из зачинателей советского исторического романа. Мне — члену этой комиссии — довелось ознакомиться со многими рукописями отца. Особенно заинтересовал меня текст одного из выступлений В. Яна перед читателями, связанного с зарождением идеи трилогии о монгольском наше-

ствии — «Чингис - хан», «Батый», «К последнему морю». Думаю, что и для читателей «Невы» представит интерес страничка из творческой лаборатории писателя.

Вот основная часть этого выступления В. Яна:

«...Меня не раз спрашивали: почему из образов великих завоевателей Азии я выбрал именно Чингисхана и как, на чем я построил его образ?»

Здесь виноват случай: я увидел Чингисхана во сне.

В конце 1903 года я участвовал в геологической экспедиции, пересекшей великую иранскую соляную пустыню Деште-Лут и направляющуюся вдоль ирано-афганской границы к Индии.

В древние времена Восточная Персия характеризовалась многочисленным населением, богатым культурным развитием; нам постоянно попадались развалины городов, следы каналов, остатки крепостей. Изредка мы встречали также кочевья и небольшие поселения. Но большей частью наш путь проходил по голой, выжженной солнцем безводной пустыне, где лишь иногда на горизонте проносились стада пугливых диких куланов и сайганов да высоко в воздухе парили орлы.

Куда же девались те селения, поля, сады и арыки, следы которых мы встречали? Почему исчезла возможность жизни?



*Василий Григорьевич Янчевецкий.*



Останавливаться для ночевки нам приходилось в открытой степи. Ночью слышались завывания и визг шакалов. Мы стреноживали, поили и кормили коней, укладывали верблюдов, растягивали палатку и мгновенно засыпали, забравшись в нее или возле тлеющего костра, усталые, измученные тяжелой дорогой.

Вглядываясь в окружающую мертвую пустыню, я невольно думал: «Наверное, и климат здесь раньше был другой. Ведь тут, как раз по этой равнине, некогда проходили многочисленные армии Александра Македонского, Чингис-хана, Тамерлана и других завоевателей. Чем они питались? Где поили выючных животных и коней? Что принесли они с собой и что после себя оставили? Разрушение, смерть, развалины городов и селений, гибель созданной веками культуры, узкую верблюжью тропу тысячелетней давности, — все остальное занесено песком и пылью... Ради чего же воевали эти «потрясатели вселенной»?

Новый, 1904 год мы встретили в пустыне и отметили его наступление залпом из винтовок и скромным пиршеством. Эта новогодняя ночь, морозная и тихая, стала знаменательной для меня. В эту ночь, под утро, я увидел странный сон.

Мне приснилось, что я сижу близ нарядного шатра

и во сне догадываюсь, что большой, грузный монгол с узкими, колючими глазами и двумя косичками над ушами, которого я вижу перед собой, — Чингис-хан. Он сидит на пятке левой ноги, обнимая правой рукой колено. Монгол приглашает меня сесть поближе, рядом с ним, на войлочном подседельнике. Я пересаживаюсь поближе к нему, и он обнимает меня своей могучей рукой. Он спрашивает:

— Ты хочешь описать мою жизнь? Ты должен это сделать, покажаь меня благодетелем покоренных народов, приносящим счастье человечеству. Обещай мне, что ты это сделаешь!..

Я отвечаю, что буду писать о нем только правду.

— Ты хитришь! Ты уклоняешься от прямого ответа на мой вопрос. Ты хочешь опорочить меня. Как ты осмеливаешься это делать? Ведь я же сильнее тебя? Давай бороться!..

Не вставая, он начинает все сильнее и сильнее сжимать меня в своих могучих объятиях, и я догадываюсь, что он, по монгольскому обычаю, хочет переломить мне спинной хребет. Как спастись? Как ускользнуть от него? Что я должен сделать, чтобы оказаться сильнее Чингис-хана и ему не покориться? И во сне у меня вспыхивает мысль: «Но ведь все это сон! Я должен сейчас же проснуться и тогда буду спасен!..»

И я проснулся. Надо мной ярко сияли бесчисленные звезды. Пустыня спала. Наши лошади мирно жевали овес. Не было ни шатра, ни Чингис-хана, ни пронизывающего взгляда его колючих глаз.

Тогда впервые вспыхнула у меня мечта — описать жизнь этого грозного завоевателя, показать его таким, каким он был в действительности, — разрушителем, истребителем народов, оставившим после себя такую же пустыню, как та, по которой мы проезжали!..

С этой минуты образ Чингис-хана стал для меня живым. Тогда же я начал писать сонет, но у меня вышли только четыре строчки:

Вчера во сне я видел Чингис-хана:  
Он мне хотел переломить хребет...  
Но такова уж, видно, доля Яна:  
Я все живу, а Чингис-хана нет!

На этом мои стихотворные опыты и закончились, но бороться с Чингис-ханом я решил уже наяву и принялся изучать самым тщательным образом его жизнь, историю Монголии, быт кочевников, их фольклор и другие материалы об эпохе монгольского нашествия».

К этому рассказу следует добавить, что отец имел обыкновение зарисовывать образы своих героев. Приводим два из этих рисунков.

## ИЩЕМ РАДИОДРАМАТУРГА

**Н. Бажин,**

*ответственный редактор  
литературно-драматического  
вещания Ленинградского радио*

— Позвольте, — спросите вы, — разве радиодраматы имеются в армии писателей?

И да и нет.

Да, потому что существует радиоискусство. Так же, как живет и здравствует театр или киноискусство.

Нет, потому что в Союзе писателей СССР, где встречаются представители всех жанров и форм литературных — больших и малых, веселых и скучных, бесполезно искать секцию радиодрамаатургов или хотя бы одиночных бойцов этого подразделения.

Радиотеатр обращается к миллионам и миллионам слушателей. Его аудитория еще обширнее, чем аудитория кино. Еще бы: речь идет об эфире! Слово радиоискусства проникает и туда, куда не прокарабкается самый дотошный киномеханик.

И вот, представьте себе, у радиотеатра нет своего Шекспира, нет своего Гоголя. Для радиотеатра не пишут ни Погодин, ни Михалков. Эта область творчества не привлекла пока что и братьев Тур.

Что же делать? Ответ как будто простой, он был в свое время найден деятелями кинематографии: надо приспособлять.

Как это — приспособлять? А вот так. Берется обыкновенная пьеса, написанная для обыкновенного театра. В нее вводится роль Ведущего, который комментирует происходящие события. Затем это разыгрывается перед микрофоном. То, что получается, принято называть радиопостановкой.

Или по другому образцу, открытому все теми же кинематографистами. Популярный роман берет в руки человек, владеющий радиотайнами. Роман делится на пять частей. Затем четыре части отправляются в корзину, а пятая превращается в радиоинсцени-



ровку. Она отличается от обыкновенной инсценировки: в ней снова большое место занял Ведущий, который рассказывает слушателям все то, что надо видеть глазами. Получаемое в конечном результате опять-таки называется радиопостановкой.

Радиопостановки пользуются большой любовью радиослушателей. На радиопостановки приходит самое большое количество писем-откликов, и в них частая просьба: повторите!

Выходит — все в порядке? Зачем же тогда искать радиодрамаатургов? Тем более, что их днем с огнем не сыщешь.

Примерно так и рассуждали мы, работники литературно-драматической редакции Ленинградского радио, пока не произошел такой случай.

...В магазине иностранной литературы, что на Невском проспекте, нам попал в руки тоненькая книжечка в яркой обложке. Книжечка была на немецком языке. «Гер т Л е д и г, — прочитали мы заглавие. — Дуэль. Радиопьеса».

Радиопьеса! Можете представить, как заволновались мы. Нам тоже хотелось запустить в эфир что-то новенькое, во всяком случае такое, чего не было вчера.

И вот на столе лежит перевод радиопьесы «Дуэль» (его быстро сделали О. Кирик и В. Фоминцев).

В основе радиопьесы «Дуэль» лежат подлинные факты. Дело об убийстве молодой авантюристки Роз-

Мари Нитрибит в свое время нашумело далеко за пределами Западной Германии: выяснилось, что среди «клиентов» «королевы ночи» оказались многие государственные деятели боннской республики. Были основания полагать, что убийца — из числа знатных гостей Нитрибит. Дело Нитрибит всячески замалчивалось официальной печатью. Убийца не был обнаружен.

Герт Ледиг, опираясь на эти факты, написал произведение с вымышленными персонажами (сохранив настоящее имя только Роз-Мари Нитрибит).

Итак, перед нами разоблачительный политический детектив. События развиваются стремительно, вместо действия меняется в каждом эпизоде. А в радиопьесе нет Ведущего, этого глаза слушателей. Как же они поймут, где, в каких обстоятельствах протекают события?

Режиссер Владимир Лебедев не испугался сложной задачи. Звуковой образ может вызвать у радиослушателей зрительные ощущения! Шум улицы заставит увидеть улицу. Это-то просто для режиссера, проработавшего на радио четверть века.

Но как быть, если действие перешло из комнаты коммуниста Реда в кабинет прокурора Штреккера? Там тишина и тут тишина. Радиослушатели ничего не поймут, все смешается, пьеса превратится в непонятные разговоры неизвестных людей.

Кстати, все разговоры телефонные, — так написана «Дуэль».

Телефоны могут звучать по-разному!

Потребовалась помощь инженера А. Гинзбурга, чтобы каждый телефон имел свой «характер». Но этого мало. Место действия надо обрисовать одним-двумя звуковыми штрихами: в комнате Реда стучит печатная машинка, в кабинете Штреккера часы напряженно отсчитывают секунды. Звуки должны передавать драматизм происходящих событий, душевное состояние участников дуэли, политического поединка. Звукооформление — дело Людмилы Алексеевой, она его знает хорошо.

Нелегко приходится артистам. В театре им помогает костюм, грим, в их распоряжении жест, мимика. В радиотеатре из всех выразительных средств остается единственное: голос. Вот народный артист СССР А. Ф. Борисов сказал первую реплику, вы по первому звуку должны понять, что говорит коммунист Ред. Вот прозвучало слово, произнесенное народным артистом СССР В. Я. Софроновым, и вы должны понять, что это прокурор Штреккер.

Наконец радиопьеса «Дуэль» звучит в эфире. Проходят дни, и на редакционном столе начинает расти пачка писем: радиослушатели хотят слушать не просто пьесы, а именно радиопьесы. Им нравится этот жанр!

Вот почему мы теперь упорно ищем радиодрама-турга. Вот почему со страниц «Невы» нам хочется обратиться ко всем советским писателям:

— Дорогие товарищи! Надо срочно создавать радиодраматику социалистического реализма. У радиоискусства великие возможности и множество миллионов отзывчивых слушателей. Поработайте для них! (На сцене: в студии Ленинградского радио. Рабочий момент. Слева направо режиссер В. Л. Лебедев, заслуженный артист РСФСР М. Б. Шифман, артист И. А. Горин, народный артист СССР Ю. В. Толубеев.)

## СИНИЙ ЙОД

*В. Кулик,  
журналист*

В одну из районных больниц Ленинграда обратилась молодая женщина. Она прикрывала ладонью рот. Глаза ее, с мольбой обращенные к доктору, были полны слез.

— Я знаю, что мне уже никто не поможет, — сказала она горестно.

Врач осторожно дотронулся до ее руки и увидел обезображенную часть лица. Багровые грибковые наросты плотно закрывали губы. Такая же картина была в полости рта и глотки.

Истрадавшийся человек, рыдая, рассказал врачу, что лечится уже пять лет.

Испытав все старые средства, врач И. В. Абрамевич решила применить новый препарат — синий йод. Средство оказало целебное действие. У больной стали исчезать грибковые разрастания, и однажды женщина, взглянув на себя в зеркало, увидела улыбающееся лицо, чистые розовые губы.

Врач И. В. Абрамевич применила синий йод и при лечении больных, страдающих хроническими воспалениями миндалин, частыми ангинами. Гипертоникам, туберкулезным больным, маленьким детям, которым нельзя было хирургически удалить миндалины, делали промывание синим йодом, и они выздоравливали.

В Ленинградской военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в клинике ушных, горловых и носовых заболеваний профессор К. Л. Хиллов применил синий йод наряду с другими антисептическими средствами при лечении хронических гнойных заболеваний уха и носа. Положение больных было чрезвычайно тяжелое, многим из них нельзя было делать хирургические операции, и тут на помощь пришел синий йод.

Что же представляет собой это лекарство которым так заинтересовались медицинские учреждения Ленинграда?

Используя свойства высоких полимеров, кандидат наук В. Мохнач создал синий йод.

Известно антисептическое и бактерицидное действие обычного йода, которым мы широко пользуемся в быту. Оказалось, что присоединение йода к полимерам, как к природным (крахмал), так и искусственным (поливиниловый спирт), дает возможность получить новый препарат, в котором полностью сохраняются антимикробные свойства йода, но теряется его ядовитость для организмов животных и человека. Обыкновенные темно-серые кристаллики йода, растворяясь в поливиниловом спирте, получают новую окраску — синюю.

Лабораторные исследования показали, что синий йод убивает самые различные микробы, излечивает дизентерию, уничтожает палочки брюшного тифа и гноеродные бактерии.

Ученые проводили ряд опытов в сухумском обезьяньем питомнике. Подопытным животным, зараженным культурами дизентерийных палочек, вводили через рот в течение десяти дней сто максимальных суточных доз синего йода. Все подопытные животные выздоровели.

Новый лекарственный препарат чрезвычайно перспективен. Он является мощным средством профилактики против заболевания вирусным гриппом, будет незаменимым средством для обработки ран и операционных полостей, дезинфицирования кожного покрова.

Предварительная клиническая практика показывает, что синий йод лишен многих недостатков, присущих антибиотикам и сульфамидным препаратам.

Интересы здравоохранения требуют незамедлительной организации опытного производства синего йода и самого широкого изучения сферы его применения.

## В ПОИСКАХ АРОМАТОВ

*Б. Г у т ц а й т,*

*главный парфюмер фабрики  
„Северное сияние“*

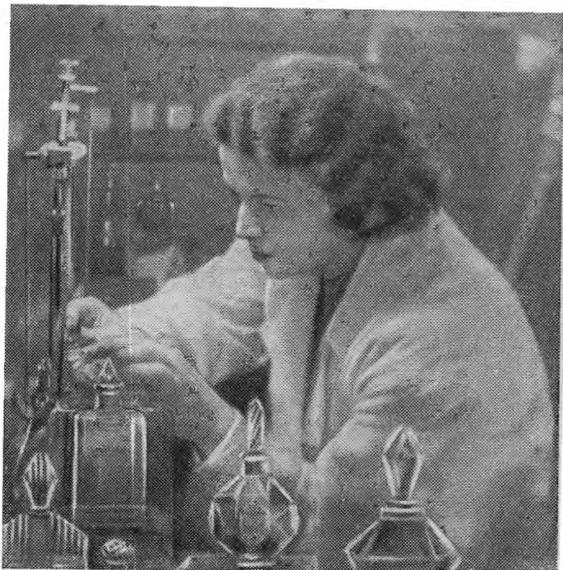
Духи имеют не только свой запах, но и свою историю. Среди духов, выпущенных ленинградской парфюмерной фабрикой «Северное сияние», «ветераном» оказался запах «Шипр». Свыше тридцати лет охотно покупаются духи и одеколон под этим девизом. Почти такой же возраст имеет «Белая ночь». Долгая жизнь и у запаха «Юбилей», созданного к двадцатилетию советской власти.

Но людям свойственна потребность обновления, поэтому парфюмеры озабочены поисками новых ароматов.

Для приготовления духов нужны натуральные эфирные масла. Мы еще не раскрыли секрета их получения из сирени, ландыша и многих других душистых цветов. На помощь нам приходит синтетическая химия.

Полукругом изогнут рабочий стол парфюмера. Его окружают полки, заставленные флаконами. Закроешь глаза, приподнимешь стеклянные пробки, и кажется, что в комнате вдруг зацвел миндаль или вырос хвойный лес, или рассыпалась козна свежего сена. Самые разнообразные запахи излучают флаконы, наполненные настоями и растворами химических веществ. Соединяя эти запахи в композиции, парфюмер добивается подобия натуральных ароматов. Известные не только в нашей стране, но и за рубежом, духи «Белая сирень» и «Серебристый ландыш» готовятся на фабрике без капли натурального эфирного масла этих цветов.

Мало кому известно, что при составлении композиции ароматов приходится обращаться к обитателю океана киту-кашалоту, который оставляет на поверхности воды амбру — незаменимое средство закрепления запаха; используются железы бобра и африканской кошки, деготь, экст-



ракт выросшего на дубе мха и многое другое.

Создание духов нового запаха всегда имеет свою историю. Одну из них я расскажу.

Какое наслаждение доставляет благоухание цветов душистого табака! Духов с таким ароматом у нас никогда не было, и я взялась их создать. Как из кусочков мозаики, составлялся аромат живого цветка. Тут были запахи разных цветов, трав, закрепители, — всего около сорока названий.

Долго не удавалось достигнуть гармонии между собранными ароматами. Они то забивали друг друга, то исчезали совсем. Месяцами приходилось терпеливо выжидать, как поведут себя все новые и новые сочетания запахов. Достигнув желаемого запаха, нужно было добиваться прозрачности, стойкости и многих других неперемных качеств новых духов.

Спустя полгода первый флакон духов «Душистый табак» предстал перед судом членов дегустационного совета. Опытные парфюмеры, инженеры, товароведы всерьез и тщательно экзаменовали новорожденного и пришли к выводу — нужны дальнейшие его усовершенствования. Изыскания в фабричной лаборатории продолжались до тех пор, пока духи не получили признания;

лишь год спустя к массовому выпуску был предложен шестидесятый вариант композиции новых духов.

Мы воспроизводим не только натуральные ароматы цветов, но и запахи-фантазии. Нелегко составить композицию несуществующего в природе запаха и представить себе, чем пахнет «Золотой каскад». Духи с таким названием в недалеком будущем появятся в продаже. Парфюмеры фабрики «Северное сияние» подготовили также к массовому производству духи «Голубые цветы», «Гиацинт», одеколон «Восточный».

Веками духи считались роскошью, доступной только богачам. У нас они стали обычным дополнением туалета и предметом санитарного обихода.

Духи с маркой «Северное сияние» имеют добрую славу. Их покупают не только во всех уголках Советского Союза, но и в Монголии, Польше, Венгрии, Иране, Германской Демократической Республике. С успехом демонстрировались они на международных выставках в Париже, Брюсселе, Нью-Йорке, Канаде, Чехословакии, Греции, Сирии, на Цейлоне.  
(На снимке: парфюмер фабрики «Северное сияние» В. Р. Зананьянц.)



## ТОВАРИЩИ КИТАЙСКИЕ БОЙЦЫ

**Е. Гриушинский,**  
подполковник

Зимой 1919 года, во время отхода Красной Армии с Северного Кавказа, на одном из железнодорожных разъездов произошел такой случай. Командующий XI армией М. К. Левандовский остановил на дороге командиров отходившей части и приказал немедленно повернуть красноармейцев назад, навстречу наступавшим белым. В этот момент мимо Левандовского проходили несколько китайских бойцов. Они несли в котелках воду и, как видно, направлялись к составу, только что прибывшему со стороны Кизляра. Командарм их заметил и спросил:

— Вы какой части, товарищи?

— Полка товарища Левина, — последовал ответ.

— А кто ваш командир?

— Наша командира комиссара товарища Гарниера. — Куда же вы направляетесь?

— Наша шагай только вперед!

— То есть куда «вперед»? — переспросил командарм.

— Идем вперед! Советы защищать...

Левандовский строго взглянул на улыбающихся командиров и, четко выговаривая слова, сказал:

— Вот у кого вам надо стойкости поучиться — у

этих бойцов Ленинского полка!

В рядах легендарного Ленинского полка, сформированного партизанским командиром Диомидом Гришелевым, сражалось около двухсот китайских добровольцев. Их героизм, отвага, выносливость и беззаветная преданность делу революции — одна из ярких страниц в боевой истории части.

Зимой 1919 года вместе с бригадой Кочубея Ленинский полк самоотверженно отражал атаки деникинцев, пытавшихся окружить и уничтожить XI армию, деморализованную предательством Сорокина. Во всех этих походах и сражениях бойцы-китайцы показали чудеса храбрости.

Бывший красноармеец Ленинского полка А. Б. Сокол, ныне проживающий на Северном Кавказе, сохранил свой дневник времен гражданской войны. В сделанных наспех походных записях участник боев запечатлел некоторые боевые эпизоды. Вот одна из таких записей, рассказывающая о потрясающем мужестве неизвестного китайского солдата:

«Полк задержал наступление белых и ночью сам пошел на штурм станицы Наурской. Целую ночь шел бой, и часть станицы была уже нами занята. Я был связным в роте китайцев. Вместе с ними я был в Наурской и дрался на улицах. Потом мне дали донесение, чтобы доставить его командиру батальона. Я быстро отправился к командному пункту. В это время густые цепи белых начали теснить китайцев и нашу первую роту.

Начался упорный бой. Китайские и русские бойцы дрались с врагом долго и упорно. Но силы были неравными, и моим товарищам пришлось отходить. Преследуя отступавших, бросилась в атаку белая кавалерия. Запомнилась мне на всю жизнь смерть одного героя-китайца. За ним гнался казак на коне, расмахивая на скаку пашкой. Китаец присел и выстрелил в него из винтовки, тот упал с лошади. Китаец

побежал к нам. Но наперез ему мчался уже другой всадник. Он налетел на китайца и замахнулся над ним пашкой. Китаец ловко прикрывшись винтовкой, отскочил в сторону и метким выстрелом сразил врага. Но к нему летели еще двое верховых. Боец успел убить одного, но второй зарубил его... С замирающим сердцем следили мы за неравным поединком. Помочь товарищу огнем мы не могли: слишком близко он находился от своих преследователей».

В прошлом году в Государственном архиве Советской Армии был обнаружен ценнейший документ — списки бойцов Ленинского полка. Нашелся и список солдат китайской роты. Сто девяносто восемь фамилий! Стремясь разыскать кого-либо из героев тех дней, автор этих строк послал в разные концы страны десятки запросов и писем. Через Министерство иностранных дел СССР был послан вместе с копией списка запрос в Народный Китай. Ответы приходили неутешительные. И вот, когда казалось, что надежд на отыскание кого-нибудь из этого списка уже не оставалось, я получил сведения о том, что в селе Морковичи Тереховского района Гомельской области проживает бывший ветеран Ленинского полка Джо Кихин (искаженное Чжу Цисин). Это он в одном из боев на Северном Кавказе захватил у белых два артиллерийских орудия вместе с упряжкой и прислугой. За этот подвиг командир полка Гришелев наградил героя серебряными часами.

Вскоре я получил от китайского товарища письмо и фотографию. Оказывается, Джо Кихин с 1921 года живет в Белоруссии. Здесь он женился и стал советским подданным. Друзья и товарищи теперь называют его Иваном Ивановичем. В Великой Отечественной войне участвовали два его сына. Один был рядовым, второй командовал ротой. (На снимке: Джо Кихин — один из ветеранов Ленинского полка. Снимок 1953 года.)

# Содержание



М. ШОЛОХОВ. Поднятая целина. Роман. Окончание . . . . .	3
В. КОРАБЛИНОВ. Лесов таинственная сень. Повесть . . . . .	67
В. ШЕФНЕР. Дом в Ульяновске. Короткая гроза. Девушки Ленинграда. Стихи . . . . .	101
И. ЕФРЕМОВ. Афанеор, дочь Ахархеллена. Рассказ . . . . .	103

## ЭРА ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

М. ДУДИН. Наш год . . . . .	143
В. КАТАЕВ. Человечеству — вечный мир . . . . .	145
Н. КАЧАЛОВ. Несколько слов о мостах . . . . .	147
М. ШАГИНЯН. Время высоких норм . . . . .	149
С. УШАКОВ. Реальная фантастика . . . . .	150
В. ВДОВЕНКО. На благо людям . . . . .	152

## В НАШИ ДНИ

С. МИТРОФАНОВ. Шагами семилетки . . . . .	154
В. ДМИТРЕВСКИЙ. Черты советского человека . . . . .	163

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАМИНСКИЙ. Чехов и Короленко . . . . .	171
В. РАСКИН. Чехов глазами французов . . . . .	174

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

Е. СЕРЕБРОВСКАЯ. За ясность позиции . . . . .	176
---	-----

## ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Е. РАЙЗЕН. Чехов как мастер афоризма . . . . .	181
З. ИВАНОВА. О воспитании чувств . . . . .	182

## СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

- С. Осовцов. Чехов, увиденный заново. — Д. Молдавский. С чувством времени. — Ю. Помозов. Интересная повесть. — А. Балашов. Родные люди. — Е. Павлова. Книга о красоте человеческой — И. Михайлов. Чистый источник поэзии. — В. Тюрин. Русские писатели о Новгороде . . . . . 185—192

### ИСКУССТВО

- С. ЦИМБАЛ. Чехов с нами . . . . . 193  
Д. СЛАВЕНТАНТОР. Зрелость . . . . . 203

### ШАХМАТЫ

- А. ТОЛУШ. Ботвинник или Таль? . . . . . 209  
В. КОРОЛЬКОВ. Вечер самодеятельности. *Рассказ-шутка*. . . . . 211

### САТИРА И ЮМОР

- КАРЛ ЭРИК СОЙЯ. Всемирная известность. *Перевод с датского Ф. Золотаревской* . . . . . 212  
Б. ТИМОФЕЕВ. Маленькие басни . . . . . 214  
Невская галерея . . . . . 216

### ИЗ ПОЧТЫ «НЕВЫ»

- М. Янчевецкий. Сон о Чингис-хане. — Н. Бажин. Ищем радиодрамы. — В. Кулик. Синий йод. — Б. Гутцайт. В поисках ароматов. — К. Грицинский. Товарищи китайские бойцы . . . . . 217—222

---

Главный редактор С. А. ВОРОНИН.

Редакционная коллегия:

А. В. ГРИН, В. И. ДМИТРЕВСКИЙ, С. С. КАРА, Г. А. КОРОТКОВ, С. С. ОРЛОВ,  
Ю. Ф. ПОМОЗОВ, Е. П. СЕРЕБРОВСКАЯ (зам. главного редактора), А. И. ХВАТОВ.  
Ответственный секретарь В. И. ШЕЙКО.

---

Техн. редактор Ю. В. Хропин.

Корректоры Н. П. Ракова и Н. Г. Кучеренко.

Год издания 6-й. М 29613. Подписано к печати 8 января 1960 г. Тираж 120 000 экз. Формат 70×108<sup>1/16</sup>.  
Печ л. 14. Усл. печ. л. 19,13. Уч.-изд. л. 21,72 + 4 вкл. — 22,27. Заказ № 1798.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности.  
Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

